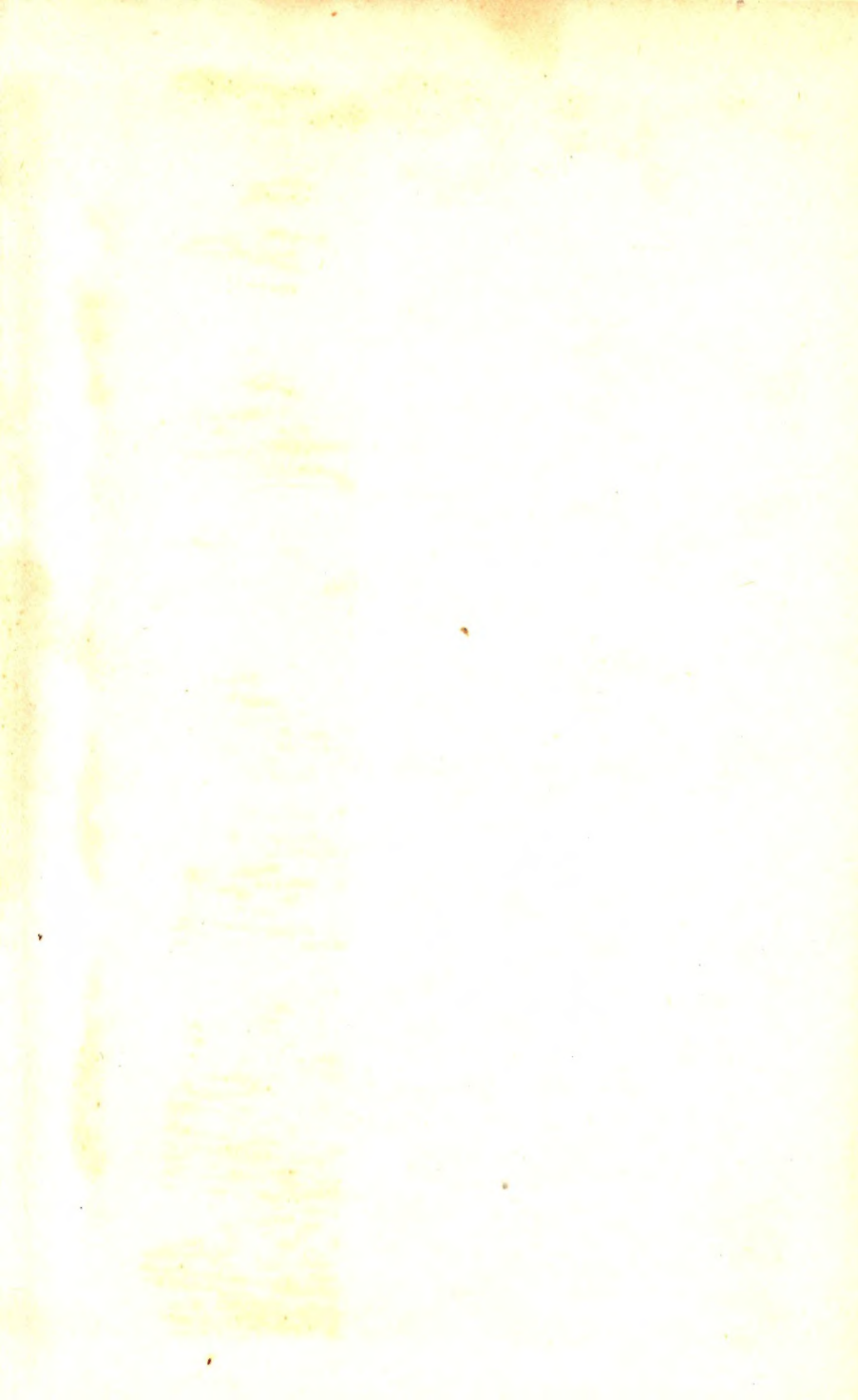




ЭНН ВЕТЕМАА
О ГОЛОВАХ







ЭНН ВЕТЕМАА О ГОЛОВАХ

ПЕРЕВОД С ЭСТОНСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭЭСТИ РААМАТ»
ТАЛЛИН 1976

МОНУМЕНТ

Маленький роман

Гуляя по лесам принца, я расставлял на звериных тропах силки и, лежа на берегах водоемов Его Величества, закидывал в воду удочки.

А. Дюма. «Три мушкетера»

I

Я закурил сигарету, блаженно откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза. И, помнится, сказал себе вслух:

— И Иегова поборол Иакова и вознес его над остальными. Будь славен всемогущий Иегова! Аминь.

Сигарета была вкусной и даже слегка одуряла, потому что целых два часа, все то время, пока здесь хозяйничали полотеры, я с детским упрямством подавлял в себе желание курить. Решил, что первую затяжку в своей новой квартире сделаю в одиночестве. Что и осуществил.

Я погасил торшер. Свет рекламы окрашивал гардины то в винно-красный цвет, то в яблочно-зеленый. Совсем как в кино. Но в конце концов краски ничуть не виноваты в том, что служат сейчас не очень-то поэтической цели: призывают нас, легкомысленных, разумненько хранить деньги в сберегательной кассе!

Снизу, словно по заказу, донеслась негромкая танцевальная музыка. Замерцали мягкие горизонты фортепьянных аккордов. То ли с ленцой, то ли с усталостью саксофон напевал, воркуя, известный медленный вальс об уснувшей лагуне. Поднимаясь к потолку, кольца дыма белесо переливались в полутьме. Становились винно-красными... Яблочно-зелеными... Я любовался этой игрой красок из-под полуприкрытых век, нежась, будто кот у камина. Ей-богу, досадно, что мои далекие предки, поглощенные косной маятой превращения в человека, не догадались овладеть искусством мурлыканья!

Да, похоже, что чего-то я все-таки достиг. Отборочные соревнования закончены, и с весьма приличными результатами. Во всяком случае, я уже могу вытянуть ноги и продекламировать: прощай, мир студенческих общежитий со скрипом колченогих коек, прощай, запах подгорелого постного масла, прощайте, липкие полы умывалок с железными решетками и прокисшая неуютность! Прощай и ты, трехместная аспирантская комната и дешевые картофельные салаты!

Вы все по-своему милы, но издали, дорогие мои, куда милее. Сегодня моя жизнь берет старт в соревнованиях по разряду мастеров, и стартовые опоры у меня настолько завидные, что не грех дать их описание и с красной строки.

Мне тридцать лет. (Но больше двадцати пяти лучше мне и не давайте!)

У меня диплом скульптора, а сверх того и степень кандидата архитектуры.

Уже три года как я член партии.

Я получил квартиру в только что выстроенном доме художника.

И я, слава богу, холост!

А самое главное: не для того я сюда перебрался, чтобы пускать к потолку красивенькие разноцветные колечки, нет, в этих стенах я буду жить и работать! Словом, выразимся прекрасным стилем эпохи пробуждения: наверняка придут сюда дорогие гости — Почет и Слава!

М-да, и «соревнования по разряду мастеров» и «дорогие гости» — все это звучит достаточно убого, но когда стоишь на краю горы и смотришь вниз, то, неправда ли, это так человечно, что тебя обуревают идиотски голубое желание прокричать «здесь наверху, где рубеж облаков...» и разные другие слова.

Наверно, уголки моих губ так и застыли в улыбке, потому что приступ усталости, вызванный вавилонским столпотворением переезда, сделал свое дело и я задремал.

Когда я проснулся, было совсем темно. Светящиеся усики часовых стрелок стояли симметрично торчком, как тому и положено быть в десять минут одиннадцатого. Я зажег лампу и окинул взглядом комнату.

Вид у нее пока страшноватый — мебели здорово не хватает. Но с голой стены на меня лукаво и ободряюще

поглядела барышня-дворянка Фрагонара. Во мне шевельнулось теплое чувство, и я порадовался, что взял ее с собой. Для этой галльской девочки жизнь в общезжитии была еще невыносимей, чем для меня. Ее будучарный портрет, написанный в жеманном стиле рококо, неизменно висел над изголовьем моей койки. Из-за этой репродукции я даже нередко становился объектом насмешек, ибо неистовые молодые живописцы никак не могли понять, что там могло вычитаться в этой груде кружев дитя человеческое, производящее впечатление вроде бы разумного существа. Над их собственными койками в честном и красноречивом смешении черного с красным гibli галактики или буйствовали скрещения тех мощных страстей, которые в свободных стихах молодых поэтов непременно пишутся с большой буквы. Картинки такого рода всегда забавляют меня: они назойливы, как горластые базарные старухи (новичку недолго и испугаться), но надо лишь потерпеть, пока вся их воинственность иссякнет, после чего они сами умолкают с весьма глупым видом. А моя барышня-дворянка куда коварнее: улыбка ее с виду столь простодушно кокетлива, но за нею такие тылы!.. Однако удивительно вы рассуждаете, молодой человек: вам, советскому художнику, так увлекаться рококо — по меньшей мере странно! И то правда: надо обязательно повесить здесь несколько картин в нашей милой северной манере. Прежде всего — искренность и суровость!

И вдруг мне вспомнилось, что я еще не ужинал. Я вскочил и проворно переоделся: надо было подкрепиться.

Я шел по вечерним улицам с весьма смешанными чувствами. Я уже давно решил не придавать чрезмерного значения таким понятиям, как «родной город» — в эпоху рационализма следует более разумно расходовать свои эмоции, — и тем не менее, увы, меня охватили отдававшие лакрицей ощущения вернувшегося блудного сына. Ах, если уж дело дошло до красотей, так тому и быть, подумал я, жадно вдыхая исконно привычный морской воздух.

После семи лет, проведенных в основном в Москве, поздняя топорная готика Таллина, над которой я когда-то любил иронизировать в своем щенячьем цинизме, снова стала мне чем-то мила. Эти бугристые, но в то же время и такие деловитые стены напоминали

мне... черт знает что именно, но так или иначе они настраивали меня на лирический лад. Почему-то мне вспомнилось стихотворение Бетти Альвер о дьяволе, который сидит за партой осла: вся борода у него в со- ломе, а лист бумаги перед ним черен от клякс.

На дверях «Глории» висело: «Свободных мест нет». На ступеньках стояло трое растерянных парней. Они были в том возрасте, когда юноша уже может считать себя мужчиной при условии, что он об этом уже больше не думает. (Примечание: может быть, в этой фразе таится рецепт от старости!) Наверняка все трое прочли надпись еще издали, но, чтобы набраться бодрости, делали вид, будто их это вовсе не касается. Подчиняясь инстинкту, они, конечно, атаковали стеклянную дверь крепости форсированным маршем. Но закрытая ресторанная дверь — это та самая граница, где закон Ньютона о массе, скорости и силе утрачивает свое действие.

Я замедлил шаг и задумался, но поскольку была суббота, точно такие же таблички висели, вероятно, и на многих других дверях. Не оставалось ничего иного, как напустить на себя самоуверенный вид и спокойно пройти мимо ребят.

— Вас уже ждут, — сказал швейцар, приоткрывая стеклянную дверь.

Юнцы сняли осаду и уплыли со ступенек в ночь. Я пожалел это обманутое трио и чуточку даже самого себя, хоть и неизвестно почему.

Отчего меня пустили, а их нет? Дело было не в одежде. Швейцар должен был сообразить и то, что трое этих сопляков, прямо-таки пылавших желанием напиться именно в «Глории», наверняка дали бы ему на чай больше, чем я. И все-таки... Безусловно, домашнее креслосидение в бликах зеленого и красного заря- дило меня тем видом энергии, которая воздействует и на истинных швейцаров.

Швейцары всегда пробуждают во мне идеалиста. Думаю, что им присуще особое шестое чувство. Иногда мне рисуется в воображении, как я сижу, трясущийся, за длинным столом, за которым вершится последний суд, и верховный арбитр, Его Превосходительное Все- могущество, смотрит на меня взглядом швейцара или, скажем, Всевышнего Швейцара. Только в его присут- ствии мы будем способны постичь бесплодность прост- ранных защитительных речей, на которые мы такие

мастера: они отнимали бы слишком много времени в небесном судопроизводстве. Надеюсь, кстати, что Он не сочтет мои представления еретическими, ибо в конце концов лица земных судей, никогда не внушавшие мне благоговения, спроектированы по Его собственному подобию.

Наверху еще оставалось два свободных стола. Мне снова вспомнились зелено-красные огненные письма, и я подумал с улыбкой: «Огненными письмами хочу я начертать в небесах: «Смири, смертный, свое преходящее величие у врат моих ресторанов!»

Я утолил свой голод котлетой по-киевски. Это блюдо было по мне — не люблю слишком острого. Поскольку спешить было совершенно некуда, я заказал целый кофейник кофе, решив поглазеть по сторонам.

Мы со вкусом обставляем свои рестораны. Музыканты на стенной росписи наигрывали на своих инструментах, в меру архаичных и в меру современных, беззвучные руны. Только вот выпивка у них на глазах шла все тем же манером. И вряд ли эта традиция изменится. Тут мы консервативны.

Взгляд мой обнаружил поблизости большое застольное общество, состоявшее в основном из женщин. Там отмечался, видимо, юбилей какого-то учреждения. Временами из-за других столиков поднимались какие-нибудь поднабравшиеся уже мужчины, приводили в порядок свою мужскую красоту и направлялись к этой компании соблазнять на танец избытки женского населения. Занятно было следить за их лицевыми мускулами, тщившимися застыть именно в такой маске, какая — соответственно темпераменту каждого, начитанности и т. д. — должна была отобразить предел мужского обаяния. Я подумал, что женщины, чрезмерно склонные обвинять сильный пол в равнодушии к своему облику, могли бы, увидев это зрелище, взять свой упрек обратно.

Половина компании сидела лицом ко мне. Большинство из них достигло финиша среднего возраста. По нарядам женщин, по тому, как старательно они веселились, по их почти нетронутым рюмкам в каждой угадывалась добропорядочная мать семейства. (Завтра они скажут: «Уж и гульнули же мы вчера! Здорово было! Но К. вела себя ужасно!»)

Три женщины были помоложе. Очень разные, все они

сидели рядом. Та, что сидела слева, красивая живая брюнетка, несколько итальянистая, о чем она, конечно, знала и сама, появлялась лишь в перерывах между танцами. На женщин такого типа в ресторанах хороший спрос. Та, что справа, — блондинка с нарочито неподвижным взглядом и телосложением Симоны Синьоре, тоже много танцевала. Ее подведенные лиловым веки особенно прельщали офицеров. Она плотно прикидала к партнеру, но в то же время глаза ее блуждали где-то далеко-далеко. Было в ней что-то очень типовое.

Больше всех меня интересовала сидевшая в середине.

Это была очень молодая хрупкая девушка, от силы лет восемнадцать. Я посмотрел на нее достаточно долгим взглядом, однако не заметил ничего особенного. Но потом обнаружилось, что это отчаянная мужененавистница. Нет, ей-богу! У нее были волнующе воинственные косички и платье строгого покроя. Ее славная, как у ласки, мордочка была не очень-то приспособлена к тому, чтобы выражать презрение, но пользовались ею, увы, лишь с этой целью! От этого маленького существа изливалось осуждение во все стороны — и по горизонтали, и по вертикали; ее наверняка ожидало великое будущее — может быть, она станет космонавтом!.. Трижды она бросила отказ в лицо эгоистическому, животному, идиотскому и распущенному мужскому полу. Но, к сожалению, из этого уже извлекли урок, и теперь юный прокурор ждал очередной жертвы с явным нетерпением. Даже на меня был брошен взгляд. Но никто не подходил и похоже было на то, что весь остальной вечер ее хорошо отточенному оружию убийства предстояло покрываться унылой ржавчиной.

Я многое бы отдал за танец с этой юной Дианой. Чего бы только она мне не наговорила! Но это было явно неосуществимо. Я пригласил ее белокурую соседку.

Да, стоя в стороне, легко делать обобщения на людской счет. Семь лет учения я прожил весьма аскетично. Ведь мелкие студенческие радости двухмесячной давности, ради которых завистливые соперники освобождали мне комнату, ложась на одну койку по двое, не очень-то в счет. Став теперь самостоятельным одиноким мужчиной, я почувствовал, как мое духовное аристократическое презрение к земным утехам разлетается в прах...

Примитивные мужские инстинкты никак все-таки нельзя назвать примитивными: после первого же танца партнерша стала мне казаться необычайно интеллигентной, в ней открылось множество скрытых достоинств! Да, танцевала она дьявольски хорошо! Маленькая мужененавистница с мордочкой ласки смотрела на нас с крайним презрением, но мне уже было не до нее.

Отблеск неоновых реклам на потолке твоей собственной квартиры и картинка Фрагонара могут оказаться для духа замечательным тонизирующим средством. Стоило лишь подумать о них, как я становился самоуверенней чемпиона по боксу в юношеском разряде и болтливей литературного критика. Без особого усилия над собой я пригласил партнершу к себе на новоселье. Сперва она, конечно, отказалась, но уже через два танца согласилась заскочить на минутку... По-видимому, такие статьи «Ноорте хязль», как, например, «Правильно ли поступила Имби?» или «Почему Леа стала прожигательницей жизни?», вызвали желательный нравственный резонанс еще не у всех членов общества...

Я попросил официанта завернуть в бумагу бутылку «Перно» и заказал еще коробку шоколада; разумеется, этот противный тип принес мне со скользкой улыбкой сорт подороже. Я попросил его заменить шоколад на самый дешевый, чтобы сразу же дать понять и официанту, и блондинке, что они имеют дело не с желторотым.

Мы ушли, сопровождаемые осуждающими взглядами всего женского общества. («Здорово было! Но К. вела себя ужасно!»)

II

Белокурая гостя покинула меня еще до восьми утра, оставив после себя аромат «Белой ночи» (74 коп. флакон). Я набрал в легкие этого приторного запаха, уткнул нос в подушку и дал по дополнительному сну.

Проснулся я в половине одиннадцатого совершенно свежий и решил озаглавить первое утро в своей новой квартире небольшой зарядкой — как правило, я предпочитаю откладывать это занятие на другое утро!

Затем, гордый своей энергичностью, я долго полоскался под прохладным душем, а потом, строя планы на день, нежился в ванне.

Безусловно, придется нанести визит старине Тоонельту. Этот облом (извините, но он сам себя так называет) остановил меня вчера на улице и категорически приказал заглянуть к нему. Зачем — не знаю. Может, хочет предложить работу? Что ж, надо бы завязать с Тоонельтом хорошие отношения. Стало быть, сегодня мы вновь, столько времени спустя, встретимся с глазу на глаз с этим живым классиком, о котором здесь ходит такое множество анекдотов. Можно даже сказать, что в известном смысле это будет первая наша настоящая встреча. Ведь в Таллине, на первом курсе Художественного института, я был еще весьма зелен. Проучился я под началом Тоонельта всего год, а потом появилась возможность уехать в Москву (республиканское место) и я покинул родной город. На семь лет. И затем сталкивался с Тоонельтом лишь от случая к случаю. На научных сессиях, на выставках, но один на один — ни разу. Очень важно, чтобы я произвел хорошее впечатление. От него будут зависеть мои дела. Если понадобится, пойдем даже на то, что иногда называется подхалимажем. Разумеется, в самой культурной форме. Что по сути уже не подхалимство, а приспособленчество.

Кажется, именно Кант сказал, что интеллигентность есть не что иное, как умение приспособливаться, рассуждал я, шевеля пальцами ног. Не странно ли, что человечество, сумевшее за тысячелетия превратить приспособленчество в великое интеллектуальное искусство, относится к нему с презрением? Будто манера поведения, основанная на глубоком знании людей, живой фантазии и смелом риске, чем-то хуже других форм жизненной борьбы. Кажется, иному рассудительному во всем остальном человеку легче сожрать своего конкурента вместе с шерстью и вечерним костюмом, чем применить в целях преуспевания какой-нибудь другой мягкий и гуманный способ, например, симпровизированное вовремя и к месту излияние чувств, приступ восторга или сеанс самого что ни на есть искреннего самобичевания. Надо быть дремучим дураком, чтобы не пользоваться людскими слабостями! Не в коммунизме еще живем! К тому же у приспособленчества могут быть

самые благородные цели. Приспособленчество — это и спорт, и наука, и искусство!

Насколько помню, с такого примерно вступления начинается черновик одного моего давнишнего трактата. Ведь все мы в известном возрасте ставим главной целью своей жизни просвещение глупого человечества с помощью печатного слова. В зависимости от темперамента мы пишем либо о женщинах (после полученного в парадном поцелуя или, еще лучше, оплеухи — это первое, что приходит в голову!), либо о времени, пространстве и других столь же туманных вещах, и мне необычайно приятно вспомнить, что я сумел-таки выбрать менее затрепанную тему. Я разделил приспособленчество на несколько видов. Я занимался этим столь же педантично, как маленький философ или великий бухгалтер.

Было там «аналитическое приспособленчество», раскрывающее слабости партнера; было «дезориентирующее приспособленчество», рассчитанное на недооценку твоей личности, что можно было впоследствии использовать; было «зеркальное приспособленчество» — партнер видел тебя насквозь, но в то же время понимал, что это предусмотрено, — в результате два толковых человека оценивали друг друга по достоинству; кроме того, было еще «эстетствующее приспособленчество» на предмет самоувеселения и «спортивный подхалимаж», разработанный специально для тренажа приспособленческой техники.

Категорий была целая куча — кажется, больше двадцати. Каждой я посвящал отдельную главу со множеством примеров. Помню заключительные фразы трактата, которыми я очень гордился:

«...Таким образом, мы показали, что приспособленчество — это невидимое и практичное оружие, которое, во-первых, всегда у вас под рукой, а во-вторых, превосходит по силе любое другое оружие (ядерное, бактериологическое и т. д.). Хотя это и не входит в задачи философа, хотел бы все же в заключение подчеркнуть: пусть и виртуозы приспособленчества никогда не забывают об этике, пусть и они стремятся только к тому, чтобы жизнь на нашей планете стала еще прекраснее и счастливее!»

Ведь правда — красота?!

Я начал даже составлять задачник по приспособлен-

честву, но потом решил, что посмертная слава не стоит прижизненной, и запер неоконченную работу в ящик стола.

Сейчас, конечно, смешно все это вспоминать, но все-таки я не считаю, что даром потратил время.

А теперь перейдем от теории к практике, подумал я и, выбравшись из ванны, открыл дверцу платяного шкафа, чтобы изучить свой гардероб. Пока что он был довольно беден. Ради столь важного визита следовало бы надеть парадный черный костюм, и таковой у меня имеется. Но Тоонельт наверняка высмеет меня за подобный наряд — уж это точно. Не пойти ли тогда в спецовке, заляпанной глиной? Нет, это слишком уж прозрачно — Тоонельт без труда распознает во мне жалкого примитивного подхалима.

Я решил остановиться на черном костюме и, ловко сложив не совсем белоснежный носовой платок, сунул его в нагрудный кармашек. Из зеркала на меня глянул гладенький женишок, и потому я немного сбил плечи пиджака, чтобы он слегка морщил. После этого я перестал быть похожим на денди. Затем надел свое серое шевиотовое пальто и вышел. Пускай этот Тоонельт ухмыляется себе на здоровье, пускай радуется. Так тому и быть! Эту разновидность приспособленчества я, кажется, назвал в свое время «подарочным приспособленчеством». Очень гуманная разновидность!

Стоя у внушительной дубовой двери, я с радостью отметил, что и впрямь немного волнуясь: как-никак за этой дверью живет человек, чьего уровня я достигну в лучшем случае лет через двадцать.

Я постучал.

— Входи же, чего трусишь? — рявкнул мне в лицо полуобнаженный гигант, ростом не меньше метра девяносто.

На его медвежьей мохнато-черной груди сверкали жемчужины пота, рука сжимала гантель. Гантель с глухим стуком шлепнулась на мат в углу, и огромная шершавая ручища стиснула мою руку, ставшую вдруг такой маленькой. Господи, ну и Самсон! Один из столпов эстонской скульптуры стоял передо мной во всей своей монументальности.

— Поразмялся малость. Неохота признавать себя развалиной.

Ничего себе развалина, подумал я, на голове ни одного седого волоса! А сил у него побольше, чем у трех таких, как я.

— Ну, как там Саша поживает? Щербаков?

Я сказал, что профессор Щербаков живет хорошо, что он шлет приветы и... и... Больше я ничего не сумел добавить. Столь активный прием порядком меня обескуражил.

— Чудесный человек этот Саша. Чудесный человек — и дерьмовый скульптор.

Зеленые, постоянно меняющиеся совиные глаза дружелюбно ощупали меня с головы до пят. Из-под холматых бровей сверкнул лукавый смешок.

Тоонельт не отпустил ни одного замечания по поводу моего костюма, и мне стало как-то не по себе при мысли, что он видит меня насквозь.

— Скажешь, неправда?

Я не решился ответить.

— Ясное дело, правда! Гирь не поднимает, из ружья не стреляет, рыбу не ловит, что он за скульптор? — Где-то в недрах мохнатой груди заклокотал смех.

— Пойду прикроюсь. Не то еще сочтете меня деревенщиной. А ты пока полистай что-нибудь. — Он отдернул стенную портьеру, и я увидел большой стеллаж — от угла до угла, от пола до потолка, — плотно набитый книгами, художественными альбомами и журналами. На стол мне швырнули толстый альманах.

— Вчера вот удалось купить...

Альманах был французский. Я привык хвастать, что французский язык не представляет для меня трудностей, но на этот раз честно признался, что смотреть картинки могу, а языка не понимаю...

— У меня есть другой.

Я получил точно такое же итальянское издание и совсем притих... Грифы, сфинксы, кентавры — иные из них чем-то напоминали владельца книги.

Тоонельт ушел одеваться, дав мне чуточку времени на передышку. Ну и человек! Когда он на тебя смотрит, чувствуешь себя пришпиленной букашкой. Хитрить с ним — за это, пожалуй, не стоило и браться! Лучше всего и проще вести себя застенчиво. Для этого и притворяться не нужно. И раз уж он любит принимать гостей в таком виде, стало быть, ему наверняка нравятся застенчивые...

— Заходи-ка сюда, — крикнули мне через некоторое время из-за двери.

Я прошел в маленькую полутемную комнату. Окна были занавешены плотными шторами, на столе красновато светилась старомодная лампа. Тоонельт сел в кресло с высокой резной спинкой, взял термос и налил в крохотные чашечки дымящийся кофе. В своей лиловой домашней куртке он был похож на лукавого и мудрого восточного властителя. После того как мои глаза привыкли к полутьме, я разглядел прибитые к стене странные птичьи чучела. Это было вроде заколдованного царства: стеклянные глаза чучел загадочно поблескивали — казалось, что они только притворяются мертвыми, на самом же деле все слышат и стараются запомнить каждое мое слово.

... И при виде этих чучел
Стало странно мне и страшно.
Может быть, в несчастных птицах,
Выпотрошенных колдуньей,
Силой магии томятся
Заколдованные люди?*

— вспомнились мне строки из «Атта Тролля». Эта параллель заставила меня улыбнуться.

Я отхлебнул кофе. Он был душистый и горький. Тоонельт молча разглядывал меня, и я снова почувствовал себя как школьник в кабинете директора. Я заметил на каминной полке резные фигурки из кости. Все здесь резко контрастировало с гантелями, и я невольно подумал о скульптурах Тоонельта. Несколько десятилетий тому назад, как, увы, и в пятидесятих годах, их считали псевдонародными. «Деревенская грубость — это всего-навсего маска, под которой скрывается внутренний эмигрант постимпрессионизма», — писал в то время один неистовый и, между прочим, совсем неглупый художественный критик. В те времена слово «импрессионист» звучало пугающее, чем «рецидивист», однако к Тоонельту было не так-то просто подступиться: он стал коммунистом еще в двадцатых годах, а хуже всего было то, что одно из приближенных лиц Всемогущего заказало ему три садовых скульптуры...

* Перевод В. Левика.

Когда какой-то московский критик, глупый, как пробка, но в ту пору весьма именитый, затеял было скандал в Художественном институте, Тоонельт, как рассказывают, рывкнул ему:

— До сих пор никто не вел со мной переговоров через дворников. На то, чтоб разговаривать с дворником, у нас в институте тоже есть дворник. Все!

Телеграмму такого же содержания он послал и в Москву, на имя того, кто заказывал садовые скульптуры, и, к великому удивлению многих завистников, с ним ничегошеньки не случилось.

— Вы какой-то пришибленный... Это гантели вас так напугали или еще что? — с усмешкой спросил Тоонельт, снова переходя на «вы». — Художники — чудной народ: чем здоровее стараешься жить, тем больше люди удивляются. Иной, напившись, бегаёт на четвереньках вокруг театра, живет с тремя женами, красит бороду в зеленый цвет, и никто не обращает внимания. Но если начнешь покупать кефир и заниматься в саду гимнастикой, как все тут же решат, что профессор совсем выжил из ума и гоняется за дешевым эффектом... Ну да ладно, все это неинтересно! Лучше расскажите, какие у вас планы.

Я признался, что пока у меня нет никаких особых планов. Есть, конечно, разные темы и замыслы, но я еще не успел осмотреться.

— Осенью меня обещали использовать в Художественном институте, вот тогда и посмотрим, что и как.

— А у меня есть к вам предложенье, — заговорил Тоонельт. — В пригороде будут ставить монумент жертвам фашизма — на братской могиле. Хотели обратиться с этим ко мне, но я не могу — слишком много работ начато. Долго мне пришлось уламывать этих мастодонтов, но я сумел все-таки добиться, что они обещали дать заказ Саарме. Айн — парень молодой, всего год назад кончил учиться, но толковый и чертовски талантливый. Да вы и сами его знаете...

Я кивнул головой, хотя почти ничего не слышал об Айне Саарме. Разве что знал фамилию.

— Мы тут советовались с Айном. И подумали, что было бы здорово, если бы и вы вошли в компанию. Как-никак, кандидат архитектуры — мужчина весьма солидный, — ухмыльнулся Тоонельт.

Эта его дружеская улыбка, полууважительная и по-

лунасмешливая, была совершенно непередаваемой. Когда я разговариваю с художниками старшего поколения, у меня всегда возникает чувство, будто каждый год разницы в нашем возрасте — это мой лотерейный билет. Но за умение так улыбаться я отдал бы целую пачку билетов.

— Не торопитесь соглашаться, — остановил меня Тоонельт на полуслове. — Дело в том, что, взявшись за эту работу, вы можете нажить себе врага. Есть тут у нас один милый дядя, который собирается конкурировать с Айном и с вами. С точки зрения искусства он ничто, зато с остальных точек зрения — нечто. Это Магнус Тээ...

— Магнус Тээ? Еще бы не знать! Когда-то мы называли его Гневом Господним, — вспомнил я.

Тоонельт приподнял свои тяжелые, слегка набрякшие веки, и на мне остановились его глаза — две большие и неподвижные темно-зеленые лампы. В этот миг он напомнил мне старого ворчливого укротителя, разговаривающего примерно так: «Эта кобра не очень-то опасна. Она, правда, ужалила насмерть двух человек, в том числе и моего младшего сына, но вообще-то с ней можно справиться...»

— Он, между прочим, вполне приличный скульптор, — продолжал Тоонельт, — но с тех пор как поснимали с перекрестков шоссе и пустили в размол позолоченных оленей и дамочек со снопами, его творчество больше не находит поклонников. Вот он и решил создавать ценности иного рода. — Это было настолько безжалостно, что я даже не решился рассмеяться, да и Тоонельт больше не ухмылялся. Он лишь старательно водил своим громадным пальцем по переносице. — Так что вы подумайте...

Я собрался его уверить, что этот Гнев Господень несколько меня не пугает, скорее наоборот — он-то и подбивает меня взяться за дело, но Тоонельт наклонился к полке, и комнату наполнили голоса птиц: тьюфью, тивит-чивир, вперемежку со звуками погортанней.

— Узнаете? — спросил Тоонельт. — А это?

Я не мог узнать ни одного голоса и признался, что сумел бы угадать разве что кукушку...

— Сам лиса лисой, — улыбнулся Тоонельт, — а птичьих голосов не знает! Кто бы мог подумать!

Птицы щебетали, а со стены следили за мной хитрые глаза сов, прикинувшихся мертвыми.

Когда магнитофонная лента кончилась, Тоонельт сказал, поднимаясь:

— Так что хорошенько подумайте. Молодежи не следует ошибаться. Если решитесь войти в компанию с Саармой, зайдите к нему. И еще одно. Это опять-таки касается Магнуса Тээ. У Айна случилось однажды недоразумение по «женскому вопросу», из-за чего Тээ до сих пор разглагольствует о его моральном облике. Кстати... он звонил мне сегодня и сообщил, что утром из вашей квартиры вышла какая-то женщина. Магнус Тээ поинтересовался, не собираетесь ли вы жениться. Вот что за человек этот Магнус! И живет он прямо над вами.

Тоонельт подался вперед и улыбнулся улыбкой добродушного Вулкана, но его пальцы, сжимавшие край стола, стали красно-белыми.

В передней Тоонельт опять стал прежним Тоонельтом.

— Двухпудовая, — показал он на гирию. — Хочешь, одолжу тебе пудовую, а?

Потом фамильярно похлопал меня по плечу и в прямом смысле слова выставил за дверь.

Возвращаясь домой, я насвистывал, как мальчишка, или, кто его знает, может быть, как редкая разновидность зяблика с магнитофонной ленты Тоонельта. Еще бы мне не принять предложение! С Магнусом Тээ, с Гневом Господним, будем держаться осторожно! В таких случаях следует улаживать дела с помощью визита вежливости. Как правило, эти творцы золотых оленей весьма простодушны, и я превосходно умею с ними ладить. Надо лишь заставить их рассказывать о своей молодости и слушать разинув рот. Невредно также ходить к ним показывать эскизы. Разумеется, не окончательные... Но после того как я побывал у Тоонельта, этот прекрасный метод показался мне отвратительным.

Ну, так будем попросту осторожны! А вообще-то дело начинает клеиться. И еще как!

Я зашел в общественную уборную, «храм-неотложку», как ее называют. Даже эта гнусная постройка, эта бородавка на широкой ладони площади Победы, пока-

залась мне сегодня симпатичной. Я с ухмылкой разглядывал огромное ню, выцарапанное на темно-зеленой стене: современное народное искусство находится в явном родстве с могучей манерой пещерного человека... И с каким удивительным лаконизмом высказываются наши мастера самодеятельности! Отнюдь не легкие эмоции им удастся выразить в простом нераспространенном предложении. Иные же авторы обходятся одним-единственным словом, да и то в именительном падеже...

До чего же хорошее было у меня настроение!

III

Женщины, я люблю вас! Без вас было бы трудно. Если бы не вы, откуда мы получали бы самую необходимую информацию? Какой мужчина смог бы проговорить целый час за чашкой кофе и клубничным пирожным об Айне Саарме и его жене? А вот Анне — друг моего детства с непоколебимыми, как колонны, принципами и с такими же ногами — занималась этим просто с восторгом. При этом сам я обронил лишь одно словечко: мне, дескать, судя по всему, предстоит работать совместно с Айном.

В свое время Анне упрямо пыталась поступить в Художественный институт. Но из этого ничего не вышло, и она, само собой, стала крупным искусствоведам. Она служит в газете в отделе культуры, пишет меланхолические рецензии о выставках, называет всех художников по имени и говорит о них ласковым тоном сочувственного превосходства: «Он — человек творческий». Но как умеют произносить это критики! В эти два слова вкладывается все презрение гороховой подпорки к чахлому стручковому растению, которое вместо того чтобы рвануться прямо к солнцу, так убого извивается. К их отзывчивому презрению примешивается временами и тонкая, мудрая, философская, едва ли не благоуханная печаль о несправедливости вещей: стручки всегда растут не там, где следует, — нет чтобы вырасти на палке.

Ну да ладно. В общем-то я был просто благодарен Анне за ее лекцию. Я узнал, что Айна считают очень талантливым и что так оно и есть. Еще я услышал, что

он слаб насчет вина. Выпивает он, правда, редко, но спьяну любит буянить и попадает, как правило, в милицию. Два месяца назад он получил строгий выговор с последним предупреждением. Магнус Тээ требовал, чтобы Айна выкинули из Союза художников, и Тоонельту стоило больших трудов выручить его.

Кроме того, Айн человек неприспособленный — подумать только: дал себя окрутить бывшей натурщице, любовнице архитектора Кыюметса! Какой-то трезвой калькуляторше с крепкими локтями, «которая, да-да, и не так уж красива...» Последняя фраза Анне ничуть меня не удивила: я как-никак знаком с некоторыми не слишком молодыми, но еще не замужними женщинами, они-то и успели мне любезно объяснить, что мужчины избегают умных и красивых женщин и все, как сговорившись, женятся только на патологических уродках.

Я принял комментарии Анне к сведению, однако тут же постарался забыть их: мне ведь хотелось стать добрым другом и Айну и его жене. В большинстве случаев предпочтительнее знать и людей, и предметы не совсем досконально. Помнится, в детстве я с радостью пил гематоген и у меня были страсть какие красные щеки, пока я однажды не узнал, из чего и как готовится это целебное снадобье!

После обеда я пошел в гости к Саарме. Для этого мне понадобилось подняться лишь на двадцать четыре ступеньки — живем-то мы в одном доме.

Ева Саарма оказалась маленькой и довольно красивой женщиной с большим чувственным ртом. Пока она разговаривала, руки ее ни на миг не могли успокоиться, зато в конце фразы они театрально замирали, чтобы с возобновлением текста, зачастую начинающегося словами «мы с Айном думаем...», снова перейти к отчаянной жестикуляции. Она была в сером костюме строгого покроя, слишком, пожалуй, корректном, чтобы свидетельствовать о хорошем вкусе. Ева показалась мне разумной женщиной, но расположения у меня не вызвала. И помешали мне вовсе не рассказы Анне и не Евина манера речи, чересчур уж непререкаемая: она подносила каждую фразу, словно драгоценность, обязательно пробой вверх. Помешало мне воспоминание той поры, когда мне было семнадцать лет.

К сожалению, и это воспоминание из числа пикантных.

Однажды я проводил школьные каникулы в лагере на берегу Чудского озера. Начальником лагеря была женщина лет тридцати, очень похожая на Еву. Она была жутко строгой: зарядка, завтрак, обед — все это соблюдалось с точностью до минуты. А после мертвого часа она проводила «мероприятия культурно-развлекательного характера». Голос ее обладал лишь двумя регистрами: во-первых, стопроцентно бодряческим, свойским и задушевым до тошноты — «а у меня для вас сюрприз: сегодня мы проводим вик-то-ри-ну по русской классической литературе», а во-вторых, холодным и беспощадным, как скальпель, — «вы опоздали на линейку на целых три минуты!» Оба регистра были одинаково противны, оба превращали наш лагерь, отнюдь не школьный (туда съехались одни взрослые — все старше меня), в законченную казарму.

В последний вечер мы устроили в лагере костер, и мужчины купили бочку деревенского пива. Так что явно наклеывалось «мероприятие развлекательно-пивного характера». Однако наша тиранша не стала читать мораль, поскольку бочка была маленькая, а людей вокруг костра собралось много. Но я назло нашей начальнице решил напиться. Это оказалось несложным, вернее говоря, все произошло раньше, чем я успел спохватиться. Тиранша жутко разозлилась. Она обвинила мужчин в нравственном растлении малолетнего (NB!) и силой уволокла меня из общества. Жила она не в палатке, а в единственном деревянном доме на краю лагеря. Там-то она меня и заперла, а сама вернулась на костер. Я уснул как мертвый. Часа в два ночи я проснулся и увидел при лунном свете, как она раздевается.

В ту ночь мне больше не удалось сомкнуть глаз, а в восемь утра (по случаю праздника — на час позже обычного) я уже, сонный, словно куль, делал в общем строю зарядку и холодный, похожий на скальпель голос командовал: «Сомкнуть ноги! Расставить! Сомкнуть! Расставить! Раз-два-три! Раз-два-три! Вооре, почему вы не п р и с е д а е т е? Три-два-три!» И ни одного ласкового взгляда!

В десять часов я болтался в автобусе, увозившем меня из лагеря домой, лицо мое было зеленым, меня подташнивало, и все женщины казались мне непонят-

ным кошмаром. В дальнейшем меня никто больше не использовал как предмет потребления, но я и до сих пор ощущаю горечь обиды, стоит вспомнить свою первую романическую ночь. Мужчины не выносят, когда женщины обходятся с ними так же, как они сами обходятся с женщинами! Мне известно, что потом эта дама стала одной из главных деятельниц по части туризма. (Я ничего не имею против карьеристов вообще, но совершенно не выношу стандартнотиповых карьеристов.)

Речь Евы и ее манеры весьма сильно смахивали на винегрет из детсадовской тети и «своего» парня, на тот самый винегрет, каким я однажды отравился из-за своего обжорства.

— Бессильное коньячное племя, — говорила Ева о молодых художниках тоном, не допускающим возражений, — достаточно им высосать сто граммов, как они уже начинают трубить о своих великих замыслах. После двухсот граммов у них лица девы Марии, изнемогающей от родовых мук. А после трехсот граммов они уже все знают, они уже находят (руки эффектно окаменели) тот самый мазок, который пришлось искать так долго и который превращает картину в картину! О да, они сейчас же пойдут в мастерскую и закончат работу! Но затем следуют четвертые сто граммов и они в самом деле уходят — уходят за дверь с двумя нолями, где лихо икают четверть часа. А на другой день опять крутят все ту же пластинку, опять трубят в трубы, опять находят, а потом — икают!

Речи эти в устах Евы звучали несколько странно. После полученной мною от Анне информации о привычках Айна — особенно. А может быть, вы, сударыня (сейчас ведь пропагандируются старинные обращения!), преследуете воспитательные цели? Вот уж напрасная трата сил: я употребляю опьяняющие напитки крайне умеренно, что же до Айна, так он вроде бы и не слушал Еву. И не то, чтобы он был занят чем-то своим, нет, он смотрел на жену и, я бы сказал, прямо-таки с поразительным для мужа восторгом. Совсем как деревенский паренек на карусель. Я с любопытством присмотрелся к Айну: редко встречаются настолько некрасивые, нет, вернее, настолько бесцветные люди. Короткое тело и короткая шея, а на шее — непропорционально большая, круглая, как шар, голова. Редкие песочного цвета волосы были подстрижены очень коротко (навер-

няка по требованию Евы) и смешно кустились над розовым теменем. А когда я еще заметил свисавшую из-под брюк голубую завязку, то подумал, что Айн в своем роде законченный экземпляр. Невзрачная наружность является для художника в какой-то мере преимуществом: стоит такому сделать что-то мало-мальски порядочное, как его сразу признают жутко талантливым! Особенно убеждены в этом те, кто ничего в искусстве не смыслит. «Господи, какой нелепый!» — благоговейно шепчут они, завидев счастливого. Можно подумать, будто талант — это не то злокачественный недуг внутренних органов, не то добросовестный вурдалак, ежедневно терзающий свою жертву.

Но как бы там ни было, Айн Саарма, видимо, чертовски талантливый парень! Уж Тоонельта не проведешь. Да и много ли найдется таких, кому в первый же год после окончания института предлагают столь солидный заказ?

Но что он по сути успел? Это сильно меня интересовало. За годы жизни в Москве я порядком отошел от эстонской художественной жизни. Я подписывался на «Сирп я вазар», но из-за выставок зарубежных художников, из-за журналов, из-за вечерних дискуссий, на которых бушевали страсти, у меня уже не оставалось досуга, а скорее всего, интереса, чтобы читать эстонскую газету: все это казалось каким-то далеким и провинциальным.

— Да... — шпарила Ева дальше. — Дюма написал триста романов, Гайдн — больше ста симфоний. Как вспомнишь об этом, поневоле краснеешь. Похоже, что Афина нашего века держит в руке не шлем, а бокал коктейля, и что наш Эрос — извините меня! — хранит в нагрудном кармане стимулирующие таблетки... Бессилие, сплин, скепсис...

«А наши весталки, наши хранительницы очага, читают нам возле электрических каминов свои все-сильные проповеди о бессилии», — захотелось мне добавить, но вместо этого я проворно подхватил:

— Точно! Нам действительно не хватает естественности и силы! Я и сам не могу похвастаться этими свойствами, но во всяком случае ставлю их выше всего... Знаете ли, из-за этой мании к естественности я стал даже объектом насмешек. В общежитии над изголовьем моей постели висели гибнущие галактики и

страсти с большой буквы. Само собой, написанные маслом. Может быть, гибли эти галактики в слишком наивной смеси черного с красным, но...

— Но наивность — это ведь так мило! — поспешила вставить Ева.

— Да, мило, — согласился я, думая о наивности совсем другого толка. — Я по-настоящему горд, что еще в годы учения не выносил жеманства. Там у нас в Москве были даже снобы от рококо. Преклонялись перед Фрагонаром и подобными ему господами. Вешали у себя над койками выставки цветов, заваленные кружевами. Что уж совсем неприлично для художника нашего времени, не правда ли? Как-никак, прежде всего искренность и суровость!

— Я так рада, что вы будете работать вместе, вы и Айн! Правда, чудесно?

— Это и в самом деле чудесно, — с восторгом согласился я.

— Чудесно, — согласился и Айн.

— В самом деле чудесно, — поставила Ева точку и выразительно застыла.

Меня разбирал смех. Вспомнился один персонаж (кажется, из Таммсааре), повторявший все время: «Правда, суццая правда, как есть правда...»

— Погрызите тут немножко искусство, а я пойду погляжу, не удастся ли организовать кофе, чтобы было чем запить, — победно сообщила Ева. Видимо, этот оборот был заимствован из их семейного жаргона. Она сунула мне в руки альбом с фотографиями и исчезла с горизонта.

— Ах, все это учебные работы, — угрюмо буркнул Айн и пригладил ладонью волосы, но какое там — их рвение ввысь стало еще вдохновенней.

Я начал листать фотографии скульптур Айны Саарма. Самые же первые из них вызвали у меня удивление.

Каждая эпоха несет свое новаторство формы. Даст ли оно общее название всей эпохе — это уже другой вопрос. Обычно этого не происходит. И все-таки весьма легко взять на вооружение арсенал известных приемов, благодаря чему в более или менее осведомленных кругах тебя начнут считать талантливым. Меня всегда интересовал вопрос современности. Сейчас для большинства модных молодых скульпторов характерна декоративность, намеренная грубость фактуры и в своем

роде неокубизм. Айн, казалось, стоял совершенно в стороне от этого общего течения, с которым лично у меня были по вполне понятным причинам точки соприкосновения. Из альбома пялились на меня замкнутые, недобрые и словно бы замороженные портреты. Никакой декоративности — скорее скромность.

Я добрался до дипломной работы. Это было странное произведение под названием «Над заколотым теленком».

Длинноногий молочный теленок прижат к земле веревками, а рядом с ним стоит худой, беспомощный, но в то же время и беспощадно деловитый парень в сапогах, сжимающий нож. Теленок — недокормленный, со свалывшейся шерстью, может быть, даже в парше... Парень — недокормленный, со свалывшимися волосами, может быть, даже в парше... Странная тема, и странное решение. С одной стороны, эта нелепая работа провоцировала на перечисление явных промахов, с другой же стороны, сразу становилось ясно, что стоило тут что-то изменить или подправить, как результат оказался бы бледнее! Намного бледнее! Я невольно взглянул на Айну: понимает ли этот нескладный парень со своей щетиной, какую поразительную штуку ему удалось сделать?

— Я... Я пойду помогу, принесу чашки... — буркнул растерянно Айн и поднялся. В дверях он оглянулся и сказал с удивительно искренней улыбкой: — Мне все еще как-то не по себе, когда при мне смотрят мои работы! — И мигом проглотил свою улыбку. — Чего она там так долго?.. — пробурчал он и исчез.

Фотография никогда не дает точного представления о скульптуре. Но все-таки... Я смотрел и размышлял. Внешне это был самый узкий и убогий реализм. Но под этой видимостью пульсировало какое-то второе и даже третье кровообращение. Мне вспомнились «Самостоятельные люди» Лакснеса. Да, здесь что-то было от той же самой атмосферы. Но было еще и нечто иное. Чем дольше я думал, тем путаней все становилось. На миг я даже поверил, что и Айн, и парень, и сам теленок — да, представьте, и теленок! — посвящены во что-то такое, о существовании чего я только подозре-

ваю... Господи, помилуй! Вещи в себе? Ох, ну и намо-
лол же я!

Насколько я понял, произведение это было каким-то скорбным протестом против чего-то извечного и огромного. Но против чего именно, этого я уже не умел выразить. Во всяком случае, мощная штука! На миг я даже ощутил довольно острую зависть и подумал, что, может быть, и не стоило мне так уж гоняться за этим модным лаконизмом.

Но едва первый приступ восторга рассеялся, как на меня нашла озабоченность. Я пролистал еще раз весь альбом — мною все сильнее овладевало чувство, что на пару с таким человеком рискованно браться за крупный заказ. Особенно имея конкурентами ваятелей золотых оленей. Манера Айна скуповата и мрачновата — для выставки такие работы годятся, вполне годятся, но монумент, большой монумент, эскизы которого, прежде чем его утвердят, должны пройти множество инстанций, — это ведь нечто совсем иное, не так ли? Надо найти подход к массовому зрителю: быть и чуточку декоративным, и чуточку патетичным, и недвусмысленно борющимися... На мой взгляд, Айн был начисто лишен подобной жилки. Мне виделась его синие, несколько наивные глаза фанатика, его упрямая круглая голова, вспоминалось все, что наговорила о нем Анне, и беспокойство мое все нарастало: видимо, этот парень на уступки не пойдет! О чем этот Тоонельт думал? Дело ясное — Тоонельт, крепкий и неуступчивый Тоонельт, всегда играл ва-банк! А мне такое никогда не нравилось...

И еще одно: манера-то у нас совсем разная. Двум поварам обычно не удается сварганить что-то приличное. Право, совершенно не представляю, что может выйти из нашей совместной работы! И какую задачу должен себе поставить каждый из нас?

С чашками кофе и с лососем вошел Айн.

— Чертовски вовремя подвернулась тебе эта штука с теленком, — сказал я. Что-то удержало меня от дальнейших похвал.

— Да ведь я деревенский... Вроде бы сам бог велел сделать эту вещь. — Айну, кажется, понравилось, что я не стал хвалить его пространные.

Тут появилась и Ева. Уже в дверях она защебетала:

— Бьюсь об заклад, что вам больше нравится это

жуткое мокрое дело, чем моя прелестная физиономия из белого алебаstra. Все вы такие! Мужчины, мужчины, куда девалась ваша галантность?

— Я, наверно, потому и не заметил вашего портрета, что копия уступает оригиналу, — пробормотал я самый расхожий и самый дурацкий комплимент всех веков. Но и он пришелся по вкусу.

— Слушай, Айн, и учись! — возликовала Ева с точно дозированной безудержностью. — Наконец-то вижу первого вежливого скульптора. За это я собственно-ручно налью вам кофе и сама положу сахар. Да, большинство нашей молодежи — ученики Тоонельта: их комплиментами можно рубить мрамор. Вы, конечно, знаете, как Тоонельт женился?

Я не знал, в самом деле не знал и приготовился слушать. Из вежливости я разыскал в альбоме портрет Евы и начал его разглядывать. Портрет был довольно дохлый. Ему не хватало того самого, что превращало парня с телянком в шедевр. А без этого Айн становился слабаком, почти дилетантом.

— Тоонельт тогда примерялся к своей знаменитой «Уборке картофеля», — начала Ева. — Вы ведь знаете, там две склоненных женщины? И вот он долго не находил натурщицы для той, что помоложе. Искал ее всюду и везде и наконец видит в кафе «Культас» свою будущую Шарлотту — все скульпторы иронически именуют своих жен Шарлоттами, я и сама Шарлотта. Тоонельт без долгих разговоров подходит к столу этой женщины, совсем ему не знакомой, и отзывает ее в сторону: «Вы мне нужны!» — «Я?» — удивляется девица. «Честно говоря, не столько вы сами, сколько затылок и зад!» Как отреагировала девица, история умалчивает. — Руки Евы театрально застыли. — Неизвестно, каким способом, но Тоонельту все же удалось заставить эту девочку позировать. А когда работа была кончена, маэстро, говорят, сказал: «Ну, стало быть, так... Они мне больше не нужны. И все-таки чертовски хочется оставить их себе!» Весьма оригинальное свадебное предложение, не правда ли?

— Как же тогда Айн посватался к своей Шарлотте? — спросил я, справившись наконец со смехом. Эту историю я и в самом деле слышал в первый раз, но, зная Тоонельта, вполне в нее поверил.

— Как Айн посватался к своей Шарлотте?! Заманил к себе в альков да там и оставил. Вот и все!

Ева, когда смеялась, была неприятна. Про людей вроде нее говорят иногда упрощенно, что у них смеется лицо, но не глаза. Это было не совсем так. Глаза у Евы тоже смеялись, но все равно возникало чувство, будто смеется лишь оболочка, а внутри у нее спрятано что-то механическое: то ли безостановочная и педантичная счетная машина, то ли нечто подобное. Ева смеялась «понарошку», как говорят дети. Как птички чучела Тоонельта тоже были мертвыми только «понарошку».

Мне пришла на память вчерашняя встреча с моей учительницей. Мы посидели четверть часика в кафе, прихлебывая кофе, мы улыбались всем существам, мы разговаривали о «милрой и прекрасной школьной поре». Но перед глазами у меня все время болталась дохлая крыса, которую я сумел как-то засунуть в ридикюль «своей второй мамы». Мне даже чудился запах дохлятины, да и ей, думаю, тоже...

Сегодняшняя беседа была такой же принужденной. Но призываю небо в свидетели: ни сегодня, ни впредь я совершенно не собираюсь засовывать даже воображаемую крысу в воображаемый ридикюль этой семьи!

Ева, видимо, почувствовала, что возникла натянутость. Во всяком случае, она позвала Айна на кухню и дала ему какое-то распоряжение. Мне сообщили, будто Айн абсолютно необходимо пойти отправить срочную телеграмму, но все явно сводилось к тому, что в доме не было ни капли спиртного.

Мы остались с Евой одни и по непонятной причине почувствовали себя чуточку свободней.

Светской игры в этикет более чем достаточно, подумал я. Продолжая в том же духе, мы доулыбаемся до судороги губных мышц и расстанемся с чувством огромного облегчения, но уговоримся непременно поскорее встретиться — ведь нам было так весело!

И внезапно мне пришла в голову идея. Недолго думая, я выложил:

— Айн талантлив. Очень! И честно говоря, это меня слегка заботит... — Умолкнув, я начал развлекаться разглядыванием Евы. — Нет, это точно. Талантливые люди в большинстве случаев лишены гибкости. Даже если это необходимо. Дело в том, что монумент — это не выставочная работа, и потому Айн должен, по-мо-

ему, основательно изменить почерк ради такого случая. Тут необходима и декоративность, и патетичность, и наглядное «за и против»...

— То есть вы хотите сказать, что нужно схалтурить? — Ева постаралась быть категоричной, но почва под ней вроде бы заколебалась.

— Насколько это возможно, халтуры надо избегать. Но будет весьма неплохо, если наш первый большой заказ не окажется последним! Не говоря уже о том, что монумент — вообще весьма пошлый жанр. Думаю, что лет через сто их совсем перестанут ставить. Поймут, что нет смысла скрытые в душе чувства водружать посреди площади. Жуткая бестактность! Это, во-первых, а во-вторых, нашим конкурентом будет Магнус Тээ.

— Магнус Тээ? — презрительно, но в то же время настороженно переспросила Ева.

— В этом жанре с его соперничеством придется считаться вполне всерьез, ибо чем более потрясающее и, следовательно, чем более спорное решение мы найдем, тем ему выгоднее...

— Но смешивать искусство с политиканством — это отвратительно, отвратительно! Искусство должно быть свободным! — сказала Ева весьма неуверенно, поскольку я выкладывал все это дружески и как нечто само собой разумеющееся, и она уже не знала, что и думать.

— На мой взгляд, искусство у нас в стране достаточно свободно, — с готовностью объяснил я. — В «Парне с теленком» нет ни капли политики, к тому же это дипломная работа, и ее все-таки купили. (Я узнал об этом от Анне.) Но выставочная работа — одно дело, а монумент — другое. Монументы заказывает государство, и вполне естественно, что оно заказывает их в расчете на массового потребителя. В монументе фактор полезности должен играть максимальную роль. Это обязывает к простоте и доходчивости. Так всегда было не только у нас, а везде, и так оно и останется.

Я прямо-таки боготворю такие темы, как партийность искусства, берлинский вопрос и культ личности! В споре с непосвященным тут всегда можно блеснуть виртуозностью. Для меня это все равно что солдатская ложка с вилкой вместо ручки: хочешь коли, хочешь выуживай подливочку.

«Я не отношусь к числу тех, кто оценивает резко

отрицательно годы власти Сталина», — люблю я говорить.

«Надо рассматривать предмет во всем его объеме, во всей взаимосвязи. Я не из тех, кто думает, будто искалеченные судьбы и напрасно загубленные жизни можно оправдать подъемом угледобычи или новой маркой комбайна!» — люблю я говорить и такое.

— До сих пор работы Айна находили очень хороший прием! — пробормотала Ева.

— Находили и будут находить. Великое дело, если монумент получится у нас удачным: он оправдает многие наши поиски и в прошлом, и в будущем. Но во всем этом есть и другой аспект: до сих пор мы были с Айном начинающими в самом прямом смысле слова. К нам относились, как к детям. Ребенок может забраться с ногами на диван и даже на стол — на него прикрикнут и посмеются. Дав этот заказ, нас объявляют взрослыми, и теперь нам будут предъявлять совсем иные требования. И если мы их не выполним, нам впоследствии могут припомнить все — вплоть до грязных следов на диване или на скатерти. — Речь моя текла плавно, гладкие фразы сами сходили с языка.

Ева была воплощенное внимание. Чопорный мундир светскости и любезности был отброшен в сторону, пришли в действие новые ГОСТы, я увидел перед собой такую Еву, о существовании которой только догадывался. Да, за мной напряженно следила типичная показная натура, женщина, которой просто необходимо преуспеть настолько, чтобы ее просили разрезать ленту на вернисаже. И это должно произойти как можно скорее — раньше, чем старость успеет приложить свою куриную лапу к уголкам ее глаз. Ради этого Ева готова на все. Я почувствовал, что мы с нею прекрасно сговоримся, и Ева мгновенно показалась мне куда привлекательнее даже внешне. Ведь каждого красит его истинная роль, не правда ли — и дирижера, и сапожника. Я понял, что могу перед ней не стыдиться. Беседуя с приятелями в кафе, она будет страстно отстаивать эксперименты Айна, но на самом деле в работе мужа ее интересует лишь то, что сулит скорейшее публичное признание. Существуют на свете рыбки-лоцманы, которые помогают крупной рыбе находить добычу, отчего и сами живут беззаботно. Только что эта изящная рыбка-лоцман заглотала необычную информацию. Она

пыталась проверить все до конца, понять все до конца, и во взгляде ее застыла оторопь: «Как же это я сама не додумалась?! Представить только, что могло бы случиться!» Я понял, что сразу вырос в глазах Евы. Наверняка я и в будущем смогу рассчитывать на ее благодарность: Евы уже усвоили, что есть смысл отплачивать за добро добром. Вот почему в основном это честные дельцы. Более честные, чем принято думать.

— Спасибо, — сказала она просто, и это меня даже тронуло. — Мы посоветуемся с Айном, и я объясню ему суть дела. Только, прошу вас, направьте его!

— Попытаюсь... Но пусть, пожалуйста, и он меня направляет, — галантно перешел я к обороне. Я уже был уверен, что Айн будет работать как надо.

Видимо, тут нет необходимости описывать мое самочувствие, но на самой вершине успеха мне пришлось проглотить горькую, очень горькую пилюлю.

— Ах, вы и сами справитесь. Не сомневаюсь в этом. К тому же ваша задача намного проще. Вряд ли из-за постамента возникнут какие-нибудь проблемы. Вы ведь опубликовали исследование на эту тему и защитили кандидатскую. И два этих групповых барельефа по бокам вы уж, безусловно, сумеете сделать как надо. Ведь барельефы могут быть и свободней, и условней, разве не так? По-моему, так...

Съеденный мною лосось устремился из желудка к горлу. Стало быть, роли уже полностью распределены Тоонельтом! Лишь бы Ева теперь не догадалась, что я не знал этого раньше! Лишь бы она не догадалась! Но нет, она не догадалась! Не то я оказался бы в идиотском положении.

Чтобы отвлечь ее внимание, я уронил на свой костюм кусок лосося.

— Не бойтесь — следов не будет, мороженная рыба, — успокоила меня Ева.

Значит, дело всего-навсего в том, чтобы я сделал «гарнир» к монументу этого деревенского самородка! По всем правилам кулинарного искусства. Тогда пирог получится на славу... Тоонельт не счел меня достойным большего. А я-то рассчитывал совсем на другое... Выходит, для того я приехал из Москвы, чтобы проектировать пьедесталы для людей младше себя. А я-то, отзывчивый самаритянин, еще просвещал здесь Еву! И кому это было надо?

Можно было опасаться, что если мы не прекратим разговор о монументе, мои мысли окажутся слишком прозрачными для женской интуиции Евы. Словно канатоходец, потерявший равновесие, я улыбнулся как можно ослепительней, давая понять публике, что все идет как надо, похвалил успокаивающий пастельный тон бежевого ковра на стене и спросил, где можно достать такой. Ковер в точности воспроизводил цвет детских какашек...

К счастью, мне недолго пришлось мучиться, потому что отправитель срочной телеграммы довольно скоро вернулся. С армянскими тремя звездочками за пазухой.

Пожелав себе успеха в работе, мы чокнулись, и после того, как я обменялся с Евой заговорщицким взглядом, она вышла из комнаты, чтобы мы могли спокойно поговорить о деле. Но о чем было говорить? По воле Тоонельта Айну предстояло создать скульптурную группу, а я должен был придумывать постамент и два боковых барельефа. На тему народных страданий.

Несмотря на уговоры Айны, я не стал засиживаться. Мне, однако, хватило времени заметить, что в болтовне Анне было много верного: видимо, Айн и впрямь не дурак выпить. Свои двести граммов он одолел за четверть часа и стал намного разговорчивее. У меня не было охоты слушать.

Когда я спускался с лестницы, мне подумалось, что в этом спуске есть что-то символическое.

Дома я бесчувственно рухнул на диван.

Перед глазами назойливо маячил «Парень с теленком». Я пытался о нем не думать, но не получалось. Мысленно я сопоставлял его со своей дипломной работой — с «Кузнецами», украшающими теперь парк одного из крупнейших в стране автозаводов. Нет, культуры и артистизма у меня больше: мускулы моих «Кузнецов» поют гимн... Только вот чему, черт бы их побрал, они поют этот гимн? Если только солидным познаниям в пластической анатомии, а так мне начинало казаться, тогда дело дрянь! Я размышлял и взвешивал. При всем своем старании я не мог не видеть того, что Айнов парень с финкой превосходит моих молотобойцев. Но в чем суть? Самсон, где твои волосы?

Неужели это и есть национальная самобытность?

Как-то не хочется верить. Я много (мне даже казалось, что исчерпывающе) думал об эстонской самобытности.

Наша народная поэзия тягуча и разлохмаченна, как намокший канат. Наши руны переминаются с квинты на кварту и бесцветны, как сны барщинника. Танцы у нас сонные, а шутки — дубовые. А возьмем наши национальные блюда. У армян — шипящий шашлык, у венгров — перец, у французов — всякие деликатесы, а у нас, у эстонцев, каэракиле, кама и студень, то есть не что иное, как овсяная похлебка, гороховая мука и вода вываренных костей. Преснятина и убожество! Ну черт с ними, с блюдами: мне кажется, что и у нашего национального облика весь рот в этой овсяной похлебке...

Всему этому я даже нашел объяснение. Физика рассказывает нам о расходе внутренней энергии вещества на образование поверхности. Наверняка так же обстоит дело и с энергией народов: веками весь наш потенциал уходил на самосохранение. Разве это не трагедия?

Связь между всем этим и «Заколотым теленком» была весьма туманной, но все-таки она была. Я уехал учиться в Москву, я всеми силами старался избежать в своих работах узко эстонского, так неужели я ошибся?

В голову мне приходили все новые соображения, одно другого безгловей и плачевней.

Я член партии, Тоонельт — тоже, а вот Айн — нет. Почему же ему поручили главную роль? Зачем я тогда вообще вступал в партию, если от этого нет никакой пользы? Небось, при Сталине все было бы иначе.

Я до конца взвесил этот шаг — вступление в партию.

Я никогда не испытывал потребности в бронированном мировоззрении: железные доспехи сковывают движение и лишают человека гибкости. Блага надо распределять не по потребностям, а по возможностям. Желających сравняться со мной куда больше тех, с кем хочу сравняться я. Какая же мне польза от равенства? Это одна сторона проблемы. Но еще более существенна — другая.

История учит нас, что в наш век никто не может оставаться аполитичным: цитадели рушатся, развитие зависит не от индивидуума, а от коллектива. Нам не понадобятся для иллюстрации биографии Эйнштейна, Брехта или Фейхтвангера, мы найдем доказательства у себя под рукой. Следовательно, необходимо примкнуть

к одному из двух главных лагерей, хотя бы в целях самосохранения. К какому же?

Отец мой воевал в немецкой армии, а дядя — в Советской. Два филолога, два брата, оба на одно лицо, оба в очках с одинаково толстыми стеклами. Оба не вернулись с войны к своему рабочему столу.

Не будь мне один из них отцом, а другой дядей, я сказал бы, что судьба не лишена своеобразного чувства юмора.

Я не ношу очков с толстыми стеклами. Меня интересует фабула Великого Спектакля, а вовсе не лингвистическая характеристика действующих лиц. Я хочу знать, чем эта история кончится. Еще в средней школе я искал ответа на вопрос у Маркса, у Шпенглера, у Казановы-Калера и у Ленина. И сумел понять, что надо вступать в коммунистическую партию!

До сих пор я был доволен своим выбором: он меня ни в чем не стеснил. Я постиг на опыте, что поступки можно заменять словами и что вовсе не обязательно залезать в доспехи: можно класть их перед собой на седло. Они и в этом случае смогут служить щитом, но не будет утрачена маневренность... Но почему мой щит не укрыл меня от Айна? Почему?

Эти мысли были мне и чем-то противны. Доспехи, щит, сталинские времена... Неужели я беспомощен и бездарен? Ведь нет же!

Я принял душ и лег. Меня утешало то, что в проектировке постамента и барельефов нет все же ничего постыдного. А в денежном отношении эта работа весьма даже выгодна...

И все же я долго не мог сомкнуть глаз в эту ночь.

IV

На другое утро некий молодой человек неторопливо поднимался по лестнице дома художников.

МАГНУС ТЭЭ Скульптор

— гласила медная дощечка на дверях квартиры номер восемь.

Свен Вооре останавливается, обводит любопытным взглядом площадку и усмехается.

Из полутемной ниши на него таращится гипсовый бюст солдата, покрытый пылью. Солдат мрачен, потому что на его погоне сидит и зевает молодой рыжий кот. Чтобы не думать о коте, гипсовый боец вспоминает о казарме. В казарме все ходят строем и, отдавая приветствие, щелкают каблуками, а вдоль аллей тянутся по линейке ярко-синие жестяные дощечки с воодушевляющими стихами:

Орудие любит ласку,
 чистку,
 и смазку!

А рыжий кот пресыщенно зевает, типичный тунец из обеспеченной семьи, лишенный идеалов.

Свен Вооре звонит. Слышно, как по паркету ступают сапоги. Дверь открывается.

— Ха! Молодежь! Наш завтрашний день! — гремит Магнус Тээ.

Он действительно в сапогах («Даже дома!» — ухмыляется Свен), вероятно, так выглядят в воскресное утро кавалерийские генералы в отставке.

— Смелей, смелей! — Глаголов Магнус Тээ не любит и предпочитает заменять их жестами. — Так мы в одном доме?.. Какие новости? Идеи? Эскизы? Запросы?

Магнус Тээ кладет свою руку на плечо молодого человека и ведет его к дивану. Диван по-спартански тверд, он даже не скрипывает под тяжестью «нашего завтрашнего дня». Себе Магнус Тээ берет стул и, сев на него в метровом интервале от гостя, смотрит на него с тем ободряющим видом, какой окончательно отбивает охоту к разговору.

— Извините за беспокойство. Я понимаю, как драгоценна каждая ваша минута... — начинает Свен Вооре. Он смотрит на Магнуса Тээ взглядом крохотной ящерицы, разглядывающей своего великого сородича крокодила.

— Для молодежи у меня всегда время. Старая гвардия! Молодая гвардия! — Видимо, Свен Вооре сумел найти нужный подход, потому что лунообразное лицо Гнева Господня, красное, лиловое, бурое и так далее, пришло в движение. Дубленые складки и бугры получили непривычный приказ: «К улыбке перестройсь!»

В этот самый миг Магнус Тээ вытягивает ноги и раздается скрип сапог, но Свену Вооре странным образом чудится, что этот звук издан нутром маэстро. Оба гвардейца умолкают, и, если поглядеть на них со стороны, можно вообразить, будто они весьма растроганы.

— По правде говоря, я отважился побеспокоить вас затем, чтобы попросить совета... Я только что вернулся из Москвы...

— Москва! — грянул тов. М. Тээ.

— Так точно. Я только что прибыл из красавицы Москвы. (Звучит совсем как предложение — пример из учебника грамматики.) Теперь передо мной встала проблема... — Свен опускает взгляд и застенчиво улыбается. — Профессор Тоонельт предложил мне спроектировать пьедестал для монумента Айна Саармы... И я согласился, хотя и не знаю, следовало ли...

— Айн Саарма — молодой скульптор, — откликается маэстро с сердечностью робота.

— Так точно. Молодой скульптор, талантливый скульптор, но... (глотает слюну) я посмотрел его прежние работы и мне показалось, что... что в них много спорного.

— Много спорного! — радостно повторяет Магнус Тээ. В его глазах вспыхивает огонек нескрываемого удовольствия, но огонек тут же гаснет, уступив место педагогической озабоченности старшего товарища.

— Мне кажется, что в скульптурах Саармы мало жизнеутверждающего, мало оптимизма, полета и юношеского дерзания. Монумент — это высокий жанр, монументы живут тысячелетиями и являются достоянием народа. Монумент — это идеологическое оружие, а я не уверен, что Айн Саарма вполне созрел для подобной задачи... Видимо, у нас с ним расходятся взгляды на цели искусства... Вот почему я и хотел спросить вас, правильно ли я поступил...

«Высокий жанр», «идеологическое оружие», «вполне созрел» — все это подействовало на товарища Тээ как тонизирующие инъекции. Он подходит к шкафу и, порывшись в нем, достает и ставит на стол тарелку с печеньем. «Наверняка у него привкус нафталина», — думает Вооре, но берет все же одно печенье и осторожно его надкусывает. Нет, вполне приличное и даже рассыпчатое песочное печенье.

Свен Вооре жует и с удивлением констатирует, что

Магнус Тээ наблюдает за ним едва ли не отеческим взглядом. Ну так ради бога! Свен берет и второе, и третье, и четвертое печенье, рассеянно прислушиваясь к речам Магнуса Тээ. Внезапно он замечает, что в ход пошли и глаголы. Поначалу их совсем мало, и жаждущие фразы тотчас впитывают их, как иссушенная земля дождевые капли, но постепенно дубленая речь Магнуса Тээ становится все живее. «Лишь тогда садами могут стать пески...» — вспоминается Свену строка из какой-то популярной песенки. За этим «преобразованием природы» так интересно следить, что Свен не столько слушает собеседника, сколько любит его. Тем не менее до него все-таки доходит, что Магнус Тээ довольно страстно ораторствует о своих годах учения на рабфаке.

«До чего же все-таки просто иметь дело с такими вот магнусами, — размышляет Свен Вооре. — Вообще-то он, видимо, и человек неплохой, и не очковител какой-нибудь, и уж вовсе не эгоист. Но вот его дела: исключения, выговора... И тут вдруг молодая гвардия понимает, что Магнус Тээ просто-напросто прилежный, но состарившийся садовник: он удобряет клумбы и старательно выпалывает сорняки, разве что зрение стало с годами паршивым. Нет, со стороны молодых просто непрослительно, что Магнус оказался в забвении! Следует составить график визитов к нему и следить, чтобы никто не увиливал от дежурств. Надо показывать ему эскизы, хотя бы институтской поры, и дарить по государственным праздникам красные цветы. А если этот ветеран слепит какую-нибудь скульптуру, так не высмеивать ее, а где-нибудь поставить, ну, например, в пионерском лагере. Словом, подальше от города. А к открытию скульптуры пригласить духовой оркестр и смешанный хор пенсионеров. Старинные песни и барабанный бой... Если так с ним обходиться, глядишь, и польза будет — не художественному творчеству, так хотя бы художникам. Это именно тот человек, какого следует посылать в Москву просить денег для Худфонда... Беспечность, недопустимая беспечность!» — так размышляет Свен Вооре.

Магнус Тээ разговорился. Он уже показывает Свену фотографии своих сыновей. Оба стали офицерами. Виктор погиб в Отечественную войну...

С одной из фотографий застенчиво улыбается щуплое

существо — Танюша, жена Магнуса. Свен узнает, что Таня умерла, успев родить на свет второго сына. Он разглядывает карточку: такой женщине подходит (наверно, некрасиво так говорить) смерть от родов. У нее славные глаза, совсем серенькие и влажные, хотя, кто знает, они могут быть и голубыми незабудками. На одной карточке Магнус и Таня рядом. Танечка едва достаёт мужу до плеча. Одной рукой Магнус стискивает кобуру нагана, а другой — обнимает жену за плечи. Таня сжимает громадную охапку полевых цветов. За спиной у них развевается на ветру какой-то лозунг времен гражданской войны — еще с твердыми знаками. Свену Вооре становится почти жалко товарища Тээ.

Затем Гнев Господень начинает показывать Свену свои эскизы. Они разложены по числам, и Свен прямо-таки пугается: кажется, этот человек работает сутками напролет, как настоящий аскет.

Разговор снова возвращается к монументу. Магнус Тээ полагает, что Свен Вооре вполне может спроектировать для Айна постамент, и было бы чудесно, если бы он при этом сумел повлиять на Саарму, как-то помочь ему, дать понять, что монумент — это... ну, то самое идеологическое оружие.

Наконец-то Свен Вооре начинает понимать, почему Магнус Тээ вообще взялся за конкурсный проект. Занятно, что Тоонельт этого не сообразил! Дело ведь совсем не в честолюбии и не в личной корысти. Просто Магнус Тээ чувствует, что он обязан встать на защиту нашего советского искусства! Он-то ведь знает, как должен выглядеть порядочный монумент... Пускай его эскизы будут отклонены, если их не захотят понять, но он по крайней мере выполнит свой долг и сделает то, что велела сделать его совесть. Да и арбитрам будет из чего выбирать...

«Бедный Магнус Тээ, Гнев Господень! — риторически размышляет Свен Вооре. — Ни дать ни взять старомодный неуклюжий форд, нет, не форд, а скорее уж угловатый первенец нашего отечественного автомобилестроения. Ты можешь даже ездить, только малость тарахтишь. А тебе приходится смотреть, как мимо проносятся «Чайки» и «Волги». Они комфортабельны. У них модная обивка и радио. Они не грохочут так победно. А ты знай отстаешь и видишь лишь столбы пыли, потому что скорость обязательно порождает

пыль. Ты чихаешь от этой пыли, застилающей твоим фарам все впереди... Ты чувствуешь, что надо что-то предпринять и спасти мир. Так ты трясешься по дороге и мешаешь движению. Вот до чего ты дошел, старый ветеран!

Да, стареть — дело сложное. Не все умеют стареть, как Тоонельт. Надо бы со временем и мне этому научиться», — решает Свен Вооре.

Уходя, он вынужден обещать, что зайдет опять как можно скорее. Магнус Тээ верит: наконец-то он нашел молодого художника, умеющего правильно видеть жизнь. В момент прощания вид Гнева Господня ничуть не соответствует этому имени. Скорее Магнус Тээ похож на Моисея, творца заповедных скрижалей. Того самого, который якобы сиял ликом своим...

V

Ежедневно часов в девять утра два молчаливых человека направляются к мастерской. Два молчаливых и хмурых человека.

Никак не могу понять, откуда оно взялось, это жеманное представление, будто в людях творчества есть что-то поэтическое. Занятие искусством выглядит красиво только в плохом кино. Я тоже видел картину, в которой Бетховен при идиллическом свете не в меру пухлой луны истоиво и проникновенно создает свою Лунную сонату. Оно бы недурно, если бы так и было!..

Нет, творчество — это долгие и мучительные поиски, а на долю счастливых находок выпадают лишь краткие мгновения. Выносить собственные муки — еще куда ни шло, но смотреть, как мучается другой, это нестерпимо.

Несмотря на то, что я уже справился с одной обидой, с тем, как Тоонельт распределил задания, мне все-таки стоило нервов работать с Айном в одном помещении. Я купил себе за 25 копеек мундштук с фильтром и начал выкуривать по две пачки «Шипки» в день. Я осатанело вдыхал никотиновый угар и умиленно вспоминал зеленые московские лужки, по которым скакал жеребенком. Там, конечно, тоже приходилось вкалывать, но это было совсем-совсем не то.

Утро в московской мастерской. Костя, этот ленивый

и одаренный сын Сибири, неизменно начинал свой трудовой день с часовой заправки. С философическим спокойствием он надувал потом пустой кулек и бабахал им об гипсовую голову какого-то мыслителя. Когда чернокосая Людмила, единственная девушка в нашей группе, нагибалась над ящиком с глиной, все мы впились взглядом в ее шелковистые подколенки и, как по команде, сглатывали... Даже уборщица тетя Фрося, изрыгавшая огонь и хлокотовшая вулканом из-за каждого кусочка глины, обнаруженного на полу, и та казалась в воспоминаниях заботливой, как родная мать... Прошлое освещено розовым светом садовых фонарей.

А здесь, в Эстонии, или, как ее называли романтики, на туманной земле девы Марии, мне приходится работать вместе с островитянином, мечущимся, будто несущка, потерявшая свое лукошко. Он был так несчастен, что от одного его вида и мне становилось нехорошо. Но делать было нечего: оба мы относились к числу последних социальных могикан частного сектора, к тем, кому некуда жаловаться, кому нельзя даже наказать на директора или прораба...

Поистине работа давалась Айну тяжело. Даже подготовка, которую большинство скульпторов совершает с чарующей элегантностью вышколенных ремесленников, доставляла Айну страдания. Инструмент не подчинялся руке, и смотреть на это было просто мучением.

Айн перебрал уже чуть ли не двадцать вариантов, но все они в конечном счете отправлялись в ящик с глиной. Из глины ты вышел, в глину и вернешься!.. Айн признался мне, что он сам еще не знает, чего хочет, но, видя, как он работает, я подумывал, что он никогда этого не узнает. Правда, все эти исхудалые дети, старики, женщины с младенцами на руках, мужчины со стиснутыми кулаками были не ахти как оригинальны, но я взялся бы держать пари, что почти из каждого варианта мог выйти толк, стоило лишь продолжить работу.

Разве в таком сюжете можно найти что-то свое? Из поколения в поколение человечество посвящает полонину монументов тому, чтобы увековечить свои дурные дела. А какой-то Айн Саарма решил все же и тут сказать новое слово. Да разве существуют еще девственные идеи? Пожалуй, вряд ли. Еще старик Соломон изрек: и нет ничего нового под солнцем.

Все это я пытался втолковать и Айну. Деловито посапывая, он соглашался: да, дескать, ты, видать, прав, — и с прежним упрямством гнул свое. Временами я даже подозревал, что он делает это специально мне назло, но, разумеется же, это было абсурдом. Мы с ним были вроде двух жуков, упрятанных в одну банку, а в таких случаях человеческая логика мало чем помогает. Может быть, со временем какой-нибудь Гей-Люсак психологии откроет зависимость логики индивидуального сознания от парциального душевного давления и температуры эмоций. Наше парциальное давление все поднималось и поднималось.

В Москве я привык болтать во время работы. Работа языком совершенно не мешает работать руками. Мы рассказывали анекдоты, смущали красотку Людмилу, мололи всякую чушь. Айн же не произносил ни словечка, и даже с помощью самой откровенной провокации из него удавалось выжать лишь: «М-да... пожалуй, так...» Через каждые сорок пять минут — насчет этого он был точнее хронометра — Айн отходил, пятясь, к самой двери, трижды дул на концы пальцев, непременно шмыгал носом и тут же снова принимался за работу. Вот единственные звуки, которые он издавал.

Но не даром же говорят умудренные старики: не было бы счастья, да несчастье помогло. Так оно и вышло. Как раз тогда, когда моя зудящая невротическая чесотка грозила разрастись в сплошную душевную коросту, лед неожиданно тронулся.

Думаю, что никто ничего не возразит, если я сравню свою фантазию с сукой. Начало работы — это пора течки: голодная, изнуренная, запаршивевшая фантазия бродит по сумеречным кварталам воспоминаний. И не будет ей покоя ни днем, ни ночью, пока не произойдет того, что должно произойти — оплодотворения.

Внезапно выпадает два безоблачных дня. Вдруг тебя совсем перестают заботить долги, обязательства, сроки. На улицах ты забываешь поздороваться с «живыми классиками» и даже с их женами, что еще хуже! То и дело ловишь себя на том, что по-идиотски улыбаешься... В такие дни представляешь собой забавное зрелище. И сознавая это, не только не спохватываешься, напротив, еще и гордишься! Но этот счастливый момент чертовски быстротечен: как только кончаешь делать эскизы, все проходит.

На другой день посмотришь с ясной головой на рожденное тобою и понимаешь: «Мышь, черт бы ее побрал!..»

Но, как истинная мать, все же не решаешься выбросить свое дитя на помойку. Начинаешь кормить его грудью, поить кровью сердца и глюконатом кальция. И щечки сосунка начинают розоветь.

Я знал, что не время добиваться от барельефов законченности, разумнее было выждать, какое решение найдет Айн, но делать было нечего — приходилось приступить. Иного выхода я не видел. В конце концов, мы ведь в общем и целом обо всем договорились: Айну предстояло слепить парочку обреченных, а мне — гнев и страдания народа. В какой-то степени я был независим.

Как всегда в таких случаях, неделя промелькнула незаметно. Но после того, как я совершил до банальности грустное открытие («Мышь, черт бы ее побрал!») и мне стало казаться, что мой народ на барельефе издевается надо мной же самим, я вновь обратил свой стыдливый взор на Айну. Я прямо-таки мечтал, чтобы он опять принялся швырять инструменты! Это бы меня утешило. Когда видишь, что и другой споткнулся на том же месте, то мигом утешаешься. Думаю, что по этой именно причине рыбы, попавшиеся в сети, вероятно, бывают до поры до времени весьма довольны ходом событий.

Айн и впрямь ни к чему еще не пришел, но тем не менее в нем угадывалась какая-то перемена: его движения обрели уверенность и — я не поверил своим ушам — он насвистывал!

Но убей меня бог, если я догадывался, с чего бы ему так лихо насвистывать. Это была какая-то мистика: Айн моделировал разные части тела — руки, ноги, плечи... Зачем? На кой черт он вернулся к упражнениям из программы первого курса? Айн даже притащил в мастерскую старые анатомические атласы... Если бы он уже остановился на каком-нибудь решении, тогда понятно. Но ведь решением и не пахло! И несмотря на это, он копался в хаосе конечностей с восторгом каннибала. Мне даже стало жутко.

Я спросил, в чем дело.

— Еще не знаю, но думаю, что скоро буду знать... — проронил он с видом новоявленного Дельфийского ора-

кула. Одно лишь было приятно, что, поглядев на мой не доделанный еще барельеф, он пробурчал: — Ого, ты скоро кончишь! Шустрый же ты парень...

Но даже и это обстоятельство не особенно его встревожило. Я на его месте непременно начал бы дергаться, но он лишь посвистывал.

Уверенность в себе всегда вызывает уважение. Я невольно вспомнил «Парня с теленком». Нет, надо в кенце концов разобраться в этом человеке. Надо разобраться!

VI

Это произошло как-то вечером, когда мы вышли с Айном немного проветриться. Барельефы начали понемногу обозначаться. Айном же опять овладели какие-то сомнения. В нем появилась злобность, он ходил с опущенным взглядом и молчал. Но мне почему-то верилось, что теперь-то я и найду к нему подход.

Темнота всех нас делает более естественными; во тьме мы привычно стаскиваем с себя прожитый день с его позами и знаем, что так же поступают и другие. Только в потемках некоторые женщины осмеливаются любить, а некоторые мужчины заводят откровенные разговоры. А мы как раз покидали ярко освещенный центр и входили в неосвещенный район Каламая, в те кварталы, где город кончается и готовится к встрече с морем.

Я уже много чего рассказал Айну — о своей юности, о годах в Москве и даже о кое-каких любовных приключениях. Мне очень хотелось, чтобы он тоже заговорил. Я даже несколько поступился своей обычной манерой речи. И не то, чтобы совсем намеренно: молчаливый спутник, старая окраина и мгlistый апрельский вечер — такая обстановка не располагает к островам.

Внимательно меня слушая, Айн машинально подшибал ногой мерзлые комья, как те мальчишки, которые привыкли играть в «коробочку».

— А мне о себе и рассказывать-то нечего. Вырос я на Сааремаа, у меня уже и отец, и дед резали понемножку из дерева... Как только пошел в школу, мне подарили большой кривой нож с костяной ручкой... Вот я и начал резать от нечего делать. Да и выгодное было дело по тем временам: один немецкий офицер

увидел у меня резного черта и дал за него кило масла. Дома, правда, оказалось, что в масло напихали мятой картошки, но офицер-то вряд ли об этом знал. Послал мою работу жене в Германию — убедись, дескать, что Эстония — страна экзотическая! Я ковырял себе дерево дальше, и так оно помаленьку и шло...

Ему самому было жалко, что он ничего не может рассказать.

— Ну, а вот эта твоя манера, такая архаическая и скупая, вроде как неуклюжая, она-то откуда? — И мне тут же стало стыдно, что вопрос прозвучал так порепортерски. Я-то ведь собирался разговаривать совсем иначе, естественней.

— Честное слово, не знаю... Я и по-другому пробовал, ну, по-современному, что ли, только ничего не выходило... А что? Они, значит, очень неуклюжие?

— Неуклюжие — это правда, но классные. Великолепные! Очень уж тебе подходят.

Разговор опять оборвался. Я почувствовал, что таким путем я ни за что не сблизюсь с Айном. И тут мне пришла в голову идея испытать свою «теорию естественного человека».

Из десяти людей, вполне взрослых, но тем не менее создающих теории относительно сущности человека, девять с половиной идиоты. (Следовательно, один — полуидиот.) Я полностью сознаю эту печальную истину, но поделать ничего не могу и тоже принадлежу к смехотворному цеху изобретателей вечного двигателя. И все-таки один из моих бесчисленных и противоречивых опусов, будучи примененным на практике, дает иногда некое подобие эффекта. А именно «теория естественного человека».

Говоря точнее, мне представляется, что многие из нас — не сказал бы, что большинство, но таких во всяком случае куда больше, чем можно было бы ожидать, — хотят почему-то казаться совсем не теми, кем являются на самом деле. Попытаюсь привести примеры.

Я знаю одного мягкого, несколько женственного человека. У него высокий тенор, а он старается говорить протяжным баритоном. Любой ценой он старается ни под каким видом не восторгаться. Он не упускает случая облачаться в засаленный пуловер и лыжные ботинки. В молодости он любил балет, а сейчас не желает слышать ни о чем, кроме мотоспорта.

Скрывая таким путем иногда истинные, но чаще абсолютно выдуманные недостатки, мы не можем не чувствовать себя фарисеями. И когда мы встречаем людей, которые нисколько не скрывают своих изъянов и пороков, а, напротив, сами же и сетуют на них, нам трудно удержаться от восхищения. (Как бы, например, вы отнеслись к тому оригиналу, что со вздохом жалуется: «Вообще-то обижаться мне на жизнь не приходится, только то плохо, что женщинам я совсем не нравлюсь... Я, впрочем, и это вполне бы пережил, куда хуже, что ума мне так мало отпущено...»)

Таким откровенным людям — в порядке самоутешения мы всегда называем их простудушными — почти невозможно причинить зло. Об этом полезно знать.

Однажды мне с моим другом Романом (худой рыжий график), несмотря на отчаянное безденежье, захотелось отметить окончание экзаменационной сессии, и мы отправились в «Прагу». Я отозвал в сторону того самого официанта, который на первый взгляд мог показаться самым неприступным и язвительным. И доверительно сообщил ему, что у меня ровным счетом столько-то денег, но мне не хотелось бы истратить все, поскольку в ГУМ поступили очень хорошие китайские ручки. Он посмотрел на меня, как на придурка... Но я не дал себя смутить и продолжал втолковывать ему, что у этих ручек замечательное перо — такому перу сноса нет, и посоветовал ему непременно купить эту ручку. Если, конечно, средства позволяют... Все это я преподнес ему ничуть не жалобно, а наоборот — радостно, будто мы были старыми добрыми друзьями. Результаты оказались поразительными: он проникся ко мне отчаянной симпатией и мы вычислили вместе (!), что я вполне могу истратить около восьми с половиной рублей. «Нет, пожалуй, восемь, — поправил я его, — надо и швейцару оставить — у него зарплата маленькая...»

Нам накрыли такой стол, какого и за большие деньги не увидишь. С нас брали за все, как за дежурные блюда! Мы отведали даже крохотных морских рачков — ни до, ни после не ел ничего подобного.

Я и потом довольно часто изображал естественного человека и нередко с успехом. Впрочем, слово «изображал» тут не совсем точное, потому что стоит вдохнуть душу в этого гомункулуса и сделать ему малень-

кое переливание крови, как он становится живым и даже достоверным. Чем-то большим, нежели голая роль.

— Знаешь, Айн, — начал я, — в твоём присутствии мне всегда как-то не по себе... Каждый раз сомневаюсь, за свое ли я дело взялся... — Айн взглянул на меня с удивлением. — У меня такое чувство, что настоящий скульптор должен быть именно таким, как ты. Ты врос в землю по колени, твои корни словно бы стали жилами земной кровеносной системы. Когда я смотрю на тебя, мне кажется, что природа говорит лишь голосами таких, как ты. А сам я какое-то поветрие — нечто весьма культурное, но легковесное... И хуже всего то, что я все время выпячиваю в себе это свойство. Все эти пестрые свитера и галстуки бабочкой... Я-то знаю, что они смешны, но надеюсь, что и другие знают, что я знаю. А главное, если я не буду их носить, так и вовсе стану ничем. Может, мне следовало выбрать совсем другую профессию... В школе я интересовался математикой, изучал даже дифференциальную геометрию. Почему же я взялся за искусство? На это, знаешь ли, довольно трудно ответить... — Я заметил, что мы начали идти в ногу — это был хороший признак. Вы когда-нибудь задумывались, почему в армии часами учат именно этому умению? — У меня не было достаточной веры в свои научные способности, — продолжал я. — Думал, что истинный ученый должен быть суровым и бесстрастным человеком. Я ведь еще не знал, что ученые бывают всякими, что изобретатель водородной бомбы Теллер писал сонеты, что Оппенгеймер был отчаянным юбочником, а Гейзенберг — неисправимым авантюристом. Скульптором я стал почти случайно, совсем не так, как ты. Тебя и не вообразишь без глины и стека.

— Ты это вправду? — спросил Айн. — А ведь я должен был стать моряком! Искусство меня очень интересовало, но и я думал, что художники бывают совсем не такие... Что они все с бабочками и в свитерах — ну в точности, как ты. — Он улыбнулся. — Я и до сих пор уверен, что именно ты прирожденный художник, а вовсе не я. После седьмого класса я хотел пойти в мореходку, правда, хотел, но провалился по математике. Стыдно было возвращаться на Сааремаа, вот я и подумал, не устроиться ли еще куда-нибудь... Кто-то видел

мою резьбу и посоветовал идти в художественное. По-ехал я в Тарту и поступил в училище...

Мы подошли к Канатной. Эта улица, как и вообще большая часть района Каламая, всегда казалась мне какой-то мрачной. Еще в раннем детстве, еще до того, как я узнал, что на ней жили заплечные мастера.

Я, конечно, уже давно не верю в привидения, но считаю, что у многих мест есть своя душа. Я вычитал где-то, что на старинных морских картах обозначались те воды, в которых капитанам не рекомендовалось плавать. Причем не из-за рифов. А только потому, что в этих водах даже самые смирные команды норовили поднять бунт. Рациональный девятнадцатый век безжалостно высмеял эти бредни, и карты были переделаны. Теперь опять пошли разговоры о нейронном силовом поле и телепатической связи: все это может оказаться ерундой, но, кто его знает, вдруг в очередном представлении о мире начнут принимать в расчет и привидения — в качестве неких отходов энергии. И даже научатся извлекать из них пользу... Как подумаешь, так даже пожалеешь этих капризных гостей.

Начал падать мокрый снег. Крупные бесформенные хлопья липли к лицу и одежде. В старых деревянных домах зажигались огни. Окна устало светились желтым.

Где-то открылась форточка, и до нас долетел жалкий плач младенца, некрасивый и безотрадный. Только маленькие дети умеют плакать честно. У них многое получается неподдельным. Детский рев, беззвучно падающий снег, усталые окна — все это складывалось в какой-то сон.

— Да, выходит, что из меня получился скульптор благодаря черту, — задумчиво сказал Айн.

— Черту? — не поверил я своим ушам.

— Да, черту.

Я почувствовал, что не надо задавать вопросов. Если он что-то расскажет, так сам. Но я верил, что он должен заговорить. Мой гомункулус, этот искусственно-естественный человек, хоть кого доведет до откровенности и толкнет на исповедь.

— Все началось с черта. Не помню, сколько мне тогда было лет — пять-шесть, наверно... Проснулся я однажды еще до рассвета. Братья и сестры спали, отец спал. Мать сидела возле открытой двери овина

и, поклевывая носом, вязала. Ждали, пока наша Крыйт отелится. Корова была старая и маялась уже вторые сутки. В жилой половине хорошо было слышно, как тяжело она сипит и дышит. Я поглядел на потолок, освещенный тусклым светом керосиновой лампы, на странные тени и опять было задремал, но тут вдруг услышал далекие размеренные шаги. Грузные однообразные шаги — каждый после изрядной паузы... Должно быть, шаги были ужас какие огромные... И до меня вдруг дошло — черт! Это черт ходит по краю света!

Я спрятал голову под подушку, но топот стал еще громче. Я изо всех сил зажмурился и ясно увидел черта. Он был в цилиндре и в рыбацких сапогах с раструбами и как-то потешно крался по самому краю земли. Земной шар был как тарелка (я уже слышал от кого-то, что земля круглая), а посреди тарелки лежала наша рыбацья деревушка... А он, этот самый черт, шел в своих сапожищах по краю, и мне вдруг стало жутко, что с каждым кругом он подходит к нам все ближе!

Что же это было на самом деле? Всего-навсего кровь, моя собственная кровь, отдававшаяся в голове пульсация. Я решил встать и рассказать обо всем матери, но только я поднялся, как Крыйт начала телиться. Мать кинулась к ней. Корова доковыляла до самой двери и просунула свою растерянную голову на нашу половину — к людям. Язык у нее вывалился, а глаза были странные... Да, глаза Крыйт лилово блестели, а по краю земли шел черт... Крыйт не дождалась помощи от людей и родила мертвого, почти голого теленка. Потом она заяловела и ее прирезали... Со временем все это смешалось в какую-то бессмыслицу — и этот голый теленок воскового цвета, и лиловые глаза Крыйт, и черт. Я чувствовал себя вроде виноватым. Может, теленок бы выжил, если бы я не увидел черта. Когда я рассказал обо всем матери, она сказала, что это просто дурной и тяжелый сон. Но ведь это был не сон! Как мать могла подумать, что это сон? И я начал думать, что только я один слышу черта, что я вроде Крыйт, которой даже мать не сумела помочь.

Каждый вечер я молился доброму боженьке, чтобы он сбил черта с пути и чтобы тот до нас не добрался. И шаги впрямь не становились громче! Потом я все пробовал вырезать из дерева это детское наваждение,

но каждый раз выходило скорей что-то потешное, чем жуткое. А ведь черт был такой страшный... И я резал, резал... Одну такую резьбу и купил у меня немецкий офицер. И в художественное меня взяли все из-за тех же фигурок. Кончил я в Тарту училище — мне там выдали диплом с отличием — и попал в Таллин, к Тоонельту под начало. И все это, выходит, благодаря черту...

Мы уже дошли до моря. Ветер затих, снег тоже немного унялся. Тускло и маслянисто поблескивала вода. Возле берега чернели грязные льдины. Замигал какой-то маяк, потом другой... Два длинных языка красного света, лизнув воду, снова исчезали в пасти маяков. Замолчав, мы прислушались на мгновение к дыханию моря.

— А теперь ты расскажи...

Речь его опять стала отрывистой, он снова ушел в себя и стал еще меньше. Пальто на нем сидело плохо, шапка была мала. Я ощутил: сказать мне нечего, да и раньше было нечего. Меня мучила зависть... Солнце на полужакрытых или сжатых веках, кое-какие запахи, мысли о цвете да еще, пожалуй, старый чердак и запыленные игрушки — вот и все, что я мог назвать своим. Какая же это абстракция и бессилие по сравнению с воспоминаниями Айна! Ни пота, ни крови — одна лимфа... Теория приспособленчества, теория «естественного человека»...

— В другой раз. Я сейчас слишком под впечатлением твоих рассказов, — уклонился я.

Мы пошли назад. Море и маяки остались за спиной.

Господи, до чего же он откровенен! Неужели он всем так доверяет? Нет, надо преодолеть зависть! Никогда я не причиню зла этому человеку! Я его защищу!

Я взглянул на Айна: маленький человечек с большой шаровидной головой, в которой столько мыслей и таких причудливых!

Мне хотелось, чтобы Айн вычитал в моем взгляде, о чем я сейчас мечтал от всей души: станем друзьями!

К началу мая я пришел к чему-то окончательному. Айн же, на мой взгляд, не сдвинулся ни на вершок. Днями напролет он, словно озабоченный господь бог из «Сотворения мира» Жана Эффеля, возился с конечностями своего еще не сотворенного Адама. В последнее время его, по-видимому, больше всего занимали руки. Мне стало жаль его, и я уже замыслил помочь ему как-нибудь. Назначенные сроки приближались, а мы считали необходимым показать свои эскизы еще до того, как в Союзе художников начнется мертвый летний сезон. Не то летом нам придется туго. Если же с нами заключат договор, то можно считать, что двадцать пять процентов гонорара у нас в кармане. По вечерам я и сам набрасывал, чтобы убить время, скульптурную группу — думал, вдруг Айну будет хоть какая от этого польза. Но сказать по чести, так я, наверно, метил на большее.

Как-то после обеда, когда я был в самом запале, раздался звонок. Это был Айн.

— Я сегодня нездоров, — сказал он, — валялся с утра в постели, и тут оно пришло...

— Что? Кто?

— Сейчас увидишь!

Мы прошли вглубь мастерской. Во мне зашевелилось дурное предчувствие. Под мышкой у Айна был большой лист, свернутый в трубку.

— Ну-ка посмотри! Что ты об этом скажешь? А?

Столь торжествующий тон до того не шел Айну, что я первым делом посмотрел на него самого. Он весь сиял.словно ребенок на елке, который и стишок прочел, не сбившись, и наконец-то получил в подарок коньки!

Я взял у Айна рулон и развернул его. Сперва я ничего не мог разобрать: плечи, закинутая голова и две руки, две огромные руки, непропорционально вытянутые на весь лист... Что бы это значило?

— Руки?

— Руки.

Молчание.

— Вообрази себе небольшой холм на плоской равнине... Невысокий бугор — простой, без барельефов,

без всяких дурацких постаментов. Гранитная плита, а сквозь нее... они! Ну?

Айн все время переступал с ноги на ногу, будто уже не мог устоять на месте.

И тут вдруг я все это увидел. Вздущиеся плечи, ищущие опоры на корявых краях могилы. Голова, закинута до предела назад, лишь бы удержаться... Руки, неестественно длинные, призрачно длинные и хватающие... пустоту!

Эти руки были криком.

Ах, вот почему Айн изводился последние недели над руками!

Холодные мурашки пробежали по моему позвоночнику. Кричащие руки?... Нет, уж скорее угрожающие! Мне-то они во всяком случае угрожали.

— А барельефы?

— Какие барельефы?... Ах, да... Барельефы не нужны. Без них будет куда выразительней. Так я думаю.

Я ничего не ответил. Айн слегка нахмурился.

— Вправду же без барельефов будет лучше... Плоское поле, холм и руки... И все!

Я еще молчал.

— Ну да... Выходит, ты работал впустую... Ты, наверно, об этом? И еще о деньгах?... — Я видел, что эта мысль его смутила. Но ненадолго. — Деньги можно поделить пополам! Вопрос не в деньгах. Поделим пополам, и все!

— Мог бы хоть сказать!

Проклятые эти руки уже хватали меня за горло.

— Мог бы, — сказал Айн, — но, честное слово, я и сам не знал!

— Целый месяц лепил руки, а сам даже не знал!

— То-то и оно! Это было просто ощущение, что в руках что-то есть... Что-то такое, чего нет ни в чем... Но до сегодняшнего дня я и не догадывался, что только руки могут решить все. Ей-богу, это пришло так внезапно...

— Хотелось бы верить, — протянул я с иронией, так мне во всяком случае казалось, но Айну было некогда вникать в мой тон.

— Я рад, что ты веришь, — сказал он. — Черт возьми, ты только представь себе такое! Никакой позы, никакой благопристойной завуалированности: руки, и все! Пой-

дем выпьем, Свен! В клуб! Я чувствую, что без этого не обойтись. Два месяца мучений, но наконец-то я их нашел! Пропади все пропадом, напьюсь сегодня по всей форме!

Таким я Айна еще не видел: на щеках складки от смеха, на голове вихры, он был вроде счастливого сказочного беса, тысячелетие протомившегося замурованным в берцовой кости, но наконец-то выскочившего на волю.

— Я, знаешь ли... не смогу...

— Пойдем! Что тебе делать?

— В самом деле не смогу! Ко мне... — и тут мне захотелось выложить ему в лицо все, но я почему-то не решился, — ко мне придет сегодня... гость. Может, я появлюсь попозже...

— Пошли своего гостя подальше и приходи! Ладно?

Он крутил пуговицу моего пиджака и приставал:

— Приходи во что бы ни стало! Я оставлю для тебя место. Закажу поесть. К десяти-то ведь можно успеть? И я как-нибудь устрою, чтобы нас не выгоняли хотя бы до двух.

— Лучше возьми с собой Еву! — не переставал я упорствовать.

— Еву! Ха-ха! Зачем? Зачем мне сегодня Ева? Женщин на свете хватает — одна краше другой! Ева мне понадобится завтра, чтобы задать мне хорошую баню, как и положено законной жене... Так смотри, не задерживайся!

Дверь захлопнулась, и я остался один.

Я заварил себе зеленого чаю покрепче.

Наливая его в стакан, я с удивлением увидел свои руки: это были чужие дрожащие руки с длинными бледными пальцами и педантично вычищенными ногтями. Они вылепили из глины все, что у меня есть! Все, что у меня есть... А теперь какие-то другие руки свели их усилия на нет и они так противно дрожат! «Ведь без барельефов, без всех этих дурацких постаментов будет лучше, не правда ли?»

Чай был горек и слегка опьянял.

До сих пор я не натыкался на препятствия и неприужденно преодолевал все трудности. И вот пришел мой черный день — мою работу откинули в сторону, как откидывают прядь, упавшую на глаза. Этаким бессознательным жестом! Сперва я был задет тем, что мне по-

ручен только гарнир, но не само блюдо, а теперь хотят убрать с тарелки и листья салата. Этаким бессознательным жестом!

Я поднялся и зажег верхний свет. Почему-то захотелось поглядеться в зеркало. На носу я увидел сажу!.. Даже не представляю, откуда могла взяться сажа. Но тут не было ничего удивительного: трагедии всегда происходят там, где на земле валяется апельсиновая корка, а если твой друг уводит твою жену в ресторан и ты стоишь на перекрестке, как побитая собака, то ветер крепчает ровно настолько, чтобы шляпа твоя слетела и покатилась по лужам. Закон природы!

Дрожащей рукой я оттер свой нос и начал разглядывать волосы. Они у меня еще пышные и волнистые, но на темени уже редеют. Скрывать это пока легко, однако... Мне вдруг стало неуютно. Что-то говорило мне, что если я сдам сейчас позиции хоть на воробыный шаг, то уже не перестану отступать. Я обязан удержаться в фокусе! Если я хоть чуточку выйду из фокуса, то навеки сольюсь с серой неразборчивой массой.

Я снова налил себе чаю.

... До чего же был уверен в себе Айн! Это самоуверенность победителя. Что и в его работе могут быть просчеты — такое ему и в голову не придет. Нашел, и баста! «Деньги?.. Деньги можно поделить пополам!» Сейчас этот шароголовый сидит в клубе и опрокидывает рюмку за рюмкой. А сам даже не умеет держать вилку в левой руке. Такому и проигрывать-то стыдно! «Вопрос не в деньгах...» Еще бы — конечно, нет!

Я попытался представить себе зрительно его набросок. Две руки, две кричащие руки, да, это способно потрясти. И, наверно, в самом деле будет куда впечатляюще без всяких плит с надписями, без барельефов и «дурацких постаментов». Но ведь они могут оказаться примитивными, эти руки. Выражать идею пацифизма и абстрактного гуманизма... Ой, откуда вдруг подвернулись эти низкопробные эпитеты? Ведь это лексика Магнуса Тэз! Внезапно перед моими глазами возник памятник жертвам фашизма на кладбище Пер-Лашез... Нет ли тут повода для разговора о плагиате? Но пришлось отказаться и от этой мысли: «Медному всаднику» Фальконе в Ленинграде ничуть не вредит бесчисленное множество других «гордых всадников», схожих, как близнецы. Уж такое это искусство — скульптура.

К тому же руки на Пер-Лашез сплетены в одну цепь, работа же Айна по своему духу, настроению, аромату — как там это называется? — совершенно своеобразна.

Я понял, что должен еще раз немедленно посмотреть эскиз. Кем-то сказано, что боль ревности отличается от всякой другой боли тем, что постоянно ищет повод к усилению. Оказалось, что существуют и другие боли с такими же свойствами.

Я решил потревожить Еву. Наверняка набросок рук лежит у Айна на столе. Я свернул трубкой свой эскиз скульптурной группы, созданный в целях помощи Айну (теперь-то я отчетливо сознавал, что это было не так), и взбежал вверх не за двадцать четыре шага, а за двенадцать.

— Айн сказал, что пойдет немного проветриться...

Мой приход застал Еву врасплох — она была в халате. Узнав, что меня интересует, она порылась в бумагах Айна и нашла лист, который я узнал бы с любого расстояния.

— То?

— То самое! Здорово, а? Находчивый парень достался вам в мужья, находчивый и смекалистый, верно?

Ева покосилась на меня уголками глаз. И поскольку не привыкла решать сама, предпочла согласиться. Разумеется, вскользь, как и подобает порядочной жене.

— Когда же ему взбрело это в голову? Совсем, наверно, недавно — уж больно он чудной был сегодня.

— Талантливый парень, очень талантливый, — уклонился я от прямого ответа.

— Ох, зайдите же! Кто нас заставляет стоять в педней?

— Пожалуй, поздно... Ну да ладно, на минутку зайду. Только вот... — и я изобразил на лице лучшую из своих улыбок — заговорщицкую, — вдруг Айн вернется и решит, что дело нечисто.

— Ох ты! Придется вас прятать в шкаф!

— Это было бы для меня великой честью — посидеть у вас в шкафу. Я уже представляю себе те восхитительные ароматы...

— Наконец-то вижу галантного скульптора, — прошептала Ева, — ведь я вам сразу это сказала!

Говоря по совести, у меня не было никакой охоты

проводить время с этой Евой, дочерью Евы, но, с другой стороны, я вдруг почувствовал, что наш словесный флиртик возвращает мне утраченное равновесие. Лишь бы не быть одному!

— Что же, тогда отметим ваши подвиги, коим предстоит войти в историю искусства, — у нас в бутылке осталась капелька!

Это было сказано с дружеской иронией, с той миниатюрной иронией, которую и иронией-то не назовешь, но почему-то она меня задела. Пускай работа была не моя и я с радостью проехался бы на ее счет, найдись хоть малейший повод, но чтобы на ее счет проезжалась какая-то Ева, это меня не устраивало.

— Разве что рюмочку... Не больше.

— Разумеется, рюмочку! Вы слышали анекдот про ревизора, рюмку и двух директоров? — И она принялась мне рассказывать анекдот с бородой.

— Жалкие были люди, — прервал я ее. — Как-то у нас в Москве директора одной декорационной мастерской вызвали за пьянство в партком. И спросили, может ли полноценно работать человек, выпивший сто граммов. «Может», — говорит директор. «А после двухсот граммов?» — спрашивают. «А после двухсот, говорит, самая работа». И тут его с торжеством спрашивают: «А если человек целые пол-литра скушает, тогда как? По нашим данным, вам случалось в рабочее время и столько принимать!» — «Ну уж тогда я не работник, — признается директор и, немного подумав, добавляет: — Но руководить могу, и еще как!»

Я посмотрел на свои руки — они с достойным видом лежали на столе и были вполне спокойны.

— А знаете, Ева, есть у меня одно большое опасение! — Я выдержал паузу и обратился к ней серьезный взгляд. — Случилось то, чего я боялся... Смотрите сами! — Я протянул ей набросок Айны. — Руки! Захватывающее, крайне оригинальное решение. Но вы ведь представляете себе, что скажет по этому поводу жюри: абстрактный гуманизм, примитивизм и все такое. Я уже слышу его высочество Магнуса Тээ: «Ребята решили показать фигу нашему боевому искусству! Именно так — фигу! Вот поглядите, разве вам не кажется, что правый кулак...» Ну конечно же, так он будет разговаривать лишь за чашкой кофе, для трибуны он найдет другие слова, но ведь содержание будет тем же!

— Фигу? — пробормотала Ева. — Вы в самом деле так думаете? Должно быть, надо бы... надо бы посоветоваться с Тоонельтом...

Она явно растерялась.

— С Тоонельтом? Ни под каким видом!

— Но почему же?

— Почему?! Да само собой потому, что Тоонельт — голову даю на отсечение — наверняка придет в восторг от этой идеи! Тоонельт будет играть ва-банк. Начнет пробивать этот проект. И это нас погубит.

— Вы в этом уверены?

— В чем «в этом»? В том, что Тоонельт начнет пробивать? Нет. В этом я не до конца уверен. Даже и Тоонельт, вполне может стать, поймет, что такое решение пробить невозможно...

— Одним словом, вы находите решение неподходящим?

— Одним словом, да. И это чертовски жаль. Работа для выставки из этого бы еще вышла...

— Айну вы говорили?

— Еще нет, — сказал я, опуская глаза, — просто не смог: он был совсем как счастливый бесенок, которого тысячу лет продержали замурованным в берцовой кости и наконец выпустили на волю. Но завтра я все ему объясню. И в качестве исходного варианта предложу Айну свое решение. Рука у него легкая — уж он-то живо его закончит. Но теперь нам придется работать поживее, не то Тээ нас обскачет и мы останемся без денег...

— Значит, у вас уже заготовлен какой-то вариант?

— Конечно, заготовлен. По той простой причине, что без него я не мог придумывать барельеф. Только непроработанный, ну да уж Айн его завершит, если согласится, конечно...

Я застенчиво теребил свой рулон — мне хотелось, чтобы Ева сама попросила показать ей эскиз.

— Покажите, пожалуйста, если можно.

— Почему же нельзя? Сколько угодно! Только он у меня неряшливый и совсем незаконченный.

Ева взяла мой набросок и разложила его на столе рядом с наброском Айна. Едва ли ее порадовал такой контраст. Это были небо и земля. «Кричащие руки» Айна были набросаны небрежно, в один прием, на мятой и покрытой пятнами рисовальной бумаге для школьни-

ков. А мой коленопреклоненный борец коленопреклонялся на настоящем мануфактурноволокнистом ватмане... Поскольку я делал свою работу в какой-то степени, чтобы убить время, вся штриховка и буквы тоже были отделаны как напоказ. У меня есть слабость, чтобы все было чистенько и филигранно, и могу тут не без стыда признаться, что иногда по вечерам я, если нет занятия получше, отрабатываю классический шрифт. Тому были сейчас свидетельством щегольские ломбардские версали и минускулы, озаглавившие эскиз. А труд Айна был украшен одной-единственной и к тому же чисто мальчишеской надписью, одним-единственным словом «ага!», ковылявшим на тощих гусиных лапах. Карандаш, несколько ошалев от пыла вдохновения, наверняка многое поведал этому листу бумаги не столько по воле Айна, сколько по собственному почину. Рядом с моими аристократическими ломбардцами его росчерки выглядели до слез беспомощно.

Что об этом всем думала Ева? Наверняка ей стало не по себе, поскольку, пробормотав «очень интересно!» или нечто подобное, она тут же ускользнула на кухню уже не помню под каким предлогом. Я сравнил эскизы, но тоже не нашел, чему радоваться: наверно, в каждом третьем городе найдется точно такой же борец на карачках, не хуже.

Внезапно зазвонил телефон.

— Это, должно быть, Айн! — крикнул я Еве в кухню! — И не дожидаясь разрешения, схватил трубку. Какая-то сила во мне противилась этому, но более властная сила подавила ее. И все же мое «алло» прозвучало полупшепотом.

— Это Ева Саарма? — спросил скрипучий голос. Говорил мужчина, но не Айн. Следовало сказать, что сейчас я ее позову, но голос тут же заговорил снова и любопытство заставило меня смолчать.

— С вами говорят из клуба искусств, это швейцар... вы просили позвонить, если... ну, словом, ваш муж здесь. Он пока молодцом, только слишком, пожалуй, веселый. А выпивки на столе хватает... Говорит, что ждет кого-то, но что-то никого нет. Думаю, не прислать ли за ним кого... Он уже чуть было не повздорил тут с одним молодым поэтом в пестром свитере. Я, конечно, очень извиняюсь.

— Большое вам, пребольшое спасибо, сейчас при-

дем, — сказал я по-прежнему полупшепотом. Меня, безусловно, приняли за Еву.

Наш разговор кончился. Еще мгновение я слышал далекий гул голосов, он мерцал в моих ушах крохотными электроиглами. И я вдруг воочию представил себе клуб.

Там сидит детский писатель Мальм. На его зеленом лице смешно и печально поблескивают стекла очков. «Слушай, как думаешь, старик, не сходить ли мне за своей скрипкой?..» Молодая круглолицая женщина за соседним столом с восхищением смотрит на него, как берберийская девочка на верблюда. От стола к столу бродит молодой архитектор в штормовке с засученными рукавами. Его смазливое детское лицо пышет показной энергией. Кто-то поднимается на эстраду, многозначительно замирает и пытается начать речь. «Почтенные...» — говорит он.

А где-то в углу сидит Айн — лицо раскраснелось, волосы торчат. В ожидании меня он пьет и понемногу приходит в драчливое настроение. Ведь он имеет право веселиться: серые, тяжелые, бессловесные дни слепых поисков остались за спиной. Идея найдена. А моя работа пошла впусую...

Пусть этот Айн напьется, налакается и устроит скандал! А еще лучше, если он и сегодня попадет в милицию, подумал я с мучительной злобой.

— Айн, что ли? — спросила Ева, принесшая, как и в тот раз, лосося.

— Нет. От вас требуют, чтобы вы немедленно выслали грузовик на товарную станцию в Копли. Прибыло три тысячи банок мозгового паштета!

— Чего, чего?

— Моз-го-во-го паш-те-та! Граждане покупатели, вы будете довольны, если приобретете наши высококачественные мозги!

— Ах, вот что! — поняла наконец Ева. — Неправильно соединили.

— Я сказал им, что с машины украли три ската, а водитель напился в стельку на дне рождения у тещи.

— Господи, но если вдруг теперь...

— Нам-то какое дело? Хватит с нас своих мозгов. Выпьем по рюмочке за их здоровье! За отличные мозги под майонезом и за консервированных интеллигентов из баранины! Прозит!

— Прозит! — улыбнулась Ева. — Вот уж не думала, что вы такой шутник.

VIII

«Такой шутник», — сказала Ева. Такой болван, сказал я самому себе. Как я не сообразил, что через полчаса могут позвонить опять! И непременно позвонят, это уж вернее верного. Вряд ли Айн не вылакает весь графин, еще и добавки закажет. И швейцар скоро поднимет панику: что же вы за ним не приходите? Как я выкручусь перед Евой? Постыдное положение.

Я хотел встать и смыться. Но этот вариант никуда не годился. Не пройдет и часа, как выяснится, что Свен Вооре, этот московский халтурщик, является по совместительству и аферистом. И Ева преисполнится гневом, святым и вполне праведным. Какой же я безголовый!

— Ева! Вы еще не заходили ко мне. Заскочим хотя бы на минутку! Дадите холостяку мудрый совет, как ему обставиться, и ваши услуги будут оплачены натурой — коробкой настоящих крабов.

Ева была в нерешительности.

— Ради бога, зайдите! — уговаривал я ее. — Покажу вам другие наши наброски, выпьем зеленого чаю, послушаем Ряэкса, Хиндемита... Я записал на магнитофон даже старика Палестрину... Или вы боитесь? Ох, мы вполне спокойно можем отдаться музам: время-то еще не позднее, а ваш муж, кажется, сказал, что хочет зайти к Тоонельту. — Я решил впасть в болтливый тон, иногда это помогает. — Короче говоря, друг дома жаждет деятельности! Или вы думаете, что это безнравственно и некрасиво? Так оно и есть, ей-богу... Я воспитан в строжайше нравственном прибалтийско-немецком духе. И мое воспитание говорит мне, что столь поздний визит явно сомнителен.

Я понял, что почти уговорил ее. Да и как же иначе: ведь она ничего не сказала о наших эскизах. Может, она опасается, что я представлю свой отдельный проект

и стану Айну конкурентом? Я решил форсировать события.

— Господи, помилуй! Я, кажется, не выключил газ! Бежим, умоляю! — Я вскочил, сгреб со стола наброски и кинулся к дверям.

Лишь бы она пришла поскорее, как можно скорее, думал я, нервно бегая из конца в конец комнаты. Но мне недолго пришлось терзаться. Она появилась почти следом. Сказала, что пришла на секундочку, даже не стала переодеваться. Я налил ей чаю и достал из шкафа недопитую наполовину бутылку коньяку. Теперь надо продержаться здесь Еву как можно дольше. Я разлил по рюмкам золотое зелье и включил проигрыватель.

У меня весьма изрядная коллекция пластинок и записей. Мой отец любил классику, а я по мере возможности подкупал музыку нашего века. Я снова почувствовал себя на коне: Айн и его «кричащие» уже ничуть меня не волновали. Не бойтесь, я приведу это дельце в порядок! Мы опрокинули по рюмке и начали слушать. Гобой напористо гоготал, а кларнет и фагот подражали ему как могли. Это был квинтет для деревянных Хиндемита, в котором мне особенно нравится саркастичное сухое аллегро.

Мы довольно долго молчали.

Потом Ева взяла со стола наброски и с идеально отсутствующим видом сказала:

— Честно говоря, решение Айна мне нравится больше, но и ваше — прекрасное. И ваше, конечно, скорее утвердят. Вы могли бы выставить его самостоятельно... Право же, мы с Айном не обидимся. Дружба дружбой, а дело делом. Разве не так?

Она посмотрела на меня искренним взглядом, но я чувствовал, что он дался ей нелегко.

— Ну что вы говорите, Ева? У меня и мысли такой не было, — сказал я чересчур, пожалуй, поспешно, чересчур оскорбленно и чересчур твердо. Было бы лучше не избавлять ее полностью от сомнений...

— Но почему же нет? Вы работали, вы старались, а ведь искусство — это всегда соревнование. Вы имеете полное право представить свой эскиз. — И она посмотрела на меня очень пристально.

— Да, искусство — это соревнование, но не борьба. Я не из тех, кто из-за копейки пойдет на все. А кроме того, Айн нашел действительно сильное решение и я

не думаю, что чаша весов непременно склонится в мою пользу, если мы представим два конкурсных варианта. Разумеется, я так не сделаю — все это просто предположения. Времена культа прошли, и талантливые идеи всегда оказываются реализованными.

Я теперь противоречил самому себе. У Евы я доказывал совсем другое. Она вконец растерялась.

— У искусства есть своя этика, и я всегда ее соблюдаю, — добавил я, с необычайным старанием чистя спичкой свои и без того чистые ногти.

Наступила такая долгая пауза, что мне даже стало казаться, не переборщил ли я. Надо было вновь чуточку переместить центр тяжести.

— Ева! То, о чем вы сейчас думаете, не произойдет, можете быть уверены! Если только Айн примет мой вариант и, со своей стороны, возьмется его дорабатывать. Путь от бумаги до глины долог и труден, как и от глины до металла, — сказал я с очень серьезным видом. — Но признаюсь вам честно: я озабочен. Если Айн будет настаивать на своем варианте, на том, чтобы он остался непременно таким, как сейчас, то выйдет, что я работал впустую. Этот эскиз на столе — вещь, конечно, левая, но мне ведь придется делать новые барельефы: то, что я сделал, никак не вяжется с решением Айны. Барельефы-то подогнаны к его первоначальному замыслу, а он от него отказался. — Мне удалось вызвать у нее немалую тревогу — не дай бог, чтобы она вдруг усомнилась в истинности моих доводов! — Ну, да пусть будет как будет! Я готов и барельефы переделывать. Или вообще от них отказаться. Я даже и не стал бы вам показывать этот набросок, если была бы хоть маленькая надежда, что эскиз Айны утвердят... И, конечно же, я не представляю его отдельно. И знаете, почему? Потому что... Потому что потом я не смог бы смотреть в глаза ни вам (и лишь после заметной паузы), ни Айну!

Я вскочил и заявил судорожно:

— А знаете, пойду-ка я открою одну коробку. Посидите чуть-чуть одна. Можете поставить себе что-нибудь повеселее...

И, ухмыляясь, ушел на кухню. Ведь то, что я сейчас сказал, было чуть ли не признанием в любви, пускай и робким! Право же! Теперь она убеждена, что имеет дело

с глупым пай-мальчиком, но никак не с опасным человеком.

— Я вам помогу, — крикнула мне вдогонку Ева.

— Ни в коем случае! Вы, видно, не знаете, как ужасен вид холостяцкой кухни, — ответил я, закрывая за собой дверь.

Я достал и начал открывать коробку крабов. Но мой старомодный консервный нож был безнадежно тупым, и мне никак не удавалось вонзить его в жесть. Я схватил со стола большую медную пепельницу и начал колотить ею по ножу. Я бил все яростней и яростней. Вдруг коробка выскользнула из моей руки, и консервный нож впился мне в ладонь. На ней сразу появился приличный и быстро набухающий сгусток крови... Не могу видеть своей крови. Я открыл кран и подставил руку. Рану начало щипать, но кровь все капала и капала... Мне вдруг стало дурно, и я опустился на табурет. Я упал на него, словно тюк, и был сам себе противен.

И вдруг, заставив меня беспомощно сникнуть, на спину мою, будто девятый вал, обрушилась серая бесформенная тоска. Какая жуткая бессмыслица, осознал я вдруг. Все равно Ева до конца мне не поверит, все равно придется показывать Тоонельту эскиз Айна, все равно этот эскиз утвердят и все равно я окажусь в идиотской роли...

Я казался себе убогим и жалким. Мне вспомнилось, как чуть ли не минуту назад я стирал перед зеркалом сажу с носа. Еще немного, и я завыл бы от жалости к самому себе. Я с тобой еще расквитаюсь, Айн! Это ты виноват во всем!

Почему-то мне пришел на память случай, когда меня побили в четвертом классе. Двое ребят, получившие из-за моего доноса по двойке и оставленные после уроков в классе, поймали меня вечером и затащили в домовую прачечную. Один зажал мою голову в клещи. Заносенный и засаленный рукав прижался к моему носу, жилы на шее вздулись. Я отлично помню этот отвратительный вкус материи... Они разбили мне нос, а тот, что был поменьше, плюнул в лицо. Этой харкотины я до конца жизни не забуду. Как только они вышли, я прокрался на лестницу и, целясь одному из них в голову, бросил сверху камень. При виде спин я осмелел.

Так вот я сидел, сникший, на табурете и сжимал

руками голову, издавая носом трель отчаяния. Поскольку издавание звуков не входит в компетенцию этого органа, трель сильно смахивала на жалкое и немзыкальное хлюпанье. Это соло доходило до меня как-то глухо — меня трясло от слепой ярости, мне хотелось бесноваться, топтать ногами, выть и грызть суповые тарелки. Я оказался в отчаянно беспомощном и бессмысленном положении.

Я полез за носовым платком, и тут мне попался в руки измятый клочок бумаги. Буквы на ней стерлись, но все же можно было прочесть: «Позвонить Магнусу Тээ!»

С каких пор этот клочок лежал у меня в нагрудном кармане и зачем надо было звонить Магнусу Тээ, вспомнить я уже не мог. Но вспоминать было некогда, потому что все эти буквы, почти слившиеся в серый туман, заплясали вдруг перед моими глазами, словно орава хромых шутов.

ПОЗВОНИТЬ МАГНУСУ ТЭЭ...

Забыв про саднящую рану, я так и вскочил с табурета. Это было вроде наития.

Ну и баран же я: как это я сразу не подумал о Магнусе! Ему-то уж эскиз Айна наверняка не понравится. Лучшего пугача, чем Магнус Тээ, чем это старое ружье с допотопным затвором, и не найти: уж я сумею его зарядить, чем мне захочется, — солью, дробью, а то и пулей дум-дум. А пока грянет выстрел, сам я успею забраться на дерево! Вместо того чтобы распускать здесь нюни, мне бы уже давно следовало сидеть в квартире номер восемь, грызть там печенье и сокрушаться над незадачливым эскизом Айна Саармы: «Он ведь в общем-то такой талантливый! Как же он мог так промахнуться?»

Но еще ничто не потеряно. К счастью, еще нет!

Я тихонько выбираюсь в переднюю. Прислушиваюсь. Музыка, правда, играет очень громко, но все же лучше быть осторожным. Сбегаю вниз по лестнице. Перед нашим домом есть телефонная будка.

4...0...0...3 и 6...

Лишь после восьмого гудка на том конце снимают трубку.

— Алло? Это кто так поздно? — спрашивает суровый голос.

— Извините! Вас беспокоит Свен Вооре...

— Товарищ Вооре? Ага. Что у вас за беда? — спрашивают меня уже любезнее.

— Простите, что я так поздно... Но у меня в самом деле беда. Знаете, Айн Саарма показал мне сегодня эскиз своего проекта и... мне тяжело это говорить, но, по-моему, он никуда не годится! Говорю вам как есть. Я сказал ему об этом достаточно ясно, но он и знать ничего не хочет. Говорит, что времена изменились...

— Как вы сказали? Времена изменились?

Приятно было слышать, что голос Магнуса зазвучал совсем на других регистрах.

— Что же у него там... на эскизе?

— На эскизе всего-навсего две руки, и больше ничего. Две скорбные руки, выдирающиеся из земли. Может, такой монумент и был бы вполне уместен на могиле какого-нибудь сюрреалиста, это пожалуйста, но... но я совершенно неспособен понять, что могут символизировать эти пассивные, покорные руки на могиле наших павших героев. На могиле тех, кто боролся до последней капли крови. Я понимаю, если бы эти руки держали хотя бы винтовку или ребенка, или звезду... Но в своем теперешнем виде — это какой-то примитивный пацифизм. Во всяком случае, с моей точки зрения... Мы чуть не поссорились с Айном, но... надо бы, чтобы вы сами взглянули на эскиз. Ведь я могу и ошибиться. Вот именно, кто-то из нас двоих — или он, или я — должен быть неправ. Эскиз сейчас у меня. Может быть, разрешите зайти к вам с эскизом? Мне в самом деле нужен совет...

— А где сам Саарма?

— Он... Он пошел в клуб. Отметить... Но Ева Саарма как раз у меня... Не хотите ли вы сами зайти ко мне? Пожалуй, будет даже правильнее сперва обсудить эскиз при Еве? Айн такой упрямый и самоуверенный, — продолжал я жалостливо импровизировать.

— Меня ждет одна работа, хотелось тут немного поразмышлять. Портрет передовика. Замечательный молодой скотовод, работник коммунистического труда, — разъяснили мне со снисхождением босса. — Хотелось дать его посвежее, под новым углом зрения...

Но хорошо, я зайду попозже. Скажем, так минут через тридцать — сорок пять. Вам подходит?

— Разумеется, подходит. Буду ждать. Портрет скотоведа, значит? Должно быть, страшно интересно? Я просто сгораю от любопытства, не разрешите ли завтра зайти?

Польщенный Магнус Тээ пробурчал что-то одобрительное.

— И знаете, еще одно... — сказал я неуверенным голосом. — Если вы придете, прошу вас, не подавайте вида, что я уже говорил вам об эскизе... Ева Саарма может подумать, будто я... Ну, вы же понимаете: женщина. Зайдите будто невзначай. Или я уж даже не знаю, как будет лучше...

Просяба эта была очень рискованной. Как бы она не навела товарища Принципиала на мысли. Я уже раскаивался. Магнус Тээ примитивен, как репа. Еще неизвестно, что он подумает.

Из трубки послышалось глубокомысленное мычание. Я прислушивался к нему с опаской, но в конце концов мычание было реорганизовано в некое подобие смеха.

— Эх, молодежь, молодежь! Мало у вас гражданской смелости! Шелковые вы перчатки! Ну хорошо, хорошо! Подыграю вам!

Он, видимо, был очень доволен своей сообразительностью.

— Так буду ждать вас.

На том конце повесили трубку.

Минут через тридцать — сорок пять? Да ты нужен сию минуту! Черт его знает, сколько они продлятся, твои сорок пять минут! Я был не на шутку зол. Удастся ли продержаться столько Еву? Необходимо, чтобы она услышала оценку Магнуса своими ушами. Если бы только этот инквизитор с душой младенца знал, насколько полезней для его святого дела сидеть сейчас у меня, а не муржить шмотки глины! У-у-у!

— Что вы там запропастились на кухне?

— Да так... Поранился консервным ножом... Ерунда!

— Ох уж эти мне творческие натуры! — сказала Ева, и руки ее выразительно застыли. — Айн у меня точно такой же. Бинт у вас есть?

Она забинтовала мне руку. Мы сели. Ева выискивала в крабах розоватое мясо клешней и жадно вонзала в него свои мелкие острые зубы. Она явно решила, что я приходил на кухне в себя после этой отчаянной фразы — «тогда я не смогу смотреть вам в глаза». Ведь это же было застенчивым полупризнанием, и она, видно, не ждала от меня такой застенчивости. Ева опять обрела все свое спокойствие. А мне-таки надо было прийти в себя! И я начал:

— Знаете, мне на кухне пришла в голову гениальная идея. Конечно, особых надежд возлагать на нее не стоит, но терять нам, по-моему, нечего. Так мне во всяком случае кажется. Я подумал, что было бы, пожалуй, очень хитро с нашей стороны показать наброски Айна в первую очередь... — я поднялся, снял со шкафа фарфоровую фигурку и начал подкидывать ее на ладони, — как вы думаете, кому? Его высочеству Магнусу Тэз! А?

— Зачем? Не слишком ли это рискованно? — Взгляд Евы остановился на фарфоровой фигурке, делавшей сальто.

— Может быть, рискованно, а может быть, и нет... Во всяком случае Магнус будет чертовски растроган, если мы попросим у него совета и покажем набросок прежде всего ему. После этого он вряд ли станет разносить эскиз, скорее наоборот — посоветует нам дорабатывать, развивать и так далее. И синица будет у нас в руках! Кроме того, я у него на очень хорошем счету — недавно я был с визитом в его берлоге. И он прочел мне лекцию «о великих задачах, поставленных перед нашим искусством». Вот мы и подсунем ему модельку. Не приходится опять же сомневаться, что мимо Магнуса никак не проскочишь. Так или иначе, свое слово о проекте он скажет, а его слово — увы! — еще имеет вес. Да и вряд ли со временем Магнус отнесется к работе Айна либеральней, чем сейчас. Так что стоит, пожалуй, попытаться...

— Во всем этом есть своя логика, — пришлось признать Еве.

— Но меня беспокоит Айн. Боюсь, как бы он не стал отвергать с ходу все советы Магнуса. Уж слишком он честен для нашего времени. Магнус-то наверняка будет советовать глупости... Н-да, будь автором этого эскиза вы, Ева, тогда совсем другое дело. Уж мы с вами сговорились бы.

Я поглядел Еве прямо в глаза и улыбнулся с гордостью школьника, виртуоза по части шпаргалок.

Ева не на шутку задумалась.

— Во всяком случае подумать об этом стоит... Вы должны подготовить Айну к тому, что завтра-послезавтра мы с ним совершим паломничество к Тээ, — закончил я.

— Подумать, видимо, стоит, — пробормотала Ева.

Я вынул из шкафа стопку новых пластинок, и мы начали слушать музыку. Мне опять стало не по себе. Приход Магнуса более или менее подготовлен, но нужен ли он вообще? Акции Магнуса все время падают. Наше искусство переживает возрождение. С каждым днем люди начинают все больше доверять друг другу. Уже не ищут повсюду призраков. Подходящий ли это союзник, Магнус Тээ? Сомнительно. Сейчас, наверно, наилучший момент хватать быка за рога — сказано же: не будь слишком ранним, но и не медли!

М-да, правильно ли это было — звонить Магнусу Тээ? Я все больше в этом сомневался. А чтобы Ева не заметила моей тревоги, приходилось болтать без умолку. Я говорил, что если продажа икры и крабов резко возрастет, значит, войны не миновать; я сравнивал хиндемитовский полифонизм с баховским, хоть представлял себе эти вещи весьма смутно; я поносил неорококо, которое уже пустило корни в домах снобов на Западе, — того и гляди, вскоре и у наших стульев хитроумно изогнутся ножки. Я говорил, говорил, говорил — я был не в силах ждать молча.

И тут вдруг — раньше, чем я ждал, — раздался стук в дверь.

IX

— Чуть не оттащал за патлы одного графомана, — заявил мне прямо с площадки А й н.

Язык его ворочался не без труда. Я растерянно замер, но он сразу же вошел в переднюю и стащил с себя пальто.

— На вот! Выпьем по маленькой!

Он сунул мне в руки бутылку, завернутую в розовую бумагу.

— Ждал-ждал тебя, и вдруг мне пришла в голову

хорошая идея — отделаться от этого типа, от твоего гостя то есть. Уж я это устрою, не волнуйся! — И он хитро захихикал. Но тут же неуклюже подмигнул мне и поджал почему-то рот, ставший от этого круглым, словно пуговица. — Но если это дама и если тебе хочется, она может и посидеть с нами...

Я ощутил приторный запах спиртного, и голова моя сразу же стала совсем пустой. До того пустой, что я ощутил почти физически, насколько полый у меня череп. Он вполне мог сорваться с шеи и взмыть воздушным шариком вверх.

— Это не к спеху. Спрячь пока на кухне, — показал он на бутылку, которую я как-то глупо взбалтывал, и враскачку пошел к двери.

И тут началось.

— Ты?! — Айн схватился за дверной косяк и замер как столб.

Я проскользнул мимо него в комнату, стараясь инстинктивно держаться поближе к Еве. Пахло скандалом!

— Тебе-то что здесь делать?

— А тебе? — с невинным видом улыбнулась Ева. Она, видно, еще не заметила, что ее муж пьян. — Мы тут со Свеном обсуждали план...

— Ах, обсуждали план! Оно и заметно. — Голос у него был поразительно сиплый.

— Так уж не Ева ли была этим гостем? — повернулся он ко мне. Но не успел я ему ответить, как он снова уставился на Еву. Станным придурковатым взглядом и едва ли не с улыбкой. Так ребенок смотрит на игрушку, которая вдруг поломалась. Но потом рот его дрогнул, улыбка расплылась по всему лицу и лицо как бы обмякло.

За спиной Айна зиял черный дверной проем, люк в пустоту. И на его фоне Айн, совсем маленький Айн, казался пришельцем из какого-то иного, ирреального мира.

Тут и Ева поняла, что Айн напился. Но все это дошло до нее слишком внезапно.

— Да, обсуждали план... — повторила она растерянно и взглядом попросила у меня помощи.

— Бедненькие! Они тут план обсуждали, а я им помешал. Сочувствую. Мог бы сказать мне прямо... — обратился он ко мне.

— Не болтай глупостей, Айн! — пробормотал я как-то тихо. Именно тихо, а ведь Айн сразу бы остыл, если бы я сообразил сочно расхохотаться или двинуть ему промеж ребер. Но мне почему-то вдруг расхотелось слишком уж его успокаивать: пускай воображает себя рогатосцем, если ему так хочется! Его дело!

— Айн, ты пьян, — сказала Ева сурово, но губы у нее дрожали. Еще бы — она одета так по-домашнему, а время как-никак позднее. «Палочка-выручалочка: Ева!» — как закричали бы при игре в прятки.

— Ну и пьян!.. Каждый развлекается по-своему! Не так ли, Свен? Моя жена тебе понравилась? — В глазах у него загорелся горячечный блеск. Губы его были по углам обметаны прыщиками. — Но, видно, Ева не очень-то тебя уважает. Погляди, как небрежно она одета! В этом наряде божьей коровки она печет мне на кухне блины. Впрочем, она здесь, видно, не в первый раз... Тогда понятно! А насчет белья... насчет белья у меня нет сведений. Нет, насчет белья не скажу...

И неожиданно он залился смехом. Забулькал, будто во рту у него было полно воды. Упал в кресло и начал корчиться, а голова его смешно падала с плеча на плечо.

Как бы он окончательно не осатанел... Я посмотрел на Еву — она комкала носовой платок.

— Айн, дорогой, что с тобой? Какую чертовщину ты себе вообразил? — Она поднялась, чтобы подойти к Айну.

— Прочь! Мне тебя не надо! — пронзительно закричал Айн. Он посмотрел на нас злобным взглядом затравленной крысы. Но, слава богу, он уже не смеялся. От этого смеха меня пробрала дрожь до самых кишок. Я почувствовал, что успокаиваюсь. Дело заходило слишком далеко.

— Ты, голубчик, выпил больше, чем следовало! По какому это праву ты так обижаешь Еву? — сказал я довольно уверенно. Но Айн меня не слышал.

— Можешь получить развод! Я никого удерживать не стану... — сипел он.

Очень приятно, когда из всех людей в комнате спокоен ты один. Я провел рукой по волосам и даже улыбнулся.

— Ты, Айн, соображаешь, какую чепуху несешь?

Ева посмотрела на меня с благодарностью, и я пора-

довался тому, что она не могла не заметить контраста между мною и Айном.

— Неужели ты не в состоянии себе вообразить, что мужчина и женщина могут оказаться в одной комнате и не... — сказала, поднявшись, Ева.

— Я тебя знаю, — застрочил Айн, как из пулемета. Никогда бы не поверил, что столь медлительный человек способен с такой скоростью выпускать слова. — Что у вас общего? Чем вам еще здесь заниматься?

Однако чувствовалось, что худшее уже позади.

— Может, и нашлось чем. — После того как болезненная истерика Айны вошла в чуть более нормальную колею, выплеснулись наружу гнев и обида Евы. Ведь эта рыбка-лоцман заплывала ко мне с самыми благородными целями! Она схватила со стола набросок Айны.

— Вот мы что обсуждали... Пока ты насасывался...

— А что ты в этом смыслишь? Кто тебе дал право соваться в мои дела? А этому... этому аферисту я сам могу показать, что надо и сколько надо. — И его злоба перекинулась на меня.

— Да брось ты, Айн. Не бойся, я не обижусь. Какой сейчас смысл слушать, что ты говоришь? Вот уж не думал, что ты так болезненно ревнив.

Я и в самом деле не думал. У каждого из нас есть своя слабость, свое чувствительное до смешного место. Ну да, Айн не такой уж красавчик: он, небось, думает, что никто, кроме Евы, неспособен его полюбить. Бедняга, подумал я с ироническим сочувствием.

Но Айн меня не слушал. Взгляд его был пуст. Мысли его были явно где-то далеко. Он вдруг бросил Еве в лицо:

— Так, значит? Теперь мне все ясно! Помнишь, Ева, с чем ты пришла ко мне от Кыометса? Помнишь, что ты мне принесла? История повторяется. Только я этим не воспользовался, а э т о т способен и на такое!

Напряжение в комнате сгустилось до того, что стало почти осязаемым. Ева вся вдруг окаменела. Ногти ее впились в ладони, лицо стало совсем белым. На фоне этой берестяной белизны светло-оранжевая помада стала выглядеть так же грубо, как настурция, сунутая в зубы покойнику.

У Айны же был торжествующий вид злобного мальчишки. «Ну что, получила? Получила?» — светилось на его лице. Я бы не удивился, если бы он заскакал на

одной ножке и захихикал: «И поделом! И поделом!» Наконец-то ему удалось вывести Еву из равновесия!

И в этот самый миг со стены послышался деликатный хрип. Это хрипели часы, доставшиеся мне по наследству от тети. Старинные часы из distinguished рода швейцарских стенных часов. В последнее время они норовили отставать, но в искусстве боя им нет равных: они преподносят свои акустические шедевры с той же безотказностью, с какой дряхлые донжуаны отпускают комплименты. Вот они принялись: бархатные бимбомы раскатывались по комнате, будто засахаренные шоколадные бомбы.

Замолчав, как по команде, мы стали слушать. Словно кто-то сказал «чур-чур» и мы, соблюдая правила, прекратили на время игру. В одном все люди похожи: в трагические моменты мы часто впадаем в мелодраму. Совсем как молодые драматурги. Приглядитесь к себе во время приступов гнева! Вероятно, и вы, когда выходите из себя, начинаете подражать скверным фильмам.

Бой кончился. Я посмотрел на Еву.

— Ты бредишь!

Это было сказано вульгарным и сиплым голосом уличной девки. Лицо ее стало внезапно каким-то квадратным. Некрасивое, угловатое, абсолютно неженственное лицо. Да и все вокруг стало каким-то жестким. Я ощутил, как стол и стулья оцетинились всеми своими острыми выступами, о которые так легко набить шишку.

— Поглядите, Свен, какого человека я должна терпеть!

Из кресла послышался злобный смех. Но черты Евы опять смягчились. Ее большой красивый рот скривился жалобно и комично, совсем как лопнувший стручок.

— Я больше не могу! — Она закрыла глаза руками и молча пошла к двери. Я поддержал ее за плечи и почувствовал, что вся она вдруг запахла как-то по-особому. Плачущие женщины всегда пахнут одинаково — это сладковато-прелый запах лежалого сена...

— Теперь ты, конечно, радуешься, что довел ее до слез, — сказал я Айну, проводив Еву. Мне в самом деле было ее жалко, и я злился. К тому же у нее был такой милый, по-детски костлявый позвоночник, что, поддерживая ее, я невольно подумал, как было бы славно привлечь к себе в постели и успокоить это плачущее

существо. Не исключено, коллега, что твои опасения сбудутся!

Айн ничего не ответил. Он сжимал голову руками, и плечи его судорожно подергивались. Я допил остаток коньяка в рюмке и забегал по ковру.

— Прекрати наконец эту мелодраму и пойдй попроси у своей жены прощения!

— Тебе-то... тебе какое дело?

Я посмотрел на него с отвращением и жалостью.

В Москве в меня влюбилась одна прикладница средних лет. Но она вела себя так, что я ни о чем не догадывался. Полноватая и довольно некрасивая, она все же отличалась остроумием (с некрасивыми это случается часто) и была хорошим товарищем. Я принимал наши отношения за невинный флирт, и потому мы часто бывали вместе в разных местах, но она, как потом выяснилось, относилась ко всему вполне серьезно. Когда наша дружба пришла к естественному концу, я впервые стал свидетелем того, до чего может довести человека такая абстрактно-поэтическая штука, как эта самая любовь. Веселая, блестящая остроумием женщина, не дура выпить, за несколько минут превратилась в нечто слюнявое и потное (довольно-таки натуралистично, но зато справедливо!), в точности воспроизводившее звуки ванны, из которой спускают воду. Я ей сочувствовал и в то же время не сочувствовал: какое могло быть сочувствие, если она превратилась в другого человека. Такие сцены могут сделать человека инвалидом.

— Слушай, старик, брось! Завтра мы все трое будем смеяться над этой комедией! Разве не так?

— Не лапай меня... слизняк! — процедил он и посмотрел на меня слезящимися от ненависти глазами. Прыщики возле его губ полопались.

— Э, да что с тобой толковать... — И я беспомощно вздохнул. — Капитально ты наакался!

— Вовсе нет!.. Уж во всяком случае не больше твоего. И у тебя бутылка почти вся высосана.

Он постарался взглянуть мне в глаза трезвым взглядом. До известной степени ему это удалось. Наверно, недавняя сцена и в самом деле отрезвила его. Да и не таким уж пьяным он пришел. Но тогда тем глупее все получалось. Тем глупее...

— Послушай, Айн! Ева наверняка дома плачет. Не-

ужели ты не можешь ее успокоить? — сделал я новую попытку.

И Айн поднялся. Я хотел его проводить, но он отпихнул меня и пошел почему-то на кухню. Я услышал, как он фыркает под краном: значит, канитель затягивается. Может, зря я ему советовал пойти домой извиняться... Сгоряча он мог бы и сам уйти, а теперь нарочно останется. Черт бы его побрал! Я почувствовал, что опять начинаю злиться. Долго я должен с ним валандаться? Надо его попросту выставить...

Но Айн уже вернулся. Холодная вода пошла на пользу: лицо у него стало более или менее человеческим.

Чего он не уходит, ломал я голову. Небось, хочет, чтобы и я вышел из себя! Ну, нет, со мной этот номер не пройдет!

Я изобразил на лице всепонимающую улыбку.

— Первый твой разумный поступок за сегодня: холодная вода никогда не вредит. Недаром же поется: «водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров!»

Айн лишь промычал что-то. Теперь я был уверен: конечно же, его раздражает именно мое спокойствие и дружелюбная снисходительность. Ну и пусть раздражается — мне-то что?

— Ты придумал тут несуществующий роман, — начал я. — А дело просто-напросто в том, что мы обсуждали эскиз твоей идеи. Когда ты ушел в клуб, я все взвесил и пришел к выводу, что в таком виде это никак не пройдет... Сам, брат, знаешь, каких памятников понаставлено в городе. Вспомни хотя бы тот, что перед «Эстонией». Вот если бы до такого эскиза додумался Магнус Тээ, что, конечно, абсолютно немыслимо, тогда он еще, может быть, прошел бы. Но у тебя...

— Еще как пройдет! — сухо отрезал Айн и, дернув себя за всклоченную прядь, улыбнулся весьма высокомерно. — Пройдет, готов ручаться! Что в моем эскизе такого? Н-да, сдается мне, что твои опасения вызваны совсем другим...

Как это в одной и той же башке ухитряются мирно сосуществовать абсолютный хаос и более чем нормальная логика.

Но уголки его глаз были совсем красные от перенапряжения.

— Тебе, по-моему, здорово хочется затеять ссору и

со мной — уж признайся, коллега! Считаю все же своим долгом сообщить, что это вряд ли тебе удастся. Ты сегодня капризничаешь, как непослушный ребенок, и я не могу относиться к тебе серьезно. — Я поймал себя на том, что нервно наматываю на палец конец галстука, и чтобы руки меня не выдавали, засунул их в карманы брюк.

— Еще как пройдет, — повторил Айн с преувеличенной беспечностью. Он взял со стола ту самую фарфоровую фигурку, которую я недавно подбрасывал, и начал прикладывать ее к своим пылающим вискам.

— Ну, ладно... Неужели ты в самом деле веришь, что Магнусу Тээ и ему подобным твой эскиз покажется приемлемым? Его же так легко упрекнуть в пацифизме, излишней условности, абстрактном гуманизме, отсутствии боевого духа... В чем угодно. Посчитайся и с тем, что Магнус — член порядочного числа комиссий.

— Магнус Тээ не в счет! Скоро его сдадут в утиль. Чертовски он был самоуверен!

— Может, и сдадут. Но прежде он еще успеет сунуть в руки твоим подземным борцам винтовку или пятиконечную звезду.

Айн и не трудился слушать.

— Магнуса Тээ сдадут в утиль. Если он явится со своими советами, я без лишних разговоров пошлю его куда подальше! — Теперь фарфоровая фигурка подпрыгивала на ладони Айна. — Тебя тоже сдадут в утиль. Раньше или позже.

— Большое спасибо! Может быть, ты все же поставишь эту безделушку на место. Ее мне подарили. — Злость, будто ком горячей лавы, уже булькала у меня в горле и рвалась наружу.

Мне было ясно, что Айну только того и надо — привести меня в бешенство, но я уже плохо владел собой. Должно быть, это не ускользнуло от его внимания.

— Свяжут вас в один узел и вместе сдадут в утиль! По правде сказать, это будет нечестно: Магнус просто дурак, а ты интриган. Улаживаешь свои дела в будорагах!

Я почувствовал, и даже не без удовольствия, что у меня потемнело в глазах. Следовало взять его за шиворот и вышвырнуть! Вместе с его «кричащими руками»! И тут я инстинктивно оглянулся назад. Даже сам не знаю почему.

Барышня-дворянка с плутовской улыбкой отщипывала лепестки розы. На ее лице были наслаждение и лукавство. Странно, но в тот же миг я обрел спокойствие. Тихое злорадное спокойствие. Каменное спокойствие. Ком лавы застыл тяжелым металлическим слитком и сполз куда-то вниз.

— В будуарах, говоришь? А почему бы и нет? Не говоря о прочих привлекательных свойствах, женщинам присуща и рассудительность. В большей степени, чем их знаменитым мужьям. — И я осклабилсся ему в лицо.

Это подействовало. Вожжи опять были у меня в руках. У каждого из нас, у каждого без исключения, есть своя слабость, свое до смешного чувствительное место... И мне вспомнилось что-то еще. Я поглядел на часы: со времени моего последнего телефонного звонка прошло около часа!

— Да-да, дружочек, да-да, дорогой коллега! Жизнь — это сложная игра. Не думаю, чтобы ты чего-то достиг со своей заносчивостью. И хороша заносчивость, ха! — Я издевательски хрюкнул. — Когда кота дома нету, у мышей всегда праздник. Покамест еще ни один из нас не может послать Магнуса к черту.

Я наполнил две рюмки и одну из них грубо сунул Айну.

— По правде говоря, некрасиво с моей стороны предлагать тебе коньяк. Но ты так набрался, что теперь все едино. Ваше здоровье, если позволите!

Он взял рюмку и долго держал ее в руке. Потом выпил одним глотком. Я поставил бутылку и рюмки в шкаф.

Раздался звонок.

— Можешь теперь идти утешать жену, — сказал я холодно.

Х

— Ого! Это вы? Вот чудесно — как раз вовремя. У меня сейчас Айн Саарма со своим эскизом. Ужасно хочет узнать ваше мнение, — произнес я как можно громче, впуская в дом Магнуса.

— Ну, уж это вы для красного словца! С каких это пор яйца стали советоваться с курами? — Он, видимо,

нашел свою шутку очень удачной и потому любезно ощерился, демонстрируя жутковато сверкающий ряд металлических зубов; я слышал, что такие зубы называют железными. Но едва смех успел выскользнуть из этих мрачных ворот, как железный рот Магнуса тут же захлопнулся, наподобие несгораемого и пуленепробиваемого сейфа.

Школьные привычки очень въедливы: как только Магнус шумно ввалился в дом, Айн встал. Я отреагировал на это злорадной ухмылкой, посланной Айну из-за плеча босса. Магнус Тээ был явно в хорошем настроении — он подошел к Айну и дружески протянул ему руку, так что Айну волей-неволей пришлось ее пожать. Несмотря на полутьму в комнате, Магнус сразу же заметил, что лицо Айна отнюдь не сияет энтузиазмом и трудовым порывом. И он заметно помрачнел.

— Как подвигается ваш портрет? Скоро сможем его увидеть? — спросил я как можно подобострастней, чтобы позлить Айна.

— Грех жаловаться. Но нужна еще основательная проработка, — сказал Магнус Тээ и повернулся к Айну спиной. — Мой учитель Иван Захарыч всегда, бывало, говаривал: «Проработка, проработка и еще раз проработка! Проработка — это то, что отличает искусство от ремесла». Золотые слова.

Настроясь философически, товарищ Тээ солидно опустился в кресло, отчего на его домашней куртке свекольного цвета отскочила нижняя пуговица.

— Могу ли предложить вам кофе?

— Не рискую себе позволить. Не рискую. Здоровье. Поздний час.

Ну еще бы, еще бы, подумал я с усмешкой. Чашка кофе угрожала бы в твоем лице всему эстонскому искусству! Где-то наверху в темной комнате массивная глиняная тетка ждет не дожидается своего бессмертия...

Тут я вдруг заметил, что Айн сворачивает эскиз. Я кинулся к нему.

— К чему такая скромность, Айн? Ведь только что ты прямо мечтал услышать мнение товарища Тээ.

И прежде чем Айн успел что-либо предпринять, эскиз уже оказался на коленях у Магнуса.

— Я... — пробормотал Айн.

— Хочешь, наверно, записать кое-что на память? —

оборвал я его. — Вот тебе бумага и карандаш. Запиши все поточнее, чтобы не дай бог не забыть!

Айн послал мне взгляд, передать который невозможно.

— Гм-гм... н-да... — буркнул Магнус Тээ, поглядев на «кричащие руки». — Небрежно сделано... весьма небрежно... А это что? Тут, наверно, что-то написано?

Внимание товарища Тээ было привлечено тем самым «ага!», теми тонконогими каракулями.

— Ликование, азарт... творческое горение, — объяснил я, не спуская глаз с Айна. Он, бедняга, судорожно вцепился обеими руками в стол, будто это был ковер-самолет, готовый вот-вот улететь. Я видел, что терпение его на исходе. Еще немного и... Но я и сам больше не мог продолжать в том же стиле: в разговоре по телефону я был таким хорошим, таким заботливым товарищем, а теперь... Мое поведение могло показаться странным даже Магнусу. Не сказав больше ни слова, я посмотрел с широкой улыбкой на судорожно сжатые пальцы Айна и пододвинул к нему фарфоровую фигурку. Расколоти! Отведи, братец, душу!

— Да и по содержанию, по содержанию... — Магнус поковырял пальцем в ухе и неторопливо повернулся всем телом к Айн. — Что вы хотели этим сказать, товарищ Саарма?

Айн не ответил, и Магнус Тээ вновь медленно обнажил свои железные зубы: но на этот раз улыбка его была уже совсем иной. Было ясно, что он ничего в эскизе не понял. Товарищ босс ждал ответа. Было и впрямь жутковато смотреть на дубленое лицо и сверкающую сталью улыбку. Айн все еще молчал.

— Вот видишь, Айн! И товарищу Тээ совершенно непонятно твое кредо. Так же, как и мне, — сказал я с серьезным видом.

— Очень, очень жаль. В лучшем случае такой монумент вызывал бы только мрачное настроение. Но разве нам это нужно? Нет, нам это не нужно! Герои, правда, погибли, но именно поэтому мы с вами живем счастливой жизнью.

Было очевидно, что Магнус Тээ подобрал слова для своего мнения еще до того, как увидел эскиз, не то его речь не была бы столь гладкой.

— Смерть героев — это не только смерть, это, кроме того, этап... — Тут он все же запнулся на какой-то

миг, но тем величественнее закончил: — Все, молодые люди, надо видеть в движении, в свете диалектики!

— Товарищ Тээ в самом деле прав. Ди-а-лек-ти-ка! — подхватил я.

Айн вздрогнул.

— Пожалуй, и в самом деле надо всучить им в руки дубины... Небось, подиалектичней получится!

Он пытался быть ироничным, но в голосе слышалась только озлобленность. Однако Магнус Тээ, этот золотой человек, отнесся к делу с полной серьезностью.

— Не дубины, а винтовки! Гранаты! — сказал он, жестикулируя и подаваясь вперед.

Боже милостивый! Мне стоило большого труда не прыснуть. От сдерживаемого смеха у меня задрожали плечи, на лбу выступил пот. Я отчетливо представил себе эти руки с гранатами: тематическая композиция под названием «И в канаве пьянка продолжалась...» Гранаты, винные бутылки... У меня-таки вырвался смешок, но мне удалось выдать его за кашель. Нет, Магнус Тээ просто несравненен!

Но Айн уже не мог сдерживаться. Он вскочил и нарушил почтительную тишину саркастическим хохотом. Магнусу пришлось пробормотать:

— Гранаты, конечно, нет... Я просто импровизировал... Проводил параллели... — Но внезапно и его злость разгорелась. — А что... а что тут смеяться? Мальчишка! — рявкнул он, и его лицо стало таким же свекольным, как и куртка.

Айн же хохотал и хохотал, и его круглая голова опять падала с плеча на плечо, как это было недавно. Отчаянный, едва ли не безумный смех! Айн окончательно утратил самоконтроль.

— Молчать! — заревел Магнус Тээ.

— Айн! — завопил и я. — Ты сошел с ума!.. Боже, какой позор! Товарищ Тээ, я вам принесу воды...

— В утиль! Всех вас сдадут в утиль! — визжал Айн. — Со всей вашей диалектикой, со всеми буддарами... со всеми вашими истинами, будто мертвеца нужно видеть в движении... будто павший герой — это этап... Что у вас общего с искусством?

Айн схватил со стола эскиз и кинулся к двери. Но я успел перехватить его по дороге, схватить за плечи и сжать изо всех сил.

— Ты немедленно извинишься! Или нашей общей

работе конец! — прошипел я. — Я не соглашусь больше помогать тебе, если ты не попросишь прощения!

Мне пришлось собрать все свои силы, чтобы удержать этого щуплого парня. Что-то жидкое брызнуло мне в лицо, но я не обратил на это внимания и почти поднял Айна в воздух. Магнус вскочил с кресла и кинулся мне на помощь. Но во время этой возни я получил чувствительный удар по колену, и мне пришлось выпустить на миг Айна. Он отскочил от меня на шаг и заорал, разрывая свой эскиз в клочья:

— Делайте сами! Делайте сами! Я не намерен унижаться! Делайте сами! — и, шатаясь, вылетел из комнаты.

Почувствовав нить в ноге, я прикинулся, что испытываю сильную боль, и опустился на одно колено.

— Он применил джиу-джитсу? Признайтесь! Не скрывайте! — профыркал Магнус Тээ, помогая мне подняться.

— Сам не знаю, — сказал я тихо.

XI

— Я знаю Айна Саарму как хорошего товарища и талантливого скульптора. Наша совместная работа была интересной, и мне по-настоящему жалко, что она так неудачно оборвалась. Что касается меня, то я готов простить Айна. Когда он набросился на меня, этот крайне чувствительный, легко возбудимый человек находился, кроме всего прочего, в нетрезвом состоянии.

Что же до идейной зрелости Айна Саармы, то здесь мне, разумеется, крайне трудно спорить с предыдущим оратором — товарищем Тээ. Да и чем иным, как не политической недоразвитостью, можем мы объяснить его необдуманные сентенции, высказанные по адресу нашего советского искусства и лично товарища Тээ? Чем иным? Ведь Айн Саарма — человек по природе добрый и деликатный. По-моему, не приходится даже ставить вопрос о том, можем ли мы доверять столь ответственное задание, как создание памятника жертвам фашизма, подобным людям. Ведь в тот злополучный вечер Айн добровольно отказался от работы над проектом монумента. Он не остановился даже перед тем, чтобы демон-

стративно порвать свой эскиз из-за выпавшей на его долю критики.

А теперь несколько слов о самом эскизе.

Эскиз был весьма интересен, но имел, на мой взгляд, и весьма серьезные минусы. Ведь сегодня, я думаю, недостаточно, чтобы монумент служил целям абстрактного гуманизма и пассивного пацифизма: он еще должен призывать к борьбе! Разве в Западной Германии не поднимает снова голову фашизм, этот остервенелый хищник? Разве в Америке не рвутся к власти экстремистские подонки общества?.. Поскольку уже в начале нашей общей работы я никак не мог согласиться с некоторыми концепциями Айна Саармы, мне поневоле пришлось подумать и о самостоятельном решении. Совсем недавно я показал свой собственный эскиз товарищу Магнусу Тээ, и мне лестно сообщить, что в принципе он его одобрил. Он любезно согласился помочь мне ликвидировать кое-какие недостатки и согласился стать соавтором моего проекта. Тем самым я избавился от многих сложных забот.

Но вернусь еще раз к Айну Саарме.

Хотелось бы заронить вам в душу одно: не будем относиться к нему с чрезмерной суровостью! Мне вспоминаются слова Владимира Ильича о том, что талант — это редкость, что таланты надо беречь... Мудрые золотые слова! И если Айн Саарма не потрудился сегодня появиться среди нас, то полагаю, что причиной этому не зазнайство, а стыд. Или же... свойственное людям побережья упрямство. Упрямство, которое вполне заслуживает порицания, но которое — признаемся в этом честно! — чем-то нам и симпатично. Разве всем нам не дороги в нашей литературе образы людей побережья? Упрямых, как можжевельник на Сааремаа! Айн уехал на свой родной остров. Пускай он там спокойно подумает о своем заблуждении. Пускай придет в себя!

Что мне в заключение сказать? Я сказал бы следующее: понять — это значит простить! Голосую против исключения Айна Саармы из Союза художников!

Так через три дня после описания событий выступил на одном закрытом собрании Свен Вооре.

Новый монумент готов. Там он и стоит — на братской

могиле, где погребены жертвы фашизма, и по ночам его освещают прожектора.

К монументу приносят много цветов. Они лежат перед борцом, который упал, правда, на колени, но зато его руки — длинные, как у призрака, грозно сжатые в кулаки, — это вопль о справедливости возмездия.

Из бездонного зимнего неба медленно сеются на монумент мохнатые снежинки.

В день открытия монумента я пришел туда поздним вечером. Я любовался памятником, на постаменте которого было высечено скромным шрифтом:

МАГНУС ТЭЭ
СВЕН ВООРЕ
год 196...

Старый человек в черном пальто, крупный, могучий, смотрел издали на монумент. Увидев меня, он подошел. Это был профессор Тоонельт.

— Интересно, очень интересно... — сказал он.

— Вы считаете, что монумент удался? — спросил я скромно.

— Я смотрю не на монумент, я смотрю на вас, молодой человек!

— На меня?

— На вас. Интересно было бы знать, каково у вас на душе.

Так сказал профессор Тоонельт, и его зеленые совиные глаза блеснули. Он произнес это неторопливо и не повышая голоса, а потом повернулся ко мне спиной и зашагал прочь. Падал снег, и воротник у профессора был поднят.

Таллин, 1964

УЖИН НА ПЯТЕРЫХ

Пьеса в трех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

КАДРИ
ИЛЬМАР
МАТЬ
ОТЕЦ
МАРТ
ШАХТЕРЫ

Время действия: наши дни

Место действия: сланцевая шахта в Эстонии

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Полутемная комната с довольно безликой светлой мебелью. Дверь слева ведет в переднюю и кухню, справа — в спальню. На стене несколько картин, маска Пьеро и коллекция бабочек.

Тихо играет музыка.

Когда открывается занавес, мы видим КАДРИ, которая сидит, поджав ноги, в большом потрепанном кожаном кресле, которое явно выпадает из общего стиля. У Кадри в руках тетрадь, которую она едва ли читает, так как за окном сумеречный осенний вечер.

Кадри нельзя назвать красивой. Ей около 25, но в полумраке ее можно принять за 15-летнего мальчишку — она плоскогрудая, худенькая и хрупкая, с короткой стрижкой. Она из тех женщин, во внешности которых всегда что-то не в порядке, которые не всегда верно выбирают себе одежду и прическу, если они вообще делают это сознательно. Но, несмотря на это, в ней есть свое обаяние. Она сидит почти неподвижно, но можно представить, что если она что-то предпримет, действия ее будут быстрыми, резкими, порывистыми. В ее угловатой фигурке много непокорности, непримиримости, чисто гаврошеской удалости, умения постоять за себя. На Кадри старый домашний халатик, небрежно застегнутый.

Пластинка проиграла, но Кадри не спешит ее снимать, может быть, оттого, что хлопнула дверь; в передней зажегся свет, и яркая полоска перерезала сумрачную комнату.

Вскоре отворяется дверь, на пороге ИЛЬМАР, он зажигает свет и в комнате. Теперь мы видим, что здесь царят бок о бок порядок и хаос — на ковре валяется щетка, пылесос включен в розетку, на столе свежая белая скатерть и несколько тарелок, — видимо, уборка

квартиры была прервана. Два стула опрокинуты на диван.

Взгляд Ильмара скользит по комнате. Если он и удивлен, то хорошо скрывает это — на лице его появляется усмешка, веселая, немного высокомерная, наигранно дружелюбная, которая не покидает его в трудные минуты. Она словно приросла к его лицу.

Ильмару лет 30, он красив; в его красоте есть что-то женственное. У него нездоровый цвет лица, отечные веки.

Ильмар выключает проигрыватель, снимает с дивана стулья, выдергивает штепсель пылесоса, прибирает на столе.

Кадри бросает на Ильмара единственный взгляд — и этого ей достаточно, чтобы понять: Ильмар не вполне трезв. Однако мы догадываемся об этом не сразу.

Пока Ильмар хлопочет, Кадри как бы внутренне напрягается, но не произносит ни единого слова, она почти недвижима, Ильмар улыбается ей своей типовой улыбкой и, посвистывая, идет на кухню, откуда сразу доносится стук посуды.

НВ! Авторские ремарки на протяжении всей пьесы не стоит воспринимать слишком дословно: все они выражают лишь один из возможных вариантов игры. Однако это не значит, что к ним вовсе не следует прислушиваться.

ГОЛОС ИЛЬМАРА. Кадри, молодчина! Успела хоть немного прибрать... Что-то я не могу найти перец. Я ужасный балбес — мне просто от природы не дано находить перец. Ведь у нас на кухне все на своих местах, а я, дурачина, не вижу. Но ведь перец должен где-то быть. Я его сам вчера купил.

КАДРИ (дает обмануть себя и забывает о намерении устроить ему бойкот). Ты купил перец?

В дверях появляется победоносно сияющее лицо
Ильмара.

ИЛЬМАР. Неужели я забыл? Неужели я купил только пиво? Ну, конечно, я все перепутал... (Исчезает. Вскоре снова слышится его голос.) Ну и болван... Ищу перец, а он у меня под носом. В нашем миленьком грибочке-мухоморе. (Кадри встает, идет в спальню. Ильмар появляется с блюдами. Судя по ним, предстоит празд-

ничный ужин. Ильмар накрывает на четверых. Заметив исчезновение Кадри, он становится серьезнее.) Кадри! (Молчание.) Кадри, ведь ты тоже фаталистка... Человек не может всегда все предвидеть... Но мы успеем — раньше восьми они не явятся. (Подождав немного, идет на кухню. Выходит Кадри в светлом, полупраздничном платье. Кадри торопливо и без заметных результатов причесывается перед зеркалом. Ильмар появляется с очередными тарелками.)

КАДРИ (в боевой готовности). Прости меня, дорогой! Я, наверно, слишком непокладиста! Мой доблестный муженек, неутомимый буритель «коричневого золота», явился домой так рано, а я не бросилась ему на шею. (С иронией.) К счастью, мой герой труда весьма толстокож. (Басом, кому-то подражая — как позже выяснится, — Марту.) Но по рюмочке все же пропустили, или, как говорит ваш Март, «заложили за воротник»... Как же — в этом столько здорового юмора. Шутки «хозяев жизни».

ИЛЬМАР. Кадри...

КАДРИ. Да, счастье мое. Ты что-то сказал?

ИЛЬМАР. Нет, только подумал.

КАДРИ. Очень интересно.

ИЛЬМАР (искренне). Я подумал, что этот тон идет тебе и женушка у меня что надо. Честно.

КАДРИ (по-прежнему иронически). Жаль, что ты не смог сегодня задержаться подольше. Ведь вам за кружкой пива нужно столько важных дел обсудить. Серьезные проблемы серьезных людей. Ведь не каждый день инженера «выдвигают» в рабочие... Ты все еще рабочий? Или тебя уже выдвинули в вахтеры?

ИЛЬМАР (задет). Но ведь это не навечно. Три месяца когда-нибудь истекнут... (С издевкой.) Это здорово, что хоть ты не дуешься и не пилишь меня. Всепонимающая жена — опора мужчины во всех жизненных испытаниях...

КАДРИ. Стараемся! Стараемся оправдать оказанное доверие. Если надо — можем подставить и плечо... Странно, сегодня тебя и не надо подпирать, стоишь твердо, как дуб в бурю. Сегодня ты произведешь на родителей хорошее впечатление, если они все-таки придут.

ИЛЬМАР. Да ладно тебе... Смотри, я почти трезвый.

КАДРИ. Конечно, можешь запросто выпить еще три

рюмки, только тогда тебя, бедненького, вытошнит. *(Поправляет скатерть.)*

ИЛЬМАР *(прибирает в комнате, после молчания)*. Послушай, давай заключим на сегодня перемирие. Взгляни на меня — неужели не видишь, как ты меня затюкала? Даже на войне заключают перемирия, например, на Рождество, на Троицу...

КАДРИ. А сегодня придет взглянуть на своего дитя двоица — король и королева. А их ненаглядный, такой радостный, шлепает по комнате.

ИЛЬМАР. Ну, так как? Мир? *(Передвигает стулья.)*

КАДРИ *(словно не слышит)*. Как ты думаешь, король и королева принесут нам подарки? Могу поспорить, что это будет торт. Домашний, на дюжине яиц. У тебя такая хорошая мама и такое образцовое дошкольное воспитание, что у меня от зависти колени подгибаются. Видно, все же придется пойти на перемирие, надо быть бессердечной, чтобы огорчать такую даму. «Всем хорошим во мне я обязан мамочке!» *(Уборка продолжается.)*

ИЛЬМАР. Угомонись. Что она тебе сделала?

КАДРИ. Мама понимает тебя, папа понимает тебя. Только я не понимаю тебя и твоих трудностей. *(Словно цитируя.)* «Временные трудности и временные приступы слабости...» Но они пройдут и ты восстанешь из пепла, вина и блевотины словно феникс — мамина, папина и моя отрада. И скоро ты снова будешь любимчиком директоров и министерских работников — мужественным командиром производства.

ИЛЬМАР. Ты говоришь это так, словно вне себя от счастья, что у меня все пошло так плохо. И вообще... тебя сам черт не разберет! Когда у меня все шло как по маслу, моя супруга вздыхала, что ее мечта — быть женой простого, честного труженика. Теперь, когда я стал им, — опять вздохи. Ты сама не знаешь, чего хочешь.

КАДРИ. Последний в городе не всегда бывает первым на деревне.

ИЛЬМАР. Ну, скажи, чего ты от меня сейчас хочешь? Чтобы я просил прощения, бросился на колени?

КАДРИ *(холодно)*. Ради бога только не бросайся на колени — потом не встанешь.

ИЛЬМАР. Честное слово, это препарирование лягушек сделало тебя садисткой.

КАДРИ. Если бы ты только знал, как ты противен. Ты — хуже любой ободранной лягушки.

ИЛЬМАР. Благодарю.

КАДРИ (*выливает всю накопившуюся злость*). Поглядите, он рассердился, и сразу спинка выпрямилась. Весь напыжился. Какой неотразимый — прямо актер третьей категории. Господи, как я могла так влипнуть! Как я сразу не раскусила его. (*С колкой иронией.*) Он ходил рядом со мной в эти лунные ночи. Он был немногословен: ведь мужчинам болтать не к лицу. Серьезный, деловитый, полный замыслов. Я прямо диву давалась, что он меня вообще замечает, этот «прилежный студент». «Я не уверен, Кадри, что карьера практика принесет мне удовлетворение. Думаю, что это может дать только наука. Но прежде надо годика на два окунуться в жизнь...» Вот ты сейчас там и барахтаешься, дипломированный крепильщик. А я, дуреха, смотрела на него во все глаза и боялась пошевелиться, когда этот чудо-мальчик брал меня в парке за руку. (*Другим тоном.*) Чего ты трясешь этой тряпкой, ведь не умеешь, дай сюда!

ИЛЬМАР (*довольно грубо*). Выходит, ты по-крупному влипла, бедняжка! Жаль. И уйти тоже не можешь... Живешь с крепильщиком и пописываешь свою кандидатскую. У тебя верное сердце любящей жены, моя дорогая. Если я когда-либо пойду ко дну, ты пойдешь вместе со мной! Такие, как ты, не удирают, как крысы с тонущего корабля. А знай себе грызут дальше.

КАДРИ (*бросает тряпку, подходит вплотную к Ильмару: кажется, что она сейчас ударит его. Оба, тяжело дыша, смотрят в глаза друг другу. Затем Кадри неуверенно поворачивается и идет к окну, смотрит в темноту. Долгая пауза.*) Честное слово, Ильмар, я уйду. Я не могу больше с тобой. (*Пауза.*)

ИЛЬМАР (*тоном: «Я знаю, ты не любишь оправданий*). Кадри, я не собираюсь оправдываться или просить прощения. Я знаю, ты этого не терпишь. Но есть такие деньги, которые... будто жгут карман. Сегодня я получил первую... ну, не инженерскую получку, понимаешь...

КАДРИ. Еще пять раз получишь, если нового номера не выкинешь.

ИЛЬМАР (*с фатальным спокойствием*). Это было в пред-пред-пред-предпоследний раз...

КАДРИ (почти дружески). На! (Протягивает ему на кончике вилки лук.) Поешь луку! Негодник мой впечатлительный. Деньги у него, видите ли, карман жгут. Бери, бери, а не то мамочка захмелеет от одних твоих винных паров. Или погрызи на кухне кофейных зерен. (Ильмар идет на кухню. Кадри возится у стола.)

ГОЛОС ИЛЬМАРА. А где эти зерна?

КАДРИ. Кофейные зерна мужчины должны сами находить. Особенно те, от кого всегда разит и кто должен их часто грызть... Поищи на верхней полке. В синей жестяной банке, на которой нарисованы люди с флагами — они маршируют и требуют мира. Грызи и молчи!

ИЛЬМАР. Слышишь, я уже грызу. И молчу.

Кадри проводит рукой по волосам — это какой-то усталый жест — и снова подходит к зеркалу. Звонок.

Ильмар, растерянный, появляется в дверях.

ИЛЬМАР. Наверно, они... (Подходит к зеркалу.)

КАДРИ (напоследок окидывает взглядом комнату, что-то поправляет, полушепотом). Ступай, открой... Ты вполне в порядке, только не дыши в их сторону.

ИЛЬМАР. Мой галстук... Нет, я должен надеть новый. Открой ты. (Идет менять галстук. Кадри бежит в переднюю.)

ГОЛОС МАТЕРИ. Здравствуй, милочка! О, как тебе идет это платье! Шик! Вот это вам... Интересно, как он сегодня удался?

Ильмар быстро наливает из графина рюмку коньяку.

ГОЛОС ОТЦА. Кто же невесткам руки целует?! Только в лобик, только в лобик.

ГОЛОС МАТЕРИ. Эдуард!

ГОЛОС ОТЦА. У тещи целуют руку, невестку целуют в лоб, законную жену — в губы, незаконную — в глаза.

ГОЛОС МАТЕРИ. Перестань, Эдуард! Вогнал девочку в краску. Ильмар там? (Шаги. В дверях появляется МАТЬ в замысловатой розовой шляпе и в белых перчатках. Ильмар идет ей навстречу, на ходу повязывая галстук.)

МАТЬ (через плечо). Он весь в тебя, Эдуард! Тоже не может справиться с галстуком. Перед банкетам всегда мне приходилось делать эту работу... Иди сюда, я помогу тебе, мой большой неловкий мальчик! (Ильмар,

сам повязав галстук, целует мать в лоб. Вероятно, он задерживает дыхание, но это не должно вылиться в фарс.)

КАДРИ (прячет торт за спину). Отгадай, Ильмар, что твоя мама нам принесла?

ИЛЬМАР. Кролика...

КАДРИ. Глупый! Отгадай! Ни за что не отгадаешь... (Играет не очень искусно.) Вот, торт! И какой огромный!

В дверях появляется ОТЕЦ. Он лет на десять старше матери, но старается держаться как неунывающий студент. Он играет свою роль опереточного старца-ловеласа с удовольствием и вполне сознательно, последнее делает его по-своему симпатичным. Он плохо слышит, поэтому в ухе у него слуховой аппарат.

ОТЕЦ. Ого! Вот это стол! (Он обхватывает одной рукой мать, другой — Кадри и, дурачась, напевает.)

Люби красоток, пей и пой —

И грусть расстанется с тобой!

МАТЬ. Эдуард!

ОТЕЦ. О, повелительница!

КАДРИ. Присаживайтесь. Я принесу кофе. Ильмар, позаботься о родителях.

МАТЬ. Может, не будем торопиться. Ильмар, будь добр, сходи с отцом, посмотри, что с машиной. Эдуард, как мальчишка, не может, чтобы не обгонять по пути все машины. Это на нашем-то «Москвиче», старом драндулете. Да еще имея такое зрение и слух! Что-то в машине напоследок затарахтело. Как-никак — ты инженер.

КАДРИ. Конечно, посмотри.

ОТЕЦ. Кажется, в карбюраторе... Идем, уважаемый господин инженер!

МАТЬ (с упрёком). В этом костюме! (Кадри.) Тебе, наверно, нелегко с ним.

ИЛЬМАР. Я только взгляну, в чем дело. Если надо, напялю комбинезон. (Ильмар с отцом выходят.)

МАТЬ (окидывает взглядом комнату и стол, садится на диван). Какой непослушный! Он с самого детства ужасный замарашка. Самый неряшливый во дворе был. Одет, как куколка, — я не хочу хвастать, это, конечно, давалось нам нелегко, а грязнуля из грязнуль. Мужчины не меняются, они остаются вечными детьми. Не правда ли?

КАДРИ. Конечно.

МАТЬ (озабоченно). Что-то у него цвет лица неважный. Наверно, слишком много курит. У него с детства слабые легкие. Постарайся его удерживать.

КАДРИ. Да я уж и так ругаю.

МАТЬ. Прямо желтый с лица. Конечно, и на работе свои заботы. А еще этот воздух у вас — сплошной дым и чад... Кажется, он не вполне доволен своей работой?

КАДРИ. Почему вы так думаете?

МАТЬ. Говори мне «ты». Неужели я так стара или так неприступна, что не обойтись без множественного числа?

КАДРИ. Мы так редко видимся...

МАТЬ. Это верно, но все же. Ведь мы обе матери. Жена становится для мужа всегда в какой-то степени матерью... Так как же у него на работе?

КАДРИ. Подробностей о его работе я не знаю, но, кажется, все в порядке. Зарабатывает неплохо.

МАТЬ. Деньги еще не все. На этой фабрике или заводе, наверно, монотонная работа — каждый день одно и то же... сажа, копать и, видимо, нет перспектив для роста... А Ильмар у нас с детства такой усердный. Годы идут... Я считаю, ему нужно попытаться счастья в аспирантуре. Все же наука — совсем другое дело. (Замечает на стене коллекцию бабочек, ласково.) Все еще висят.

КАДРИ (немного смешавшись). Да.

МАТЬ. Ими-то ты и заманила моего мальчика. Хитрая девчонка — позвала ловить ночных бабочек. А там уж... Теперь это у вас вроде семейной реликвии.

КАДРИ. Да, иногда поссоримся... ведь бывает такое...

МАТЬ. Конечно, бывает...

КАДРИ. Тогда эти бабочки...

МАТЬ. Понимаю... Получается, что они сыграли большую роль в выборе твоей профессии? Все еще учи-тельствуешь?

КАДРИ. Нет. Не оказалось педагогических способностей.

МАТЬ. Значит, бросила! А чем тут еще можно заниматься образованной женщине? Неужели пошла на фабрику?

КАДРИ. Нет, я поступила в аспирантуру.

МАТЬ. Что? Куда?

КАДРИ (*жалеет, что сказала*). Это здесь же. Изучаю влияние высших фенолов на живые организмы.

МАТЬ. О! Поздравляю! И не трудно? (*Эта новость задела ее за живое, с этой минуты в этом доме ей все не по душе.*)

КАДРИ. Конечно, трудно. Иногда бьюсь-бьюсь... Прямо тупица какая-то...

МАТЬ. Я имела в виду — материально не трудно?

КАДРИ. Материально — нет. В денежном отношении я почти не проиграла. Очная аспирантура — только на десять рублей меньше прежней зарплаты.

МАТЬ. Десять рублей — тоже деньги.

КАДРИ. При зарплате Ильмара — деньги для нас не проблема.

МАТЬ. Так-так... И все же вам не помешало бы откладывать. Хотя бы для обмена квартиры. В этих каморках вдвоем не позанимаешься. Нужен покой и тишина. Инженер и... (*ей трудно это произнести*) может быть, будущий ученый. Вам должны дать квартиру побольше. Требуйте! Ты знаешь, какой Ильмар щепетильный. Ты должна постоять за него!

КАДРИ. Мы уже требовали. Но бездетной семье...

МАТЬ. Значит, плохо требовали! А обои нужно сменить. Этот ужасный рисунок... как в общежитии. Мы с отцом меняем обои почти каждый год. И занавески могли бы быть посветлее... Конечно, если это вам под силу.

КАДРИ. Мы как раз собирались.

МАТЬ. Хорошо, что хоть собирались. (*Встает, ходит по комнате.*) Да, я в свое время тоже хотела учиться. Но не было возможности. It wasn't possible... У тебя, конечно, теперь она есть... Yes! But, darling, I'm sure, you speak no perfect English... as you have done these magister minimum examinations?

КАДРИ (*с весьма неважным произношением*). Oh, I am sorry! My English is very bad...

МАТЬ. Really, your pronunciation isn't good. Say: «Pronunciation»!

КАДРИ (*с трудом*). Pro-noun-ci-ation...

МАТЬ. Pronunciation!

КАДРИ. Pro-noun-ci... Честное слово, нет способностей! Еле-еле сдала на тройку.

*Постановщик может при желании расширить эту сцену
пытки.*

МАТЬ. You ought to read loudly for ex. «Alice», «White fang»... And Ilmar would help you. У него это идет гораздо лучше. Представляешь, в шесть лет он пересказывал «White fang». (*За окном шум мотора.*) О, теперь совсем другое дело. У Ильмара золотые руки.

КАДРИ. Да.

МАТЬ (*глядя на стол*). Зачем вы так... не по средствам... Икра и все такое... Ведь мы с отцом простые пожилые люди. Вам придется жить более экономно. Ильмару одному трудно...

КАДРИ (*немного обиженно*). Почему одному? Я же почти ничего не потеряла.

МАТЬ. Сколько он зарабатывает?

КАДРИ. Около двух с половиной. Да мои девяносто.

МАТЬ. Неужели это нелепое кресло вам нравится? От него же одна бахрома осталась...

КАДРИ. Это единственная вещь в доме, которая принадлежит мне лично.

МАТЬ. И все же оно не подходит сюда. Ну, никак не подходит.

КАДРИ. Но Ильмар не возражает.

МАТЬ. Разве мужчины в таких делах... (*У стола.*) Десертные ложки нужно класть с этой стороны. (*Замечает мокрую рюмку.*) Это Ильмар?

КАДРИ. Мы оба выпили по рюмочке...

МАТЬ. Этот алкоголь — ужасная вещь. Отец Ильмара еще зеленым студентиком... тоже любил выпить, но вовремя одумался и бросил. Я надеюсь, дорогая, вы оба серьезно подумаете над моими словами.

КАДРИ (*взрывается*). Это я каждый вечер приучаю его пить. Силой заставляю, а он отбрыкивается.

МАТЬ. Это неуместные шутки, Кадри.

КАДРИ (*отворачивается*). Гм...

МАТЬ (*понимает, что зашла слишком далеко*). Я понимаю тебя, дорогая. Здесь неудивительно стать нервной. (*Раздвигает занавески.*) Этот дым на горизонте — утром, днем, ночью, и эти... терриконы. К этому, наверно, нелегко привыкнуть?

КАДРИ (*пытается взять себя в руки*). Не так уж все это ужасно. Когда Ильмар впервые привез меня сюда, у

меня было почти такое же чувство, как у Крыт* после прибытия на Варгамяэ. Я помню, в тот день моросило и дым стлался низко над городом. Я была просто несчастна. А теперь привыкла. (*Немного оживает.*) Здесь даже по-своему красиво... Чем-то напоминает фильмы итальянского неореализма... Вечером на терриконах зажигаются красные огоньки... И люди такие простые, добрые, не важничают.

МАТЬ. Да-да. Но оставаться здесь навсегда не надо. Лучше и не приучайтесь любить это место. Потом будет трудно расстаться... Но публика тут... эти шахтеры... это же сплошь пропойцы.

Возвращаются Ильмар с отцом. Если не зрители, то обе женщины сразу почувствовали, что мужчины...

ОТЕЦ (*лукаво*). Аккумулятор сел. Пришлось подзарядить.

МАТЬ. Что вам пришлось подзарядить: аккумулятор или...

ИЛЬМАР. Слегка почистили клеммы. Зажигание не срабатывало... К утру будет полный порядок. Может, наконец сядем за стол?

МАТЬ. А руки?

ИЛЬМАР. Мы в гараже сполоснули.

Все садятся за стол. Ильмар разливает коньяк. Мать дает себе налить только полрюмки и зорко следит за сыном, что несколько сковывает последнего. За столом царит какая-то неловкая атмосфера, которую нарушает мать.

МАТЬ (*Кадри*). Значит, ты нашла в себе силы отказаться от своих питомцев... Мне тоже когда-то давно предлагали работу в издательстве — переводы. Прямо на несколько лет, но этот план не удался с самого начала. А все — из-за душевной доброты.

КАДРИ. Вот как?

МАТЬ. Я как раз собиралась подавать заявление об уходе, как вдруг заболела дизентерией. Отвратительная болезнь. Я лежала в инфекционной больнице, а туда, как вы знаете, никого близко не подпускают. Я и не надеялась никого увидеть, как вдруг в один прекрасный

* Героиня романа А. Таммсааре (1878—1940) «Правда и справедливость».

день — это был действительно прекрасный солнечный день — я слышу знакомую песню. Окно было открыто, я подошла к нему и — как вы думаете, — что я увидела? Весь мой класс, все мои ученики до единого — я их пересчитала — выстроились у забора. Они размахивали флажками и пели эту чудесную английскую песенку, ну, вы знаете... (*Поет, размахивая воображаемым флажком.*)

I'll go to mamma's room and look;
Perhaps she may be there;
For kitty like to take a nap
In mamma's easy chair...

Я была тронута до слез. А заявление так и осталось под сукном.

КАДРИ (*с напряжением*). Мне тоже было жаль оставлять своих ребят. Они принесли мне в Женский день подарок. Помнишь, Ильмар? Коробку для торта. Оставили за дверью на полочке. Я открыла коробку и увидела семь зеленых лягушат. У каждого на спинке белой краской было выведено по букве. Вместе получилось слово «счастье». А на дне коробки было написано «Желает Вам ба класс».

МАТЬ (*немного шокирована*). Лягушки! Странный подарок... Лично я бы...

КАДРИ (*прерывая*). Ничего странного. Ведь я преподавала биологию и незадолго до того демонстрировала им, как сокращается под воздействием электрического тока лапка лягушки.

МАТЬ (*почти испуганно*). Живой лягушки?

КАДРИ (*насмешливо*). Я не знаю, можно ли считать лапку, отрезанную у живой лягушки...

ИЛЬМАР (*перебывает*). Кадри! (*Пытается улыбнуться.*) Ты у нас за столом единственный биолог, поэтому...

МАТЬ. Для женщины это слишком... слишком трудная профессия. Я представляю молодую женщину... ученого скорее филологом или, скажем, музыковедом... Но, видимо, на эти специальности наплыв больше.

КАДРИ. А по-моему, все эти литературоведения и музыковедения — переливание из пустого в порожнее. Мне эта болтология просто физически противна.

МАТЬ (*многозначительно*). Дело вкуса.

КАДРИ (*по-прежнему насмешливо*). Пожалуйста,

паштет. Честное слово, он не из лягушатины, а из натуральной телятины.

ОТЕЦ (*чувствуя, что атмосфера сгущается*). Может, споем все вместе? (*На него не обращают внимания.*)

МАТЬ. М-да... Биология требует твердого, каменного сердца. Только с твердым сердцем можно прожить в жизни. Такова жизнь. (*Ильмару.*) А у тебя мягкое сердце. Ты позволяешь сесть себе на шею... (*Напряженная пауза.*) Я имею в виду, конечно, эту фабрику.

ИЛЬМАР (*немного глуповато*). Я тоже воспитываю характер. (*Машинально берет рюмку.*)

МАТЬ (*пытаясь шутить*). За рюмкой коньяка?

ИЛЬМАР. Не только. (*Вспомнив что-то.*) У нас на фабрике есть один парень. Когда ему предложишь вот это (*поднимает рюмку, пьет*), он говорит: «Не могу отказаться. Характер у меня очень сильный. Сам бы отказался, да характер не дает». (*Смеется, остальные молчат. Отец тоже осушил свою рюмку.*)

МАТЬ (*чтобы что-то сказать*). Что это за парень?

ИЛЬМАР. Мой бригадир.

МАТЬ. Твой? То есть твой подчиненный?

ИЛЬМАР. Ну, да...

МАТЬ. Знаешь, я тебе советую соблюдать с ними дистанцию.

Снова неловкая пауза. Отец встает, вытаскивает из внутреннего кармана несколько листов бумаги. Строгий взгляд жены уже не действует на него — он начинает заметно пьянеть.

ОТЕЦ. *Silencium*. «Тишины», как сказал философ.

МАТЬ (*немного изменившись в лице, пытается улыбнуться*). Никак не оставишь свои корпорантские замашки. (*Кадры в глубине души рада, что обстановка обратилась не в пользу «святого семейства», и даже не пытается этого скрыть.*)

ОТЕЦ. Сегодня за нашим столом празднично и светло.

Мы не видались так давно, но сегодня нам повезло.

Грустный, конечно, факт, но я должен сказать

в оправданье, —

между Таллином и Кохтла-Ярве огромное расстояние.

Так полнее бокалы, веселее застольные речи,

нас в экстаз приведет долгожданная встреча!

Все довольны друг другом, у всех радостный вид,

и свекровь, улыбаясь, на невестку глядит.

Дарит свекру невестка озорной свой взгляд,
все берут бутерброды и со вкусом едят.

За столом у нас жрицы Афины — две женщины, два педагога,
одна молода и прекрасна — в роли наставницы
строгой.

А свекровь ее в лучших годах, корпулентна, но в меру.
(*Строит матери глазки, Кадри прыскает.*)

Они обучают малявок азбуке и манерам,
чтобы, встречая взрослых, малявки снимали шапки.
Сидит за столом и мой сын, его поле битвы — шахта,
где, как известно из мифов, ему саламандры служат.
А старый мудрец Дионисий (*показывает на себя*)

живет себе и не тужит.

Он держит речь перед вами и, глядя на ваши лица,
он обещает, что долго речь его не продлится...

(*Оказывается, перепутал листки, импровизирует.*)

Потому что у нас и без этого славное настроение...

... одна молода и прекрасна — в роли наставницы
строгой.

А свекровь ее в лучших годах, корпулентна, но в
меру.

(*Окончательно запутался, импровизирует.*)

Запутался я немного...

Чуть не сказал похлеще,

но не судите строго, бывают и хуже вещи.

И все же, любезные дамы,

я повторяю упрямо:

Ergo bibamus! Ergo bibamus!*

Он вполне доволен своим выступлением. Кадри хохочет — это вовсе не обидный смех, но он задевает мать. Кадри хлопает в ладоши. Отец пытается взять апельсин, но опрокидывает кувшин со сливками. Мать в тихом бешенстве. Кадри приносит тряпку и быстро все улаживает. Наливает отцу новую рюмку.

МАТЬ. Эдуард, на сегодня тебе хватит. Твоя печень... С его печенью шутки плохи. (Берет дольку того самого апельсина, что наделал столько неприятностей. Он, действительно, плохо разрезан.) М-да... Милая невестушка, видно, лягушек ты разделяешь более ловко...

* Стихи перевел М. Вайнгурт.

КАДРИ. Разумеется. Это моя работа.

МАТЬ. Надеюсь, ты их домой не приносишь?

КАДРИ (*теряя терпение*). Конечно, приношу. Я режу их по ночам. И они, бедняжки, так страшно квакают. В будущем собираюсь приносить домой собак и лошадей.

МАТЬ. Кадри!

ИЛЬМАР (*как эхо*). Кадри!

КАДРИ (*смотрит на отца*). Кто-то еще должен сказать «Кадри!»

ОТЕЦ (*не понял*). Прозит! (*Чокается с Кадри. Мать с достоинством встает.*)

МАТЬ. Ильмар, будь добр, проводи меня на балкон. Эти разговоры и этот медицинский запах в вашей комнате... Ты, конечно, извини, Кадри!

КАДРИ. Ильмар, помоги же «мадам маме».

Ильмар в нерешительности встает, выходит с матерью.

ОТЕЦ (*пытается спасти положение, притворяясь, будто ничего не заметил*). Как вам нравится профессия педагога?

КАДРИ (*сквозь слезы*). Очень!

ОТЕЦ. Погромче! Что-то я сегодня слышу хуже обычного.

Кадри переходит на повышенный тон, почти кричит.

КАДРИ. Очень нравится!!!

ОТЕЦ. А как себя ведет Ильмар? Хороший ли он муж? (*Строит глазки.*) Довольна ли им моя маленькая невестушка?

КАДРИ. Так довольна, что дальше некуда!

ОТЕЦ. Помогает ли он тебе по хозяйству?

КАДРИ. Да, он помогает мне по хозяйству.

ОТЕЦ. А дрова он иногда колет?

КАДРИ. Да, он иногда колет дрова.

ОТЕЦ (*лукаво*). Но ведь у вас центральное отопление.

КАДРИ. Ну и что? Ему все равно ужасно нравится колоть дрова. А еще он поливает мои цветочки.

ОТЕЦ. Вот как?

КАДРИ (*почти в истерике*). А еще он убаюкивает меня: «Спи моя крошка, усни»!

ОТЕЦ. Даже так?

КАДРИ (*увеличивает темп*). Он кладет мне в кофе сахар.

ОТЕЦ. Ай-ай...

КАДРИ. Он моет мне спину.

ОТЕЦ. Ты маленькая плутовка...

КАДРИ. Он пришивает пуговицы к моим лифчикам.
Он сочиняет стихи на день моего рождения.
Он приносит мне опохмелиться.

В дверях появляется мать, ее поддерживает под руку Ильмар, у него на лице виноватое выражение. Кадри, заметив их, распаляется еще больше.

Он знакомит со своими папочкой и мамочкой.
Он оберегает меня от радостей жизни.
Он подтирает за мной рвоту в раковине.
Он препарирует за меня моих лягушек.

МАТЬ. Эдуард, я надеюсь, твоя беседа с этим «молодым ученым» закончена! Мы пойдем сейчас к моей школьной подруге Мете. Машина до утра останется здесь. Ильмар позаботится, чтобы на нее тоже не накинулись со скальпелем. *(Отец тут же встает, но с явной неохотой.)* Бедный Ильмар! Ты проводишь нас. Железнодорожная улица, 9. *(Кадри.)* Вы можете в переднюю не выходить.

Ильмар бросает на Кадри несчастный взгляд и с виноватым видом выходит. Кадри некоторое время сидит одна за столом. Затем встает и пересаживается в кресло. Поджимает под себя ноги и остается в той же позе, что и в начале действия.

Конец первого действия.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Та же комната. Кадри по-прежнему сидит в кресле. Судя по всему, она плакала. Но когда входит Ильмар, она гордо вскидывает голову и находит в себе силы быть готовой к бою.

Ильмар попал под дождь, он вытирает лицо и волосы, затем жадно пьет коньяк прямо из горлышка.

КАДРИ. «За столом у нас жрицы Афины — две женщины, два педагога»...

ИЛЬМАР (*медленно, не глядя на Кадри*). Все-таки не удержалась, чтобы не выгнать моих родителей. Ночью им пришлось стучаться в дверь какой-то чужой тетки. Теперь ты довольна, экспериментатор?

КАДРИ. Скажи, в чем я виновата? Все ей тут не нравилось! Ее взгляд говорил: ты противная, бездарная, невоспитанная иждивенка, живодерка, только сосешь кровь моего сыночка...

ИЛЬМАР (*тише*). Зачем тебе нужно было говорить, что поступила в аспирантуру? Оттуда все и пошло...

КАДРИ (*искренне*). Знаешь, это сорвалось как-то нечаянно, к слову. Поверь, я сказала это не нарочно.

ИЛЬМАР. Не нарочно...

КАДРИ. Но ведь о твоём деле я умолчала!

ИЛЬМАР. Умолчала...

КАДРИ. Как ты не понимаешь, что скрывать, изворачиваться... От этого можно с ума сойти. Как все это мерзко, мерзко! Знаешь, кажется, твоя мать учуяла, что у тебя что-то случилось.

ИЛЬМАР (*настороженно*). Думаешь?

КАДРИ. Уверена.

ИЛЬМАР. А с чего бы она могла это взять?

КАДРИ. С чего хочешь. Мне показалось, что она даже побоялась подробнее расспросить.

ИЛЬМАР (*шагает по комнате*). К утру аккумулятор будет в порядке, и они уедут.

КАДРИ. На тебя жалко смотреть. Мне жаль тебя, и себя, и... (*пауза*) даже твою мать. (*Плачет.*)

ИЛЬМАР. Кадри...

КАДРИ. Она прекрасно знает, что у меня за душой не было ничего. Только это кресло... А она захотела и его выкинуть.

ИЛЬМАР. А мы не будем выкидывать.

КАДРИ. А потом она издевалась над моим английским произношением. Я понимаю, что мне нельзя было так себя вести, но я не могла иначе. Она сама довела меня. (*Пытается сквозь слезы улыбнуться.*) А папа у тебя бравый. Этаким симпатичный донжуанистый старичок... петух в отставке...

ИЛЬМАР. Кадри...

КАДРИ. Ну, может, не совсем в отставке. Наверно, раньше он был бойкий петушок, пока его не переехал... этот каток.

ИЛЬМАР. Ты должна попытаться понять... этот каток.

КАДРИ. Почему я должна всех понимать? Сама она ни капельки не старается понять меня. Она ненавидит меня. Всеми фибрами.

ИЛЬМАР (*успокаивает*). Она ведь тоже нервная. Отец, когда они поженились, был довольно зажиточным. А мама — нет. Он здорово выпивал. Мама тайком откладывала деньги, тайком на дому шила. Только для того, чтобы я мог брать уроки музыки, тенниса, фигурного катания, чтобы одевался не хуже других. Вот на это и ушли ее нервы.

КАДРИ (*вспоминает*). «Одет, как куколка, а грязнуля из грязнуль». Мальчик, читающий «Алису». Ильмар, я, наверно, завтра извинюсь перед твоей мамой, что-то я была в растрепанных чувствах...

ИЛЬМАР (*нежно*). Бедняжка. Не надо. Ты и сейчас в растрепанных чувствах. Наша Кадри-растрепана.

Гладит ее по голове. Кадри не противится.

КАДРИ. Ага — растрепана. Знаешь, я вначале даже радовалась, что у тебя эта авария случилась. Думала, может, хоть это тебя образумит. А у тебя как пошли

осечка за осечкой. Теперь те, кого ты раньше считал своими друзьями, встретив тебя на улице, живо перебегают на другую сторону.

ИЛЬМАР. Ну и пускай.

КАДРИ (*радостно*). Конечно, пускай. Было бы хуже, если бы ты один выпутался из этой истории. И постепенно ты превратился бы в большой, важный и пузатый нуль.

Ильмар опускается на ковер перед Кадри. Она тоже присаживается рядом с ним. Вскоре голова Ильмара оказывается на коленях Кадри. Все это означает ритуал примирения, который напоминает им обоим о чем-то светлом, давнишнем. Вероятно, нет необходимости диктовать актерам эти движения, а также интонации голоса. Короче — вся эта пантомима-метаморфоза должна перенести их обоих в некую радостно-лукаво-сентиментальную страну «пай-детишек».

ИЛЬМАР (*напевая*). Большой-большой, важный-важный, пузатый-пузатый нуль.

КАДРИ. Я не хочу, чтобы у меня был большой-большой, важный-важный, пузатый-пузатый нуль.

ИЛЬМАР. Тогда я не буду.

КАДРИ. Не будь!

ИЛЬМАР. Вот и не буду!

КАДРИ. Вот и не будь!

ИЛЬМАР. Ни за что!

КАДРИ. Ни за что!

ИЛЬМАР. Кадри, ты знаешь...

КАДРИ. Я не знаю.

ИЛЬМАР. Кадри, ты знаешь, из чего...

КАДРИ. Я не знаю, из чего.

ИЛЬМАР. Кадри, ты знаешь, из чего сделаны...

КАДРИ. Я не знаю, из чего сделаны.

ИЛЬМАР. Тогда я скажу тебе.

КАДРИ. Скажи мне...

ИЛЬМАР (*напевая*). Из чего сделаны мальчишки?

КАДРИ. Из чего сделаны мальчишки?

ИЛЬМАР. Из лягушки и кота
и щенячьего хвоста.

Вот из чего сделаны мальчишки!

Из чего сделаны девчонки?

КАДРИ. Из чего сделаны девчонки?

ИЛЬМАР. Из булки и крема
и клубничного джема.

ВМЕСТЕ. Вот из чего сделаны девчонки!
Вот из чего...

Звонок.

КАДРИ (*тихо*). Не открывай.

Звонят снова и снова.

ИЛЬМАР. А вдруг это они вернулись?

КАДРИ. Родители? Нет, это не они. Не открывай.
(*Звонят.*)

ИЛЬМАР. А вдруг все же они... (*Ждет еще немного, продолжают звонить. Идет открывать. Вскоре в комнату входит МАРТ в одежде шахтера. Ему около 30, он нетрезв, но этот здоровяк не из тех, кто устает. Этот отважный парень выглядит немного комично потому, что пытается произвести впечатление мужчины еще более отважного, чем есть на самом деле. Он вежливо приближается к Кадри, к которой, видимо, относится с большим почтением, и протягивает ей букет цветов. Затем уже более непринужденно вытаскивает из кармана бутылку водки, ловко открывает ее и ставит на стол. Кадри нахохлилась, но Март пытается отшутиться.*)

МАРТ. Молодуха, не волнуйся. У меня хорошая новость.

КАДРИ. И закуска впридачу.

МАРТ. Хозяйка, сегодня пьянки не будет. У меня безалкогольный день. (*Смеется.*) Какая пьянка — только по полбанке на брата — и домой... Ильмар, присаживайся и чувствуй себя как дома. А новость у меня на самом деле есть.

КАДРИ. Ильмар, мы ведь уже собирались спать. У нас были гости. Завтра тоже день.

МАРТ. День, да не тот. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Послезавтра тоже день.

КАДРИ. Ильмар, выпроводи-ка этого молодца.

ИЛЬМАР. Кадри!.. (*Марту.*) В общем, у нас тут было в плане идти спать.

МАРТ. Правильно сказал: «было». А теперь уже нет, верно? (*Кадри.*) Честное слово, хозяйюшка, пьянки не будет. Раздавим полбанки — и по домам. (*Разливает в стаканы.*)

КАДРИ (*жестко*). Ильмар, выпроводи его!

ИЛЬМАР (*мнется*). Но ведь это неудобно, Кадри... Мы только по две рюмочки... После сегодняшней бо-
дяди это в самый раз. Мы за десять минут...

КАДРИ. Хочешь во что бы то ни стало напиться?

ИЛЬМАР (*умоляюще*). Кадри, ну не будь такой. Ведь человек пришел к нам с новостью.

МАРТ. Да, с новостью. Но коли меня слушать не желаете... включите завтра утром радио — «Последние известия». (*Хвастливо.*) Деньжат подвалит, уж не говоря о славе. Или наоборот! (*Пьет.*) Живем в рабочем государстве, у нас каждый человек — хозяин... Или наоборот. (*Своим тоном он старается рассмешить Кадри, но добивается противоположного. Март заедает водку хлебом и берет ложкой винегрет, при этом он роняет большой кусок свеклы себе на грудь.*)

КАДРИ. У вас винегрет в кармане, рабочий класс... Да пора бы уже и честь знать.

ИЛЬМАР (*беспомощно*). С природной стихией и женщинами, видно, шутить нельзя. Сам видишь, что, наверно, лучше...

МАРТ. Вижу... Вижу, что светской даме зазорно сидеть за одним столом с простым рабочим. А еще я вижу, что в этом доме брюки носит баба.

КАДРИ. Не то вы и брюки пропьете.

МАРТ (*по-настоящему разозлившись*). Ну, знаете ли, даже если бы мы пропивали каждый день по паре брюк, все равно бы хватило денег на новые. В нашей стране рабочему, если он трудится на совесть, деньги платят навалом. А от некоторых кисейных барышень государство отделяется тремя сиреневыми бумажками в месяц.

КАДРИ. Вам меньше, чем навалом, и нельзя. Иначе ни копейки на еду не останется — с голоду помрете. Ведь каждый хозяин заботится об орудиях производства.

ИЛЬМАР. Ну, будет вам — завелись...

КАДРИ. А ты лучше помолчи! (*Март одновременно с ее репликой пренебрежительно машет на Ильмара рукой.*)

ИЛЬМАР. Ну, валяйте, если нравится. (*Выпивает рюмку.*)

МАРТ. Орудия производства... Черт возьми! Конечно, есть и такие, для кого рабочий вообще не человек. А так... чернь, жук навозный... Если у тебя нет

диплома и галстука-бабочки, так ты для некоторых — пустое место. А кто дело делает? Эти — с бабочками? Рабочий в шахте так вкалывает, что от пыли, пота и соплей перед глазами темно. А в газетах пишут — и правильно пишут, — что мы добываем для народа из-под земли тепло и свет. Спрашивается, социализм у нас или нет?

КАДРИ. Глядя на некоторых, трудно поверить.

МАРТ (с хитрецей). Ну, скажи, да или нет? Ведь да! А при социализме как? Каждый получает столько, сколько заслужил. И государство отваливает настоящему работяге в три-четыре раза больше, чем какому-нибудь исследователю комариных ног. Так кого же оно выше ставит, а? Рабочий — вот на ком все держится. Это еще Маркс говорил, и нечего тут вякать.

КАДРИ. Я не вижу здесь рабочих. Здесь двое пьяниц. Вот он получает триста рублей в месяц, все пропивает, и считается, что на нем все держится? Какое у вас образование? Пять классов?

МАРТ. Семь. И других это не касается.

КАДРИ. Выходит, грамоте кое-как обучены. Писать и считать тоже немного умеете.

МАРТ. Что пропью — сосчитать сумею. А еще я знаю, что именно за счет этих денег сочиняются всякие чепуховые стишки и изучаются комариные ноги. Это мы разрешаем!

КАДРИ. Крепко сказано! Хоть стой, хоть падай! Он разрешает — и точка.

МАРТ. Да, разрешаем. У шахтера течет в жилах кровь, а не эта... люмфа.

КАДРИ. Вы, наверное, хотели сказать лимфа.

МАРТ. Лимфа — люмфа, один черт. На этом ни одно государство не продержится, и этим народ не накормишь.

КАДРИ. И все равно мы живем лучше вас. Что вы имеете на свои бешеные деньги? Я говорю, конечно, не про всех рабочих, а про таких, как вы. Телевизор, кровать с никелированными шариками, мотоцикл да хроническую головную боль. Вот и все! А теперь я прошу — оставим эту политэкономия, вы в ней не очень-то разбираетесь, — и ступайте-ка домой.

МАРТ. Погоди. Я еще не закончил. Вот я и говорю, что все держится на нашем труде. И если какого-нибудь прогоревшего инженера опять ставят на ноги и тот

ни за что ни про что получает зарплату, то это тоже делается за наши деньги.

ИЛЬМАР. Это уже про меня...

МАРТ. Понимай, как хочешь... Они тебя быстренько вытянут. Ясное дело!

ИЛЬМАР. Вам все ясно. Послушать вас, так диву даешься, как все в жизни ясно и просто. А мне вот ничего не ясно. (Пьет.)

КАДРИ. Кроме выпивки.

ИЛЬМАР. Правильно. Когда выпьешь, все вещи делаются такими туманными, что иногда кажутся совсем ясными. И я начинаю верить, например, в то, что я пью только оттого, что я пью. А это мне ясно, как день.

МАРТ. Ты оттого погорел, что жизни не знаешь. И рабочему не доверяешь.

ИЛЬМАР. Выходит, не знаю. До сих пор не пойму, почему я простым рабочим зарабатываю больше, чем зарабатывал инженером. И почему у нас допотопные генераторы работают лучше, чем новые. И еще я не пойму, почему я прогоревший инженер. Мне ничего не ясно. (Раздражен, снова пьет.) Завидую я тебе, Март. Тебе все ясно. И как надо выпивать, и что должна наука изучать, и как делать искусство, и кому какую зарплату платить. Начальству моему ясно все то, что можно выразить в тонно-часах, и ясно, как нужно произносить речи. Моей мамочке совершенно ясно, как мы должны жить с женой. А жене тоже кое-что ясно, еще как ясно! Оказывается, вся беда в том, что моя мама носит белые перчатки и что меня в детстве пичкали английским. Оказывается, все зло начинается с моей детской комнаты.

КАДРИ (сильно задета). Ах так, мамочку вспомнил. Теперь на меня набросится... Разойдетесь вы наконец по домам или нет? Хочешь пойду и позову ее сюда?

МАРТ. Что, прямым ходом на таллинский поезд?

ИЛЬМАР. Не дури, Кадри.

МАРТ. А где мамаша-то?

ИЛЬМАР. Пошла ночевать к школьной подруге.

МАРТ. Какого лешего? У вас хата — будь здоров.

ИЛЬМАР. Я ведь уже говорил: тут только что сцепились между собой две ясности.

МАРТ. Елки зеленые! Что, жена мамашу выгнала? А ты где был? Ты разве не мужчина?

КАДРИ. Правильно заметили, Март! Разве он муж-

чина! Даже вас не может выставить... А теперь я пойду и действительно позову ее... (*Встает, идет к двери.*)

ИЛЬМАР (*уже слегка захмелев, преграждает ей дорогу*). Кадри!

КАДРИ. Прочь с дороги!

МАРТ (*с иронией*). Проси женушку на коленях!

КАДРИ. Прочь с дороги!

ИЛЬМАР (*со злостью*). Никуда я тебя не пущу.

КАДРИ (*взбешена*). С дороги! Пустишь или нет?! (*Безуспешно атакует его.*)

ИЛЬМАР. Нет. (*Запирает дверь на ключ.*)

КАДРИ (*ловит ртом воздух*). Об этом ты еще пожалеешь. (*Вся ее злость переходит на Ильмара. Немного погодя подходит к столу, обращается к Марту.*) Тогда давайте пить. Налейте-ка мне рюмочку. Ему не стоит — он слабак.

МАРТ (*наливает*). Ого!

КАДРИ (*тихо, безжалостно*). Сейчас он нюни распустит. Будет веревку искать.

МАРТ. Какую еще веревку?

КАДРИ. Чтобы повеситься. Но он трусит. Только грозит — по понедельникам и пятницам. По вторникам и четвергам он обычно собирается топиться.

МАРТ (*с интересом*). Да что ты говоришь?

КАДРИ. Это правда. Вот этот человек, который только что так героически защищал дверь, хочет, чтобы его жена была одновременно нянькой, психиатром, сестрой и матерью.

МАРТ (*весело*). Может, иногда и женой?

КАДРИ (*наслаждаясь беспомощностью Ильмара*). Крайне редко. Ведь нельзя одновременно служить двум богам.

ИЛЬМАР (*Кадри*). А кто тебя заставляет жить со мной? Что же ты не уходишь, если не нравится?

КАДРИ. Ты не пускаешь, любовь моя.

ИЛЬМАР (*нъет*). Не пойму, отчего это бабы так привязываются к тем, кто был у них первым... (*Он положил ключ на край стола, Кадри пытается его схватить, но Ильмар опережает.*) Ведь ты, женушка, у меня биолог — может, объяснишь, а?.. Да, первый самец действует на женщин так сильно, что они не могут его бросить, по крайней мере такие, как она. Пьянствуй, вытворяй, что угодно. (*Почти с садизмом.*) Это была упоительная ночь... под ее худой попкой была стиральная

доска. Звезды сияли в окне прачечной, а испорченный кран журчал как ручеек где-то далеко-далеко... Да и сама Кадрике хлюпала и всхлипывала, как этот кран. О, это была упоительная ночь, любовь моя!

КАДРИ. Подонок!

ИЛЬМАР. Разве это было не так?

КАДРИ (*собирается с силами для контрудара*). До сих пор я еще от тебя не ушла. До сих пор от тебя была какая-то польза.

ИЛЬМАР (*смеется*). Хо-то! Ты слышишь, Март? От меня была польза. Интересно, какая именно. (*Пьет прямо из горлышка.*)

КАДРИ (*нашла идею для атаки, пытается сохранять спокойствие, больше для Марта*). Какая отвратительная привычка — пить из горлышка; только водку портишь. (*Разглядывает бутылку на свет.*) Ведь я была девчонка из общежития, родители давно умерли. До чего же была противна эта жизнь в общежитии. Побитые плафоны, ржавые койки и запах подгорелого маргарина... Противнее всего были умывалки. Под ногами хлюпает. Раковины рыжего цвета, нужники текут и вечно засорены. Как-то я поскользнулась в темной умывалке и упала, стукнувшись головой о батарею. Я сидела в темноте и редела... Вот тогда я и решила, что возьму себе в мужья этого пай-мальчика. Хотя бы для того, чтобы вырваться оттуда... И, как видишь, вырвалась!

ИЛЬМАР. И теперь ты довольна своей жизнью? (*Он пытается иронизировать, но импровизация Кадри оскорбила его до глубины души, он поверил ее словам.*) Довольна?

КАДРИ (*развязно*). А чем мне тут плохо? Сегодня выставляла твою аристократическую мамашу. Скоро тебя отправлю лечиться от алкоголизма, а квартира достанется мне... Что касается того, первый ты у меня или не первый, об этом потолкуем в другой раз... А теперь я советую тебе идти бай-бай. А мы с Мартом, «светозаром-тепозаром», прикончим эту бутылочку.

ИЛЬМАР. Говоришь, отправишь меня на лечение?... Ты этого никогда не сделаешь!..

КАДРИ. Почему же?

ИЛЬМАР. Не скажу.

КАДРИ. Скажи, радость моя!

ИЛЬМАР. Не хочу тебя огорчать, дорогуша.

КАДРИ (*смеется*). Ты не хочешь меня огорчать?

Что с тобой стряслось? Может, ты сам огорчен, мой бедный бывший возлюбленный?

ИЛЬМАР. Такие женщины, как ты, никогда не оставляют своих мужей, если уж однажды заполучили.

КАДРИ. Какие — такие?

ИЛЬМАР (*выпаливает*). Некрасивые! (*Победоносно расхаживает по комнате, заложив руки за спину.*) Может, я выразился не совсем точно. Некрасивые и несексапильные женщины. Ты не привлекаешь мужчин. Понятно? Ты просто уличный мальчишка в обличье женщины. Даже прыщавые юнцы на тебя не позарятся. Вот поэтому такие женщины никогда не оставляют своих мужей, если уж они чудом попали под венец. Даже горьких пьяниц.

МАРТ (*оторопел*). Ильмар! Ты бы хоть подумал прежде, чем языком трепать.

Кадри сломлена, судорожно глотает слезы, встает и подходит к окну, смотрит в ночь. За окном огромный, заслоняющий горизонт террикон освещен огнями.

МАРТ. Наверно, мне и вправду лучше уйти...

КАДРИ. Не надо! (*После длинной паузы, глухо.*) Сегодня... ты, Ильмар, многое расставил по своим местам. Себя и меня тоже...

ИЛЬМАР. Расставил? Вот и хорошо.

МАРТ. Ты, Ильмар... брось. Все-таки жена... И вообще женщинам такое не говорят.

ИЛЬМАР (*окончательно захмелел*). Прекрасно!.. А теперь я сам пойду и принесу водки. Пойду и принесу. Вот так!

МАРТ. Где ты ее ночью достанешь?

ИЛЬМАР. Захочу — достану. Захочу — до смерти напьюсь!

МАРТ. Не валяй дурака, Ильмар!

ИЛЬМАР. Ты командуй у себя дома! А эта квартира пока еще моя. Все, я пошел. (*В нем проснулась ревность, которую он старается прикрыть грубостью.*) Жена, развлекай гостя! (*Выбегает. В комнате сгущается напряженное молчание. Слышно, как вагонетка с пустой породой взбирается со скрежетом по подвесной дороге на гору и с грохотом опустошается.*)

МАРТ. Он скоро вернется — ему на пользу немного мозги проветрить. Мне... мне, наверно, тоже пора...

КАДРИ (с каким-то отчаянным весельем, басом). Заложим-ка за воротник!

МАРТ. Ого! Вот это женщина. Маленькая, да удаленькая!

КАДРИ. И злая, с острыми зубками, как у крысы? На самом деле, острые?

МАРТ. Как иголки! (Пьет.) А мне это очень нравится.

КАДРИ. На вкус и на цвет товарищей нет. Вот Ильмар только что высказался, что он думает обо мне... Его тип — полные женщины. Ему нужно было вместо крысы взять в жены слонику.

МАРТ. Слонику, говоришь?

КАДРИ. Красивую дебелиую слонику, в кружевах. Мужчинам такие, наверно, больше нравятся.

МАРТ. Мне лично запах пота не нравится. Мне нравятся совсем другие женщины.

КАДРИ. Какие же?

МАРТ. Кадри, этот Ильмар не стоит и ноготка на твоём мизинце. Пошли ты его к чертовой бабушке!

КАДРИ (с кокетством). А мне куда прикажешь деваться? Ильмар сказал все, что он думает. Я некрасивая и, как он еще сказал, несексапильная женщина, на которую даже прыщавые юнцы не позарятся.

МАРТ. Ненормальный он, твой Ильмар.

КАДРИ. Значит, ты не разделяешь его мнения? Выходит, есть и похуже меня?

МАРТ (все больше зажигаясь от бессознательного кокетства Кадри, вызванного горечью). Знаешь, Кадри...

КАДРИ (игриво). Нет, не знаю... А что?

МАРТ. Если бы ты надела вместо этого серого мышинного халата какое-нибудь переливчатое мини-платице... (Март возбужден до предела, но Кадри не замечает этого.)

КАДРИ. Гость желает, чтобы для него устроили небольшой стриптиз?

МАРТ. Знаешь, что я подумал: машина у меня есть, правда, отцовская, но все же... дача у меня есть... деньги тоже есть...

КАДРИ. Ну, ну... дальше...

МАРТ. Слушай. Вот сидела бы рядом со мной образованная женщина. Этакого деликатного строения, не то что эти слоники — девчонки с шахты. Чтобы за словом в карман не лазила, и умненькая, и красивая. Кадри, ты

просто клад... Ты такая... *(подыскивает слово)*... пленительная женщина.

КАДРИ. Да что вы говорите, пленительная. Как ты умеешь тонко изъясняться...

МАРТ. Кадри, не смейся надо мной. Я говорю правду. Ты женщина... ну, как это называется... типа Тигги.

КАДРИ *(встает, кружится по комнате)*. Может, Твигги? О, эта Твигги легче меня на целый пуд. *(Для Кадри слова, сказанные Мартом, конечно, важнее, чем он сам.)*

Март встает, пытается обнять Кадри. Она вырывается.

Только теперь она замечает, до чего довела его.

КАДРИ *(немного испуганно)*. Граждане водители, не превышайте дозволенной скорости!

МАРТ. Кадри! Ты сведешь меня с ума. *(Дверь распахивается, на пороге стоит Ильмар.)*

ИЛЬМАР. Бог в помощь!.. Ничего, ничего — не отвлекайтесь!

МАРТ *(смущен)*. Ну, как... достал?

ИЛЬМАР. Достал — не достал, зато поумнел! *(Берет стул — не для удара ли? — но нет, направляется с ним как лунатик к окну, залезает на стул и из вентиляционного окошка достает бутылку водки.)*

КАДРИ. Ильмар! Ты...

Ильмар зубами сдирает с бутылки алюминиевую крышечку и в несколько глотков выпивает почти половину. Кадри подбегает к нему, намереваясь помешать, но с силой, неожиданной для пьяного, Ильмар отталкивает ее. Кадри падает на диван, стукнувшись головой об стенку. Март встает, кажется, он сейчас набросится на Ильмара, однако после небольшой паузы спешит на помощь к оглушенной Кадри.

МАРТ *(Ильмару)*. Хочешь по зубам получить? В собственном доме, при законной жене? Муж называется...

ИЛЬМАР *(до самого конца действия с какой-то особенной монотонностью и бесстрастностью)*. Какой я для нее муж? Двум богам нельзя служить. Лучше я буду служить этому. *(Снова пьет.)* Да... у эскимосов есть обычай: свою жену предлагают другу. Она у меня не так чтоб очень, но, видно, тебе нравится. Может, сам проверишь?

МАРТ (*в ярости*). Кретин! Не тебе судить о твоей жене: взгляни-ка лучше на себя.

КАДРИ. Март, пожалуйста, уходите.

МАРТ. Сейчас я никуда не уйду. Этот идиот, чего доброго, накинется на тебя с кулаками.

ИЛЬМАР (*с мазохистской радостью*). Это я-то? О, нет... (*Снимает со стены маску Пьеро, надевает ее, берет полупустую бутылку, как гитару.*) Сегодня у меня эта бутылочка, сегодня мне раздолье. (*Гладит бутылку.*) Ты и я, моя дорогая, никогда не оставим друг друга.

Ты не обзываешь меня подонком.

Ты достаешься мне за четыре рублика.

Ты делаешь мир радужным.

Ты говоришь мне, что моя жена верна мне.

Нет, этого ты мне лучше не говори. Мне на это наплевать.

МАРТ (*берет со стола нож, рассматривает его, протягивает Кадри*). На, приложи, а то будет шишка.

КАДРИ (*беспомощно*). Ильмар, иди спать...

ИЛЬМАР (*по-прежнему монотонно*). Этого человека я не знаю. Это странная костлявая и серьезная шлюха. Маленькая серая шлюха-монашка. Я не знаю ее. У нас нет с нею ничего общего. Все, что было, — это недоразумение... Оревуар! (*Берет проигрыватель подмышку и, пошатываясь, идет в спальню, Кадри бросается за ним, но он с силой отталкивает ее. Она падает, остается лежать на полу. Свет переходит в красный полумрак, в спальне оглушительно, на полную мощность звучит блюз «О, Мэмми». Кадри начинает на полу извиваться, встает и с каким-то безумием начинает танцевать, срывая с себя одежду. К этому безрассудному танцу присоединяется Март.*)

МАРТ. Не отталкивай меня, Кадри. Если бы ты... была моей женой. Кадри, не отталкивай меня!

КАДРИ (*вдруг надломившись*). Март, ты сошел с ума. (*Худенькая, белая, почти обнаженная, она стоит беспомощно в снопе света, вскрикивает.*) Мы все сошли с ума! (*Март хватается ее в свои объятия, свет гаснет, музыка становится еще громче.*)

Конец второго действия.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Та же комната. За окном утренний сумрак. КАДРИ лежит на диване, уставившись в потолок. ИЛЬМАР осторожно двигается по комнате — прибирает на столе, расставляет стулья. Его поведение определяют три основных фактора: крайнее отчаяние, желание восстановить провалы в памяти и стремление выглядеть «в форме».

ИЛЬМАР. Смотри, у одной чашки ручка отбита. Это, наверно, Март... Он неплохой парень, но манеры — скажем, не высший класс. (*Ждет, чтобы Кадри отреагировала, но, не дождавшись ответа, не дает паузе перерасти в многозначительное молчание.*)... И надо же было ему напоследок к нам заявиться... Но ведь не прогонишь человека?... Ну и денек вчера выдался! (*Часы бьют шесть.*)... Может, принести тебе боржоми... или кефира? Что? Да, денек был мрачноватый... Сперва отец с матерью... эта ссора, а потом... Как все это теперь образуется? Да еще мы сами наговорили вчера друг другу разных гадостей. Послушай, я тебе сейчас принесу боржоми. Сразу полегчает.

КАДРИ. Принеси мне лучше рюмку водки!

Молчание.

ИЛЬМАР (*удивленно*). Водки? Так ведь всю выпили...

КАДРИ. А ты пошуруй в вентиляторе.

ИЛЬМАР. Чудачка... Там больше нет. Как-то зашел ко мне Март, а у меня бутылка на столе, вот я ее и засунул подальше, чтобы в ход не пускать.

КАДРИ (*крайне устало*). И не надоело сочинять...

ИЛЬМАР. Неужели тебе так плохо? (*Ответа нет.*) Но

ты постарайся пока не хотеть... ведь эти могут скоро прийти.

КАДРИ (*хрипло*). Принеси же наконец! Только одну рюмочку. Неужели не осталось даже на донышке?

ИЛЬМАР. Может, лучше не надо?

КАДРИ. Для себя бережешь? Принеси! И воды не забудь. (*Ильмар идет на кухню и, действительно, возвращается с рюмкой водки и стаканом воды, ставит их на диванный столик.*)

КАДРИ (*пьет воду*). Так. А это сам выдуй. Я же вижу, что ты прямо трясешься... Лучше пей на моих глазах, чем тайком...

ИЛЬМАР (*слушается*): Что-то я не помню... в котором часу ушел Март...

КАДРИ (*чрезвычайно спокойно*). После половины шестого.

ИЛЬМАР. Половины шестого?!

КАДРИ. Ну да. Он только что ушел.

ИЛЬМАР (*хрипло*). Могла бы разбудить меня...

КАДРИ. Зачем? Как-то не сочла нужным.

ИЛЬМАР (*боится спросить напрямик*). Ты, бедняжка, наверно, вообще глаз не сомкнула?... Этот Март — удалой парень, но иногда уж очень утомляет.

КАДРИ (*довольно грубо*). Можешь не волноваться! На твою жену никто не позарится.

ИЛЬМАР (*несколько успокоившись*). Неужели я... вчера так ляпнул... Я не верю, что в точности так... Но... знаешь, ты сама тоже перешла все границы. Ты сказала, что вышла за меня только потому, что у вас в общезитии... уборные были засорены или что-то в этом роде. И все это при Марте... Нет, в последнее время мы явно едем не в ту сторону. Не в ту. Конечно, в этом моя вина. Но моя мать была права по крайней мере в одном: отсюда нужно смываться. Слишком много знакомых развелось — один хуже другого... (*Ходит по комнате, заложив руки за спину, старается убедить себя и Кадри.*) Самое время сменить климат. Пускай зарплата будет меньше, но тут оставаться я больше не могу. Я не выдержу... Ты это сама видишь. Зола... сажа и... (*Подходит к окну, смотрит на серый утренний промышленный пейзаж.*)

КАДРИ. Пожалуйста, иди!

ИЛЬМАР. Что значит «иди»?.. Я вижу, у тебя тоже нервы сдали. Это, наверно, я сделал тебя истеричкой...

КАДРИ. Да, ты.

ИЛЬМАР *(более нежно, подсаживается к Кадри)*. Деньги для нас не проблема. И, наконец, пора подумать о... малыше. Теперь я уже не возражаю. Кадри, ведь ты тоже считаешь, что нам уже пора стать папой-мамой?

КАДРИ. Не хочется... Да и уже боязно.

ИЛЬМАР. Что значит «боязно»?

КАДРИ. Твоя жена биолог и знает о таких вещах немного больше, чем ты. Кое-что пришлось повидать... Да еще какое множество вариантов! А какие все изысканные названия: алькаптонирики, монголоидные идиоты, ретинобластомики — они, как правило, слепнут; фенилкетонурики — у них чернеют хрящи и закостеневают, а моча черная, как уголь. Ты бы хотел, чтобы у нас родился такой ребенок, любовь моя?

ИЛЬМАР *(встает)*. Зачем ты меня мучаешь? У этих уродцев, небось, предки пили несколько поколений подряд... а за пару лет ничего не случится...

КАДРИ. Если бы так... Лечебницы эти растут, как грибы. Конечно, в газетах о них не распространяются, но число коек и повышение зарплаты идут по восходящей бок о бок...

ИЛЬМАР. Нужно уезжать отсюда, пока не поздно. Ведь еще не поздно?

Молчание.

КАДРИ *(со странной монотонностью)*. Поздно, любовь моя... Мне было очень хорошо. Мне было очень-очень хорошо с Мартом...

ИЛЬМАР. Что?

КАДРИ. Твой друг такой большой, но такой нежный.

ИЛЬМАР. Что ты этим хочешь сказать?..

КАДРИ. Я ничего не хочу сказать, но ты хочешь узнать. Я же вижу, что ты хочешь спросить, но боишься.

ИЛЬМАР. Кадри, скажи, что здесь произошло.

КАДРИ. Именно то, что ты думаешь.

Пауза.

ИЛЬМАР. Скажи, что это неправда, Кадри! *(Пытается ее поцеловать, но она отворачивается.)* Ведь ты врешь! Почему ты молчишь? Я не верю... А если... если это так, то он применил силу. Да?

КАДРИ. Больше всех в этой комнате вчера применял силу не Март, а кто-то другой.

ИЛЬМАР. Значит, все же правда. Говоришь, тебе было хорошо?! Очень хорошо!!! И наши бабочки... *(Хватает коллекцию с бабочками.)* Тогда конец! К черту все! К черту все воспоминания! *(Швыряет коллекцию на пол, она разбивается.)*

КАДРИ *(встает и наблюдает, как бабочки, будто конфетные обертки, плывут по комнате, падают, крошатся. Она не может придумать ничего лучшего, как броситься собирать эти жалкие остатки. Поднимает с полу несколько бабочек и подбрасывает их к потолку, будто в полусне.)* *Limenitis populi* — зорька. Обитательница влажных лиственных лесов. Была поймана 7 июля недалеко от Киллинги-Нымме. Помнишь, у тебя еще мотоцикл забарахлил, и мы заночевали на сеновале... *Nymphalis antiopa* — траурница... Какие красивые бабочки, как я их люблю. Нет ничего прекраснее, чем жить в ливне бабочек, когда вокруг тебя такие милые, добрые, чуткие люди. Рай среди бабочек.

Свет делается неожиданно ирреальным. До самого конца этой сцены может звучать одна протяжная нота, например, синус тон. Кадри остается одна в луче света, тут же рядом с нею появляется МАТЬ.

МАТЬ. Кадри, доченька! *(Гладит ее по голове.)* Ведь я могу называть тебя дочерью? У меня не было дочки, а мне так хотелось.

КАДРИ. А я не помню своей матери...

МАТЬ. Я простая женщина, но я постараюсь дать тебе все, что смогу. Хоть насильно. Ой, Кадри, у меня как раз есть чудесный рецепт: торт «Reverie» — «Мечта». Бери карандаш и бумагу. Самое главное — тесто. Двенадцать яиц, — конечно, свежих...

КАДРИ. Мама, я должна тебе что-то сказать. У нас с Ильмаром...

МАТЬ. Записала? Двенадцать свежих яиц... двенадцать...

КАДРИ. У нас с Ильмаром... Я не знаю, что с нами происходит... Мы больше так не можем...

МАТЬ. Так... Дальше майонез «Особый». Все это, разумеется, перемешать, взбить и сверху залить сливками...

КАДРИ. Но ведь мы любим друг друга.

Из темноты рядом с Ильмаром появляется ОТЕЦ.

ОТЕЦ (*смеется*). А тут как раз муж возвращается домой, видно, учуял недоброе и принимается искать любовника. Первым делом заглядывает под кровать, говорит: «Здесь его нет».

ИЛЬМАР. Дай мне совет, отец... Я...

ОТЕЦ. Затем отодвигает занавеску и говорит: «Здесь его тоже нет».

ИЛЬМАР. Мы зашли в тупик.

ОТЕЦ. Заглядывает в ванну и говорит: «И здесь его нет».

ИЛЬМАР. Где же выход?

ОТЕЦ. Вот именно — выход. Заглядывает в прихожую. «И тут его нет».

ИЛЬМАР. Отец, мы не знаем, как дальше жить...

ОТЕЦ. Тут он открывает дверцу шкафа — любовник, конечно, там, — закрывает ее и говорит: «И тут его тоже нет».

Из темноты появляется МАРТ.

МАТЬ. А это кто там? Наверно, один из друзей Ильмара?

КАДРИ. Это Март. Необыкновенный парень, только у него один недостаток, он не умеет танцевать. (*Шепчет что-то матери на ухо.*)

МАТЬ. Это мы быстренько исправим.

Мать и Март танцуют. Вскоре к ним присоединяются Ильмар и Кадри.

МАТЬ. Смелее, Март. Раз-два-три-четыре. Не будьте таким стеснительным.

МАРТ. Некогда было учиться. Раз-два-три-четыре.

МАТЬ. А хоккей вы любите?

МАРТ. Машина у меня есть, дача есть, сейчас строю финскую баню. Раз-два-три-четыре. Закажу серию «Мировая литература».

МАТЬ. Что же вас интересует?

МАРТ. «Божественная комедия» Данте. Но где ее достать?

МАТЬ. А что вы думаете о нашей литературе?

МАРТ. Раз-два-три-четыре. Вы так хорошо танцуете! Какая легкость!

К танцующим подходит отец.

ОТЕЦ. Два плюс два равно пяти. (Начинает песенку «Баба сеяла горох. Прыг-скок! Прыг-скок! Обвалился потолок. Прыг-скок! Прыг-скок!» Все берутся за руки и танцуют. Бьют часы. Иллюзорный свет исчезает и вместе с тем исчезают отец, мать и Март.)

Кадри и Ильмар на коленях подбирают с пола бабочек. Часы бьют семь. Они долгое время собирают бабочек, избегая встретиться взглядами. Когда оба начинают говорить, то очень тихо — они словно боятся собственного голоса.

ИЛЬМАР. Уже семь пробило.

КАДРИ. Да, уже семь... (Собирает.) Ни одной не уцелело.

ИЛЬМАР (несмело). Хорошо, что хоть сегодня на работу не надо идти.

КАДРИ. Я... Мне нужно идти...

ИЛЬМАР. Что?

КАДРИ. Я должна идти...

ИЛЬМАР. Кадри, ты... куда?..

КАДРИ. Не спрашивай, пожалуйста, ни о чем, Ильмар... Я не могу тебе помочь. Ты, как поезд, зашел в тупик, а я не знаю, как тебя оттуда вывести. Скоро и я начну пить. Нет, Ильмар, теперь конец! Больше не уговаривай. Так нам обоим будет легче.

ИЛЬМАР. Кадри?

КАДРИ. Я пойду уложу свои вещи. (Улыбнувшись.) Их не так уж много — уместятся в один чемодан. Только вот кресло... его я заберу потом. Чем раньше, тем лучше. (Уходит в другую комнату.)

ФИНАЛ

С лестничной площадки доносится пение. Стучат. Ильмар не реагирует. Входит группа рабочих, среди них несколько женщин. Одежда всей компании характеризуется эклектичностью: на обладателе солидного темного костюма зеленая охотничья шляпа или кирзовые сапоги, на владелице ватника красуются лаковые туфли на высоких каблуках и т. д. Вся ватага в великолепном настроении, особенно баянист, но некоторые более сдержанны, если помнить о том, что недавно происходило на наших глазах.

(Почти) все (поют). Дорогой длинною и ночью лунною

и с песней той, что в даль летит, звеня,
и т. д.

КТО-ТО. Здорóво, начальник!

КТО-ТО. Ого, да тут уже это дело обмывали!

КТО-ТО. Ильмар, выходит, тебе уже известно, коли пируешь?

Молчание.

ИЛЬМАР. Что известно?

КТО-ТО. Нет, он еще не знает. Подождем, ребята! Через четверть часа он услышит сам.

На столе появляется бутылка шампанского, круг колбасы и т. д. Баянист хочет продолжить песню, но его удерживают. На протяжении всей следующей сцены он время от времени порывается заиграть «Дорогой длинною...». Кто-то из девушек берет щетку и начинает сметать остатки бабочек в кучу, другая прибирает на столе.

КТО-ТО. Ильмар, старина, что за привычка у тебя сторониться рабочих? Вроде бы стесняешься нас... А зря. Но мы-то знаем, что ты свой в доску, да притом и башковитый. В общем, парень ты нашенский. Как

поется в песне: «Мы дружбу с тобою несем по волнам, мы хлеба горбушку — и ту пополам!»

КТО-ТО (*перебивает*). Верно! Когда мне в конторе хотели премию зажить, кто за меня постоял? Ильмар Паомээс! И отстоял!

КТО-ТО. Послушай, старина, ты чего такой кислый? (*Открывает бутылку шампанского, полушутя-полуна- сильно прижимает ее ко рту Ильмару. Тот вначале хо- чет отказаться, но тут же пьет, захлебываясь. Делает вдох, снова пьет. Кто-то кричит: «Туш!» Баянист играет нечто похожее.*) Правильно! Все надо делать от души — и вкалывать и поддавать!

КТО-ТО. Знаешь, Ильмар, мы тут вчера как раз гово- рили, деньжата крупные ожидаются — скоро сам услы- шишь. Вот мы и подумали, зайдем-ка к Ильмару — потолкуем. Ты нас уважаешь — мы тебя уважаем. Так вот, возьми как-нибудь супругу с собой и выйди на люди. Все честь честью — жена и прочее. В субботу можно устроить небольшой сабантуй. Послушай, а где твоя благоверная?

ИЛЬМАР. Видите ли, она... (*Бормочет что-то*).

КТО-ТО. Приведешь свою молодуху, познакомим ее с нашими девчатами. Ведь мы тут все свои люди. Встрях- немся немного. Посидим, попоем... (*Баянист: «Дорогой длинною». На этот раз к нему все же присоединяются, и один куплет, вероятно, доневают до конца.*)

КТО-ТО. Послушай, мадам спит, что ли?

ИЛЬМАР (*увеливая*). Дайте-ка еще раз глотнуть. (*Пьет.*) Что это у вас такие старые песни? Репертуар — прямо скажем, с бородой. (*Поет сам.*)

Что-то стало холодать!

Не пора ли нам поддать!

Все чувствуют, что с Ильмаром происходит что-то не- ладное. Его песня звучит не лихо, а скорее жутко.

I ЖЕНЩИНА (*второй женщине, тихо*). Что-то Ильмар сегодня не в себе. Наверно, мы пришли не вовремя. Мо- жет, у него беда какая или несчастье...

II ЖЕНЩИНА. Ну, скажешь — несчастье... А если что-то и случилось, не оставлять же человека одного в беде.

ИЛЬМАР (*с наигранной удалью*). Ну, чего ж вы не поете? Отличная песня. Главное — на тему.

КТО-ТО. Жена у тебя спит, что ли?

ИЛЬМАР. Нет, она вышла ненадолго... Да что вы все о моей жене? Вон сколько вокруг прекрасных женщин! И моя зазноба Таня здесь. *(Пытается шутить, но это выходит у него фальшиво и неумело.)* Светоч грез моих...

ТАНЯ *(вначале тоже отшучивается)*. Где уж нам теперь... Такое высокое начальство...

ИЛЬМАР. Какое я начальство? Это ты — мое начальство. *(Поет)*. «На тебе сошелся клином белый свет...»

ТАНЯ. И не стыдно, начальник... сам женатый.

ИЛЬМАР. Таня, с этой минуты я посвящаю свою жизнь воспеванию твоей красоты. *(Некоторые смеются, другие, наоборот, мрачнеют. На баяниста, который опять порывается играть, буквально прикрикивают.)*

ТАНЯ *(немного недовольно)*. Хватит трепаться!

ИЛЬМАР. Почему треп! Откуда ты знаешь, может, я с сегодняшнего дня снова холостой? *(Таня берет щетку, продолжает подметать)* Ох, Таня, Татьяна, отрада моя! Отчего ты, Танюша, не любишь меня? *(Надевает маску Пьеро, опускается на одно колено.)*

ТАНЯ *(испытывая неловкость)*. Не мешай! Отойди!

КТО-ТО. Хватит тебе с девчонкой балаганить. На, хлебни-ка еще глоток. Полегчает...

ИЛЬМАР *(стоит на одном колене, пытается поймать Таню за туфлю. Начинает арию Гремина)*.

Онегин, я скрывать не стану,
безумно я люблю Татьяну...

В дверях появляется Кадри, ее замечают все один за другим, кроме Ильмара. Он же продолжает петь в наступившей тишине, пытается поцеловать туфлю Тани.

КТО-ТО *(тихо)*. Мы ведь еще должны забежать к Феде.

КТО-ТО *(тихо)*. Ага, обещали.

КТО-ТО *(тихо)*. Но Ильмар так и не знает новости.

КТО-ТО *(тихо)*. Ничего, услышит по радио.

Все поспешно направляются к двери, это выглядит почти как бегство. Кто-то включает радио. Таня исчезает вместе с другими. Кадри неуверенно входит в комнату. В руках у нее чемодан. Ильмар молчит.

КАДРИ *(в зал)*. Уходите все! Вы тоже! Чего вы тут торчите? Мы еще сами не знаем, что с нами будет

дальше. (Ставит чемодан на пол. По радио начинают передавать последние известия.)

Занавес наполовину закрывается.

РАДИО (профессионально-бодрый голос диктора). На днях были подведены итоги производственных показателей за первое полугодие. Впервые в нашей республике признана лучшей пятая бригада проходчиков открытого карьера Пахтла-3, которую возглавляет молодой инженер Ильмар Паомээс. Бригаде присуждено переходящее красное знамя и первая денежная премия. «Кроме больших трудовых успехов, — отметил в беседе с нами директор Пахтлаского комбината товарищ Мурак, — бригада отличается большой сплоченностью и высокими моральными качествами. Каждый третий шахтер учится, вместе работают, вместе проводят и свободное время».

ИЛЬМАР. Кадри! (Молчание.)

ИЛЬМАР. Кадри, ты знаешь? (Молчание.)

ИЛЬМАР. Кадри, ты веришь? (Молчание.)

ИЛЬМАР. Кадри, ты знаешь, из чего?.. (Молчание.)

КАДРИ (надломленно). Я не знаю, Ильмар.

ИЛЬМАР. Кадри, ты знаешь, из чего сделаны мальчишки?..

КАДРИ. Из чего сделаны мальчишки?

ИЛЬМАР. Из лягушки и кота
и щенячьего хвоста.

Вот из чего сделаны мальчишки!

Из чего сделаны девчонки?

КАДРИ. Из чего сделаны девчонки?

ИЛЬМАР (умиротворенно). Из булки и крема
и клубничного джема!
Вот из чего сделаны девчонки!

Волшебные слова больше не помогают. Оба покидают сцену, разойдясь в разные стороны. Музыка: «О, Мэмми». На сцене остается чемодан.

Занавес.

ЯЙЦА ПО- КИТАЙСКИ

Маленький роман

1

Сегодня был хороший день, — записываю я в свою толстую коричневую тетрадь.

Сегодня был хороший день — никто не пришел меня навестить. После обеда я узнал, что Агнес повезли рожать; я уж и сам об этом подумал, потому что она обычно не пропускала дней посещения больных. Рожать — работа трудная, и, по всей вероятности, я увижу свою жену не раньше, чем недели через две.

Во вторник Агнес пробыла у меня почти три часа. Живот у нее был огромный, она тяжело дышала и потела, ее чудесные темные волосы, которыми еще три четверти года назад я любил обвивать свои запястья, теперь были прямыми и жирными. Мы сидели в парке под осиной, которая источала кисловатый запах и все время напоминала мне о моем раке; отчего-то у меня зудело в паху, но я не мог чесаться на глазах у гуляющих. К тому же я должен был без умолку болтать и следить за выражением своего лица, чтобы оно было Агнес по нраву.

Да, Агнес сильно потела, и я заметил, что соски у нее здорово набухли — сквозь влажную и туго натянутую блузку это особенно бросалось в глаза. Агнес перехватила мой взгляд и доверительно шепнула, что если она надавит на них, то выходит такая беловатая жидкость... «Пища для малыша уже готова», — сказала она одновременно гордо и смущенно и захотела узнать, доволен ли этим я.

Мне было неловко, потому что проходившая мимо Яника посмотрела на нас; я сказал, что доволен, и добавил, что очень хорошо, если знаешь, что после себя ты оставил что-то в этом мире. Мой ответ понравился Агнес, но она тут же должна была начать меня убеж-

дать, что я не смею и заикаться о смерти, тем более, что с каждым разом я выгляжу все лучше. На том и порешили.

После небольшой паузы Агнес сказала, что скоро они придут навестить меня вдвоем. Лицо ее было немного торжественное, когда она произносила это «вдвоем», — в этой торжественности было что-то от богородицы, — и вдруг я почувствовал себя как бы оттесненным в сторону. Когда женщины говорят нечто подобное и при этом еще так смотрят, мужчине, наверно, не остается ничего другого; мужчина под взглядом мадонны — воздух, ведь и на старинных картинах глаза мадонн устремлены куда-то туда, где пересекаются параллельные прямые, и во всем их облике такая непричастность к мужчине, что впрямь начинаешь верить, что можно забеременеть от святого духа. Вот и Агнес так же смотрела поверх моей головы, и от ее взгляда мне стало как-то зябко.

Сегодня был по-настоящему хороший день. Меня рвало только один раз, а вечером я вышел прогуляться в парк. Я прошел в самый конец, туда, где несколько овощных грядок и компостная куча с упитанной тыквой.

Три четверти часа я просидел на старом ящике из-под гвоздей и прислушивался к воздуху. Компостная масса была жирная, влажная, насыщенно-черная ипряно пахла — меня даже слегка одурманило. Земля вкусно пахнет. Есть люди, которые предпочитают кремацию, я к ним не принадлежу. Быть сожженным — это значит уклониться от чего-то, да к тому же индифферентности пепла достигают, лишь пройдя все стадии жаркого.

Когда я сидел на ящике из-под гвоздей, у меня возникли интересные мысли. Я разглядывал тыкву, разлегшуюся на компостной куче, и обнаружил, что в ней тоже есть что-то от мадонны или матроны — та же умиротворенность. Этакая степенно желтая и стоическая — она вся ушла в себя. На компостной куче рос еще кустик лютика, но почему-то на этом богатом корму он совсем захирел. Возможно, в этом были виноваты крысы, которые, дерясь за лучшие куски, повредили ему корни. Цветки лютика были гораздо желтее, чем тыква, и блестели, но это не был самоуверенный желтый цвет. Эти водянисто-желтые цветки были как-то навязчивы, и вдруг мне вспомнилась Имби — угловатая

девчонка из моего детства, нёряшливая, с обгрызанными ногтями, в каждом классе она сидела по два года, на школьных танцах всегда стояла у стены; ее уже пятнадцатилетней видели шныряющей у пивных ларьков. Мне показалось, что теперь я понял, почему желтый цвет порой считается развратным, и я был доволен этим своим открытием. До больницы над такими вещами я не задумывался.

Так сидел я на ящике, размышляя над порочной окраской лютика, и нашел, что все это: тыква, лютик и прочее — образует весьма красочную композицию. Хорошо вписывалось сюда и заходящее солнце: оно как раз освещало компостную кучу и было какое-то сыто-красное. Во всяком случае, в этом натюрморте было довольно много жизненной силы.

Но вот уже и солнце село, лютик стыдливо поник; голоса, доносящиеся из-за забора, проступили явственнее. Гармошка затянула какую-то русскую песню: играли у железнодорожной насыпи, где по вечерам сидят мужики и потягивают пиво. Еще я различил где-то вдали удары по мячу и визг трамвая на поворотах. Я представил трамвай и жителей нашего города, которые едут домой; в сумках у них бутылки с молоком и пачки фарша. Они едут в старом, лязгающем и взвизгивающем на поворотах трамвае и читают в вечерке последние новости о мировых событиях.

Мне стало прохладно.

Я встал и осторожно направился к больнице по тропинке, которую обступала крапива. И крапива показалась мне вдруг прохладной, гораздо прохладнее, чем другие растения. А почему, я не мог объяснить: я был озабочен, как бы не обжечь ноги, — эта крапива, бывает, кусается и через тонкое больничное белье.

Выбравшись на аллею, я остановился, посмотрел на нашу большую белую больницу в конце аллеи и ее величественные колонны. В некоторых палатах уже зажглись огни, с кухонного крыла доносился стук посуды. Сегодня больница показалась мне особенно внушительной, и, кроме того, она была какая-то такая, какими бывают большие дома в сновидениях. То было ощущение конечной остановки. Я долго стоял и смотрел на нашу больницу, ощущая какую-то смесь страха и умиления: ведь это здание теперь мой дом.

На лестнице мне встретился мужчина с папкой для рисования. Его зовут не то Лео, не то Леопольд. Мысленно я окрестил его Леопольдом. В другой руке он держал коробку с красками и пустую банку. Леопольд — самодеятельный художник (ну и дурацкое выражение!), он каждый день несколько часов подряд пишет акварелью. Как раз он возвращался со своего занятия и, казалось, был весьма доволен собою. Я спросил у него, нашел ли он какой-нибудь новый мотив или упражняется на старом месте. Я это потому спросил, что мне пришла мысль посоветовать ему рисовать вместо покойницкой ту компостную кучу. Умей я рисовать, непременно бы попробовал. Слово «упражняется» его, видимо, задело за живое: он ворчливо ответил, что и сегодня писал, где обычно.

Мы тут все знаем, что никакого рака у Леопольда нет. Но сам он в это не верит, в какой-то мере я понимаю его. Врачи, наверно, и не подозревают, что больные, которых отвозят в операционную, всегда засекают время. Если возвращаются через полтора, два, тем более три часа, то надеются на выздоровление: врачи хоть что-то сделали. У Леопольда же все это длилось лишь сорок пять минут; столь короткая операция бывает только, если рак удалить уже невозможно или если его там попросту нет. Последний случай, конечно, исключительный, так как в девяти случаях из десяти уже рентген и всякие эти гастро-, цисто- и прочие скопии дают правильный ответ. И точно, у Леопольда оказались лишь какие-то там спайки, но сам он считает себя верным кандидатом на тот свет.

Поэтому то, что Леопольд изо дня в день рисует покойницкую, кажется другим больным ребячеством, и многие подтрунивают над ним. Интересно, если бы на самом деле у него в животе произрастал рак, было бы это его увлечение менее ребячливым? Во всяком случае, отношение Пээтера к своей смерти — совершенно противоположное — было ничуть не лучше. О Пээтере, с которым мы были приятелями и который умер месяц назад, я еще расскажу.

Я не хотел, чтобы Леопольд сердился, и поэтому спросил у него, не подарит ли он мне что-нибудь из своих работ, но Леопольд ответил, что все они нужны

ему самому. Так как я искренне желал ему добра, а рисунки Леопольда были весьма посредственными, то теперь уже пришел мой черед обидеться. Ни о чем его не расспрашивая больше, я ускорил шаги. Когда дошел до своего коридора, услышал, что он меня окликает. Я остановился, он подошел ко мне. Мне показалось, что Леопольд немного смущен, он сказал, что если мне на самом деле нравятся его рисунки, он с удовольствием даст мне любой.

— Я знаю, вы любите искусство и понимаете в нем толк, — сказал он и предложил мне зайти к нему, например, завтра утром и взять один рисунок, на выбор. Переминаясь с ноги на ногу, он щурил свои воспаленные, без ресниц, глаза. Я обещал зайти.

3

Итак, в этой больнице я уже больше трех месяцев, а мысль вести записи пришла ко мне совсем недавно. Люди, путешествуя, имеют обыкновение писать путевые заметки, и, в конце концов, мое путешествие ничуть не менее весомо, чем поездка в какую-нибудь Швейцарию, на Ближний Восток или даже на Огненную Землю. Может, это утверждение и хвастливо, но оно недалеко от истины.

Я верчу в руках свой дневник, раскрываю его посередине: так хотелось бы знать, где первая из тех страниц, которые уже не будут мною заполнены. Когда я однажды прекращу эти записи — а такое время наступит, — я прочитаю свои заметки от начала до конца. Уверен, что это будет очень интересно. Смотри-ка, — подумаю я тогда, — вначале, то есть сейчас, я и не знал, что доживу именно до этого места и пройду именно такой путь, какой прошел, и буду чувствовать себя именно так, как чувствую. Дело, которое не нужно доводить до конца, приятно начинать. Но следует признать, что в данном случае этой незаконченности все же будет присуща известная завершенность.

Мысль о заметках получила начало с коричневой тетради.

Раз в неделю в нашем главном коридоре работает лоток, там мы можем купить письменные принадлеж-

ности, бумагу, кое-что из книг. Я книг не покупаю — у меня свои; а эта тетрадь в обложке бронзового цвета мне очень понравилась. Я попросил одну тетрадь, но тетя Виктория протянула мне в синей обложке.

«Нет, не та», — сказал я и взял с лотка своей рукой эту коричневую тетрадь, которая сейчас лежит передо мной на столе. Аддисонову болезнь называют еще бронзовой болезнью: моя ладонь и обложка тетради точь-в-точь одного цвета, я спросил у тети Виктории, неужели она сама не видит, что коричневый цвет мне идет больше. Она не поняла моего намека, и я вынужден был прямо сказать ей, чтобы она сравнила цветовые оттенки. Наконец она догадалась: эта добрая женщина стала давиться от смеха. Точнее, смеялись ее огромные пурпурно-зоровые щеки, так как маленькие бледно-голубые глазки и крошечный эллипс влажного и розового рта (туго сжатого, словно в губы была продета толстая бельевая веревка) скрывались под двумя пухлыми холмами. Виктория смеялась, ее щеки забавно колыхались, и я подумал, что на таком лице нелегко приходится ее глазам: эти два тусклых озерца совершенно исчезали в содрогавшемся от землетрясения красногорье — еще миг, и они будут вытеснены из своего ложа.

Она смеялась надо мной — смех ее по правилам больничной этики был бы сурово осужден врачами, но мне он чем-то понравился. Ведь это был смех над моей болезнью, над честью коричневого мундира всех больных Аддисоновой болезнью. Когда я через несколько месяцев окажусь в своем последнем пристанище, низком кирпичном здании, которое так вдохновляет музу Леопольда, и там на время перейду в распоряжение тети Виктории (Агнес придется выложить трешку, а то и пятерку), она непременно вспомнит мою остроту. Я уверен, что к тому времени, когда я предстану перед нею на оцинкованном столе нагой, я покоричевею еще больше.

«Большой шутник был», — скажет тетя Виктория, если, конечно, вспомнит мою мазохистскую выходку, и примется меня рьяно отдраивать своими толстыми, как дубинки, руками. Большой шутник — это звание даст мне определенное преимущество перед остальными безмолвствующими на соседних столах собратьями по несчастью.

Наверно, считается, что нам ничего не известно об основной должности тети Виктории. Но мы ничего не имеем против этого ее занятия и охотно покупаем у нее разное писчебумажное добро.

4

Щитоноски — плоские и приземистые насекомые цвета старой меди. По форме они напоминают автомобили на воздушной подушке, которые все чаще мелькают на страницах иностранных журналов. Щитоноски пожирают свекольную ботву. Ползают они медленно, как клопы.

Мы пропитали вату и кусочки марли новым составом, поместили в специальные конусообразные колбы и зарыли их между грядками по самое горлышко в землю. Ночью зажгли в колбах маленькие лампочки, которые получали ток от главной батареи. Лампочки засветились среди свеклы, как маленькие злые кошачьи глаза, и вдруг мне показалось, что земная поверхность — это хрупкая крыша; в ней просверлены отверстия, через которые струится свет из верхних залов земли.

Мы стояли среди грядок. Вначале боялись даже шелхнуться, чтобы не спугнуть насекомых хрустом листьев. Потом уже не боялись, потому что они все ползли и ползли. Щитоноски двигались длинными колоннами по жирно заблестевшим при свете, словно покрытым лаком, листьям и, плюхаясь с тонких лиловых свекольных стеблей, валом валили к нашим колбам. Они ползли вереницами, и ни одна колонна не останавливалась ни на миг.

Мои сотрудники, увидев, что опыт удался, поздравили меня и отправились домой. Я остался на опытном участке на всю ночь.

Под утро я выкопал одну из колб и отнес в парниковую лабораторию. На дне колбы была разбавленная соляная кислота, мы разбавили ее потому, что у концентрированной острый запах, который может отпугнуть насекомых; кроме того, приходится иметь в виду стоимость соляной кислоты, которая не так уж велика, но если бы мы внедрили изобретенный нами феромон

в тех масштабах, о которых мечтали, это влетело бы в копеечку.

Я отхлебнул из мензурки холодного спирту, — еще раньше я разбавил его водой и поставил охлаждаться в холодильник, снаружи стекло заиндевело. Я убедился, что концентрация соляной кислоты в колбах была достаточной: букашки, первыми упавшие в колбу, уже размягчились, превратившись в зеленую массу. А те, которым вначале чудом удалось взобраться на внутренний край колбы, тоже осыпались одна за другой, оглушенные кислотными парами, на дно сосуда.

Я стал размышлять над инстинктом продолжения рода, который завлек их в эту колбу, и понял, что инстинкт этот поистине слеп и могуч. Быть может, они и чувствовали обжигающий запах соляной кислоты, но зов другого запаха был сильнее; это он заставлял их выстраиваться в длинные извилистые медные цепочки и низвергаться в наши вонючие хлорные вулканы. Выходит, эти полтора года, что наша лаборатория билась над структурной формулой полового секрета щитоносок, не прошли даром.

Я разглядывал мертвых и гибнущих насекомых и вдруг подумал, что с точки зрения этих *Cassida nebulosa* я — их злой демон. В день страшного суда они снова выстроятся такими же длинными колоннами и в отместку за то, что я заманил их сладким запахом аттрактанта и погубил, изложут меня, как свекольный лист, до дыр. Эта мысль меня немного развеселила; я допил спирт и сполоснул под краном колбу с насекомыми. Остальные колбы остались на грядках.

Разбавленная кислота зашипела на металлическом ободке умывальника, выделяя крохотные пузырьки водорода, мне пришлось в раковину насыпать щепотку соды. Я вымыл руки и потушил свет.

На дворе уже редели предрассветные сумерки; небо было светло-зеленым, недолго осталось ждать до первого пригородного поезда.

Я отключил лампочки от главной батареи, и крыша земли стала снова цельной. На свекольной ботве лежала роса, и я промочил носки.

Итак, наш эксперимент удался.

Утром мы узнали, что наш новый заведующий отделением ввел в регистратуре систему перфокарт. Сестры были недовольны: теперь им придется наши данные наносить на перфокарты, и прежде всего это обязанность тех, кто дежурит ночью. Раньше они хоть могли вздремнуть на большом, обтянутом клеенкой диване, выкроив время между уколами и выносом уток; тем более, что умирающие бывают не каждую ночь и с ними обычно возится Маргит.

Когда мне рассказали о перфокартах, на миг у меня возникло чувство, будто меня загнали в этот ящик с картами, как в некую западню. Вот где-то существует такой ящик, и в нем нахожусь я, неважно, что в виде цифр и показателей; никто — ни я, ни другие — не может вырваться из него, мы все насажены на единую спицу.

Раньше подобные мысли мне и в голову не приходили, а теперь у меня для них много времени. Я хочу выработать в себе равнодушие к мирским делам. Правда, иногда я еще просматриваю газеты, но вот вчера, например, меня совершенно не тронуло известие о том, что где-то опять ухлопали патриотов. А ведь раньше было иначе: я отлично помню, как мы шествовали на митинг в поддержку греков. Я еще нес чей-то портрет, кажется, Манолиса Глезоса, и под конец у меня онемела рука. День был жаркий, солнце пекло голову, я обливался потом, и перед глазами плясали известково-белые пятна. Речи были длинные и нудные, но меня действительно волновали эти страдающие греки, и я из упрямства никому не отдавал своего Глезоса. Сейчас я уже не могу сочувствовать тем сердитым молодым людям, которым закручивают руки за спину и волокут в кутузку. Мне приносят булочный пудинг и, если я того пожелаю, усадят на горшок, но самому выбирать себе судьбу — в этом мне отказано. Если где-нибудь какой-то патриот ждет своего расстрела, он хоть знает, за что и во имя чего умирает. Я завидую ему, ибо моя собственная смерть — предел нелепости. Вот я и стараюсь не думать о мирских делах, уж лучше я буду думать о себе и о таких занятных штуках, как это перфомероприятие.

Я был не единственный, кому претила эта затея с

проколотыми бумажками. Днем, сидя в шезлонгах, мы изошрялись по поводу этого нововведения. Особенно старался один высокий парень; я не знаю, как его зовут, у него, кажется, рак легкого, но, несмотря на это, он носит галстук бабочкой и красит ногти.

— Может, мне и не стоит больше глотать пилюли, а, барышня-сестричка? — окликнул он Маргит и сплюнул в цветастую шелковую тряпку. — Этот всемогущий стержень все равно нас всех вылечит, нужно только хорошенько проткнуть.

На щеках у него был болезненный румянец, этикие причудливые красные цветы, и, видимо, идея стержня его немало забавляла. Мне почему-то всегда казалось, что он мужелюб.

Маргит пыталась разъяснить, что карточки и спица принесут несомненную пользу; она рассказала нам о какой-то разбивке на группы, что облегчит работу врачей. Я представил, как все эти врачи колдуют над ящиком. Раз! — из коробки вытаскивают целую связку больных, подцепив их, например, за левую почку. Два! — и над столом повисает фракция чахоточников. Эта молния из блестящего металла может в любой момент образовать самые разнообразные, самые невероятные коллективы: по числу гнилых зубов, по содержанию белка в моче — по всему, что душе угодно. И может получиться, что станешь болтаться в одной связке с какими-нибудь типчиками: с этим подозрительно женственным парнем или с Леопольдом, а то и с Й. Андрескооком из второй палаты, которого я почему-то не перевариваю. Любой из них может оказаться твоим соседом по ящику, и ты вынужден лежать с ним бок о бок дни и ночи напролет. Если так, то я хотел бы в соседки Яанику. Наверно, и в том случае Яанику, если бы мне даже дали выбирать между ею и Агнес.

Я думаю об Агнес довольно часто, во всяком случае чаще, чем мне этого хотелось бы. Почему-то вспоминаются такие подробности и ситуации, которые, как мне казалось, давно уже стерлись у меня в памяти. Все какие-то несущественные мелочи.

Утром я пошел к Леопольду. Он помещается в одной палате со стариком-ижорцем, который все ждет смерти. Этого старикашку несколько раз собирались выписать из больницы и направить в дом престарелых — у него нет никого из родственников, и он, кажется, не имеет даже своего угла, — но каждый раз он закатывает скандал, упоминая своего московского племянника, якобы важную шишку, который «вам тогда покажет». Бог с ним, с племянником — если это не чистейшая выдумка, но у старика всегда при этом поднимается температура, он жалуется на боли и харкает кровью, а тогда его, действительно, нельзя выписывать. Леопольд сказал, что в остальном он мужичок смирный и никому не мешает. Только однажды, в полночь, он тихонько и тягуче запел на своем финско-русском наречии. Леопольд решил, что старик отдает концы, но наутро тот был как ни в чем не бывало.

Леопольд готовился к моему приходу — из кухни он притащил кастрюлю с чаем. Еще он угостил меня соленым тминным печеньем, которое воняло одеколоном. Рисунки и акварели уже были разложены по всей комнате. Кровать, подоконник, стулья и даже почти весь пол были устланы ими. Для меня все же он оставил одну табуретку.

— Я уже подумал, что вы не придете — забыли, — сказал Леопольд, и мне показалось, он был искренне рад моему приходу.

Я ответил, что ночью неважно спал, и поэтому после завтрака пришлось на часок прилечь. Леопольд признался, что и он плохо спал: старик всю ночь кричал — вчера выходил гулять и в саду наворовал вишни.

— Нажрался вишни и всю ночь вонял. Вот пожалуюсь на тебя, — припугнул он старика, сердито погрозив ему своим желтым указательным пальцем. Обращаясь ко мне, он тихо и более деликатно пояснил, что старик объелся вишни, отчего всю ночь его мучили газы.

Ижорец и бровью не повел, только, как мне показалось, плутовато улыбнулся. Немного погодя он вытолкнул из уголка рта на простыню алую косточку вишни и снова при этом улыбнулся.

Я разглядывал картины Леопольда, прохаживаясь по

этой тесной каморке и заложив руки за спину, как в заправской картинной галерее. Вдруг я подумал, что это, наверно, последнее посещение выставки в моей жизни.

Все время, пока я рассматривал картины, Леопольд сидел на табуретке, преисполненный важности. Он сидел в такой позе, какую некоторые принимают перед фотографом.

Я удивился, что все картины Леопольда почти не отличались друг от друга. И рисовал он их с одной точки. Его, по-видимому, больше всего привлекал фасад покойницкой — ни на одной картине не были изображены боковые стены. Поэтому его акварели очень напоминали детские рисунки с домиками — только труба отсутствовала. Я хотел было заговорить об этом, но Леопольд сидел в такой позе, что мне стало жалко тревожить его. Но все же не все картины были между собой схожи: небо трактовалось по-разному. На некоторых картинах над покойницкой висели черные кучевые облака, а на иных небо было пустынно-голубым. Картины с пустынным небом мне почему-то понравились больше, особенно та, где на месте несуществующей трубы было намалевано лимонно-желтое солнце. Я задержался около нее дольше, на что Леопольд заметил, что у меня, несомненно, развит художественный вкус.

— Вы не любите упрощенного подхода, — сказал он. — Я знаю многих, кто выбрал бы только покойницкую, над которой черное небо.

Картину с солнцем я и попросил у него. Леопольд великодушно согласился.

— Видите, тут еще и птица на дереве. — Верно, на одном дереве сидела большая желтая птица. — Так сказать, творческий домысел. Это одна из моих лучших работ, — улыбнулся он, — но вам я отдаю ее с большим удовольствием.

Леопольд взял картину, которая мне больше всего понравилась, и положил ее на серое одеяло, прямо на живот старику-ижорцу.

— На холодном тоне она смотрится еще лучше.

Я поддакнул. Тут и старик-ижорец проявил любопытство, но, взглянув на картину, снова с безразличием откинулся на спину и, уставившись в потолок, вытолкнул изо рта на простыню новую косточку. Затем он попытался, будто бы невзначай, повести под одеялом пле-

чом так, чтобы косточка скатилась на картину, но она застряла в складках одеяла. Я увидел между кроватью и стеной целый мешок вишни, припасенной стариком; мешковина была пропитана красным соком.

Леопольд забрал картину и снова погрозил лежащему пальцем: «Смотри у меня». Но ижорец по-прежнему безмолвствовал. На этот раз он не улыбнулся, лицо его хранило замкнутое и сердитое выражение. Во рту у него не было ни единого зуба, поэтому черточка рта, вымазанного красным соком, расплзлась почти до самого носа, что придавало старику уморительное выражение гордого достоинства.

Я поблагодарил Леопольда за картину, и мы выпили две чашки чаю.

Я встал, собираясь уйти, Леопольд тоже поднялся и пожал мне руку. Из-за моего плеча он увидел во дворе нечто такое, что его, по-видимому, взволновало, потому что он тут же кинулся к окну.

— А эта чего там околачивается, — сказал он со злобой. — Только что из-под ножа, а уже по кустам пшастает!

Вначале я не заметил ничего особенного: только покойницкая и окружающие ее кусты сирени. Но потом я увидел Яанику, медленно выходящую из кустов. Яаника, крупная, светловолосая, с детским лицом, вялой походкой брела к больнице. Ее шлепанцы оставляли на песчаной дорожке слабые борозды.

— И чего они там рыскают, — процедил сквозь зубы Леопольд, и я понял, что он не терпит, когда кто-то гуляет около покойницкой. — Запретить надо... И этот туда же...

Из-за кустов сирени выплыл Й. Андрескоок. Он тоже направился к больнице, сбивая своей неизменной тростью головки с одуванчиков. Я не выношу этого Андрескоока, не выношу его тросточки, его облика церковного старосты, его свекольно-красных щек.

Леопольд еще раз пожал мне руку и настоятельно попросил заглядывать к нему почаще.

— Как только надумаете — заходите. Еще побеседуем об искусстве.

Я пообещал на днях зайти. Из-за его плеча я заметил, как старик-ижорец украдкой привстал и пульнул красным ядрышком в картину, лежащую на ковре.

Я заглатываю свою вечернюю порцию преднизолона и открываю окно. Проветрив комнату, сажусь за книги. Единственные книги, которые еще представляют для меня интерес, — анатомические атласы, учебники физиологии, медицинские энциклопедии. Я уже давно не ободряю себя надеждой на выздоровление, но мне кажется, глупо умирать, если толком не разобрался, что это за штука — человек.

Ночной воздух вливается в комнату. Он как-то особенно свеж.

Я снова занимаю одну самую маленькую палату этого этажа и могу открывать окно, когда мне захочется. Еще я могу — почти как в гостинице — читать по ночам и делать записи в дневнике. Докторам не нравится, что я читаю медицинскую литературу. Будучи кандидатом химических наук, я ничего не имею против, если бы кто-то заинтересовался литературой по моей специальности, но медики — народ своенравный. Медицина зарождалась в монастырях, поэтому по сей день у врачей в какой-то мере монашеские причуды. Когда они хотели унести мои книги, я поднял страшный крик и стал ругаться, как извозчик. Так как вообще я считаю спокойным больным, они под конец оставили меня в покое. По части надпочечников — именно там буйствует мой рак — я, можно сказать, собаку съел. Я могу с уверенностью на девяносто девять целых и девять десятых процента сказать, что Аддисонову болезнь я заработал благодаря раку почки. Когда ты точно знаешь причину болезни, как-то настроение лучше. Вероятно, метастазы рака проникли еще дальше — иначе мне прооперировали бы и левый надпочечник, без них, говорят, можно обойтись, правда, с помощью аптеки. Видимо, меня уже и оперировать поздно.

Порой медицинские книги просто забавляют. На днях я читал статью некоего Шимкевича, он яростно нападает на общепринятое латинское название надпочечников — велит называть их не *glandulae suprarenales*, а *glandulae adrenales*. Предложенное им название означает близпочечные железы, и они на самом деле располагаются не над почками, а сбоку; только люди и человекообразные обезьяны носят их над почками, и то лишь потому, что в ходе эволюционного процесса соиз-

волили встать на задние конечности. У всех же остальных приматов, передвигающихся благопристойно горизонтально, они располагаются рядом с почками, равно как и у нас, если мы опустимся на четвереньки. Когда тебе доставляют мучение сами надпочечники, а не их написание, то подобное научное мудрствование смешит и бесит одновременно. Пусть этот Шимкевич ходит на четвереньках и радуется: ведь в этой позе у него *glandulae adrenales*. На аналогичных эмоциях ловишь себя и тогда, когда узнаешь, что объектами исследования в классических работах по филогенезу надпочечников являлись крокодилы и снегири... Но, несмотря ни на что, подобного рода литература мне нравится; даже работы того же Шимкевича, потому что от них исходит олимпийская бесстрастность к страданиям человеческой плоти. Я не хочу умирать, как Пээтер, который был и остался художником-кукольным, в прямом и переносном смысле.

Мы были с Пээтером соперники, если так можно выразиться. К сожалению, я не могу решить, кто из нас двоих победил в этом соревновании: он, правда, финишировал первым, зато я дольше держусь. Тут здоровый человек стал бы умничать: мол, это вопрос философский; тем более, если он читал о принце датском, том самом, который на здоровье не жаловался, только вот нервы у него пошаливали. Вкатить бы ему здоровенный рак в почку, так не стал бы задавать своего риторического вопроса. По-моему, в смерти нет никакой философии; смерть — это гнуснейшая несправедливость под этим солнцем, и даже ее неотвратимость не оправдывает ее.

Пээтер хотел из смерти — приличной, красивой, героически выдержанной — сделать подвиг. Несмотря на свое идиотское намерение, он в конце концов стал мне дорог. У него были маленькие, мягкие руки интеллигента, васильково-синие глаза, светлые курчавые волосы и рак прямой кишки. Пээтер был художником кукольного театра, а в кукольных театрах ставят тоже возвышенные вещицы, как похождения бесстрашного оловянного солдатика Андерсена.

Но не надо смерть красиво обставлять. Духи — это еще куда ни шло, это я могу понять, хотя они ровным счетом ничего не спасают: комната, где находится раковый больной, все равно будет пахнуть так, как ей пах-

нуть положено. Позорным было то, что он считал нужным притворяться, — на это уходили все его силы, — будто искусство, политика и даже шахматы представляют для него интерес до смертного часа. Уж я-то видел, каков этот интерес. Мне приходилось быть его партнером в шахматах, и я с огромным трудом делал вид, будто верю ему. Это были жуткие часы, тем более, в шахматы он играл слабо, похоже было, что и до больницы он ими не очень-то увлекался. В шахматах, как, видимо, и в жизни, он был любителем королевского гамбита и жертв; он придумывал бессмысленные и величественные жертвы, которые с приближением смерти становились все грандиознее. Это требовало от него огромных усилий и в то же время было совершенно бессмысленным. Смерть — гнусность, смерть для всех нас — проигранный эндшпиль; так зачем же делать вид, что ты выше ее, что тебе на нее наплевать? Никто никогда не может быть выше смерти. Смерть — это осознанная необходимость, хотя точно такими же словами дано определение свободы.

Играть в героя некрасиво и по отношению к другим людям: это вызывает сочувствие и желание помочь. Если же уходящий в мир иной честно кричит благим матом, это вызывает в живых скорее естественную неприязнь. Раз отвратительна сама смерть, пусть и умирающий будет отвратителен. Я считаю, что поведение, вызывающее антипатию, в конечном счете является более жизнеутверждающим, так как порождает ненависть к тому, что является противоположностью жизни. Когда придет мое время протянуть ноги, я позволю себе драть глотку ровно столько, сколько сочту нужным. Смерть не терпит позерства.

Пэзтер умер на первой неделе мая. Был на редкость ясный и теплый весенний день; в этой части инсценировка Пэзтера удалась на славу. Помню, в тот день Агнес принесла мне букет весенних цветов. Она выглядела еще вполне привлекательно: живот был такой мило округлый, губы накрашены и прическа в порядке. Мы гуляли в парке, я поцеловал ее и сжал за талию. Я почувствовал желание — как здоровый. От Агнес исходил знакомый запах воскресного утра, да и было воскресное утро, и о моем здоровье мы тогда еще знали не все. Конечно, уже и в те минуты в моих почках жил рак, но тогда еще было возможным не верить этому.

Мы шагали по клеточкам классов, начерченным на парковой дорожке. Агнес тронула носком туфли крышку от коробки из-под ваксы, которую тут оставили дети, и я понял, что ей хочется проскакать по всем квадратам. «Ой, мне, наверно, нельзя», — пробормотала она, и щеки ее залились румянцем. Может быть, картина эта и слащавая, как майский плакат — пронзительно-синее весеннее небо и нежно-зеленые листики, — и все-таки Агнес в своем смущении была очень трогательна. Как раз тогда явилась Маргит и сказала, что Пээтер срочно зовет меня играть в шахматы. Я понял эту «срочность»; и мне пришлось идти.

Я оставил немного обиженную Агнес одну в парке, попросив ее прийти вечером снова. «Есть тут у нас один чудак... Нервы...» — сказал я, и Агнес ушла. Ушла к здоровым, в утренний воскресный город, к мужчинам, которые, наверно, уже ходят без пиджаков, в белых рубашках с закатанными рукавами. Впервые я откликнулся на это приглашение Маргит, по сути противозаконное, очень неохотно.

У Пээтера на тумбочке лежал томик стихов Пушкина.

«Божественные стихи, — прошептал он. — Как раз сейчас читал». Я не верю, что он их читал, но томик, однако, был раскрыт.

Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!..

Это был «Узник» Пушкина, и вдруг мне вспомнилось что-то из детства: темный балкон, приторный запах нечистых гимнастических матов и вкус слез, но все это сейчас неважно.

«Я ведь молодцом держусь... Мне только сделают укол, и мы сыграем». Пээтер впился ногтями в ладони, а его полураскрытый, в виде буквы «о», рот делал легкие сосательные движения.

Маргит наполнила шприц тем последним милосердием, которое один человек в состоянии оказать другому: я заметил, что вместо пантопона в руках у нее была ампула морфия.

«Это раствор витаминов», — шепотом сказал мне Пээтер. Он присосался взглядом ко мне, а ротом — к воздуху, и я заметил, как судорожно он удерживает коленями одеяло, словно боится, что и оно куда-то

ускользнет. Пээтер весь был сплошная судорога. И я снова ощутил, какая же это подлость — смерть. Даже бедняжка Пээтер не сумел этого скрыть.

«Витамин С, В... и глюкоза», — пробормотал он.

Когда-то он попросил, чтобы ему ни в коем случае не впрыскивали наркотиков — все по той же причине: страсть к героизму. Наверняка он уже давно знал, что держится только благодаря им, но просто решил остаться верным себе. И перед самым концом он все еще продолжал играть в эти безнадежные прятки. Конечно, он был героем, но его красивая смерть была наименее красивой из всех, что мне довелось увидеть.

Я пошел в душевую. Не зажигая света, сел на влажную деревянную скамейку. Слегка пахло хлоркой, из сломанного крана тихо сочилась вода.

На следующую ночь Пээтера не стало.

8

Вчера я написал, что Агнес вспоминается мне в связи с какими-то несущественными подробностями, сценами, которые, мне казалось, я уже давно забыл. И это правда.

Вот и сейчас, когда я рассматривал акварель Леопольда — ту, с желтой птицей, насчет которой он гордо сказал, что это его творческий домысел, — мне вспомнилась одна ночь, когда Агнес зубрила в постели историю искусств.

Мы довольно часто спали отдельно, но когда она готовилась к экзаменам — как раз на следующее утро у нее был экзамен, — я залезал к ней в постель. Она могла уточнять у меня произношение имен, и когда я засыпал, мне ничуть не мешал ее маленький ночник. Я знал, что это мое «самопожертвование» в глубине души ей очень нравится, и не разубеждал ее: честно говоря, в такой обстановке я засыпал даже раньше обычного, так как у Агнес привычка бубнить при заучивании, что на меня вмиг нагоняет сон.

В ту ночь я почему-то проснулся около трех и не смог снова заснуть. Свет ночника стал меня раздражать, а бормотанье Агнес показалось такой дуростью, что просто разозлило. Кроме того, я был уверен, что она давно все вызубрила; так по-школярски бояться экза-

менов — тем более для замужней женщины! — просто неуместно и глупо.

«... В последние годы жизни Винсент Ван Гог жил близ арля, — вполголоса бубнила моя усердная женушка, — где окончательно утвердилась его выработавшаяся в Париже в тысячу восемьсот восемьдесят шестом году манера письма, которая проявилась в его многочисленных пейзажах и натюрмортах, изображающих мотивы, почерпнутые из окружающей видимой действительности. Мазок Винсента Ван Гога становится еще более нервным и прерывистым, что, однако, не следует объяснять начинающим с психическим заболеванием, которое все же в тысячу...»

Из-под одеяла у Агнес торчали пальцы левой ноги; второй палец у нее немного искривлен — это от узких туфель.

«А его кривые ноги окончательно утвердились в том же году?»

«Не спишь? Кривые ноги были не у Ван-Гога, а у Тулуз-Лотрека, который (было похоже, что она пытается вспомнить дату)... который еще в юности упал в зале дворца, получив при этом тяжелое и неизлечимое повреждение позвоночника», — отбарабанила Агнес как по-писаному.

«А где находился этот дворец?» — ехидно спросил я.

«Дворец?.. Сейчас посмотрю».

«Нечего смотреть. Это знает каждый нормальный человек и без заглядывания».

«Наверно, я все же мешаю тебе?» — Вопрос этот прозвучал по-матерински заботливо.

«Как звали того человека, с кривыми ногами, который растянулся во дворце?» — спросил я требовательно.

«Наоборот, он сперва упал, а ноги стали кривыми потом, — ласково пояснила Агнес. — Ты сонный и поэтому все путаешь».

«Как его звали, как звали того человека?»

«Его звали, разумеется, Анри де Тулуз-Лотрек».

«И само его имя тебе не подсказывает, где он мог родиться? Таких, как ты, я безжалостно заваливал бы на экзаменах».

«Если будешь мне мешать, я, конечно, завалюсь».

Она стала рыться в своих конспектах; я был вынужден заметить, что всякий мало-мальски интеллигентный человек на мой вопрос без запинки ответил бы: в

Тулузе или вблизи нее. Даже если он и понятия об этом не имеет, и даже если Анри де Тулуз-Лотрек и не думал там появляться на свет. Мне сообщили еще более ласковым тоном, что Лотрек родился неподалеку от Верхней Гаронны. «Не тебе меня заваливать», — услышал я в ответ.

«А зачем он отрезал ухо у своего друга Гогена?» — Я знал, что это не так.

«Это Винсент Ван-Гог отрезал и...»

«Ах, значит, Ван-Гог отрезал у Лотрека ухо. Прелестно. Очень дельный поступок. Это место выучи назубок». — Становилось весело.

«Да не у Лотрека, и не Ван-Гог... то есть отрезал-то Ван-Гог, но не у Лотрека, а у самого себя».

«Тоже неплохо. Мне нравится, что от моей жены требуют знания таких вещей».

Тут она разозлилась не на шутку: привстала на подушках и заявила, что уходит в другую комнату. Я одобрил эту идею, добавив, что в противном случае мне пришлось бы самому это сделать. Но тут же мне стало жалко ее. К тому же это было действительно смешно, что женщина в японской ночной рубашке, урывая время от сна, должна выучить, кто, когда и зачем занимался отрезанием собственного уха. Безусловно, Винсент Ван-Гог и не догадывался, что его история с ухом — как он, завернув его в папиросную бумагу, несет ночью к своей любовнице в бордель — через восемьдесят лет будет обсуждаться в одной супружеской спальне.

От зубрежки и недосыпания у Агнес покраснели веки. Ленты, торчащие из папилюток, придавали ей сходство с сонной Горгоной.

«Перестань! Ты давно все выучила. Давай спать», — попытался я загладить свою вину.

«Я лягу на диване. Что из того, что там гораздо темнее и у меня насморк», — сообщила она с решимостью человека, идущего на смерть.

И она вмиг перенеслась в другой конец комнаты. Ночник отбрасывал синий свет. Агнес, надевая тапки, чтобы пойти на кухню вскипятить чай, стояла ко мне спиной, и мне вдруг вспомнилась картина Дега с балериной: во время экзаменов все столы у нас были завалены художественными открытками.

«Ну, что ты... Я буду нем, как рыба. Запру рот на замок. Лучше угадай, кого ты мне сейчас напоминаешь,

когда вот так стоишь?» — спросил я таким извиняющимся тоном, на какой только был способен.

Агнес строптиво молчала. Ей было холодно, и, видимо, она была уже готова вернуться.

«Ну, ладно, немного подсказу, — продолжил я. — У Дега есть такая... Нет, теперь уже не то. Только когда ты стоишь спиной ко мне. Скажи, как называется эта картина? Да ты знаешь ее...»

Агнес задумалась. Лицо ее стало совсем детским.

«Вовсе это и не Дега... Ты ведь имеешь в виду ту картину, где слева цветущая вишня. Это Гоген. А другая женщина сидит на карточках; смотри, вот здесь. Ты путаешь Дега с Гогеном. «Таитянки на берегу моря».

И Агнес нырнула обратно под одеяло. Агнес, которая видит себя совсем иначе, чем я. У нее на самом деле длинные темные волосы, только кожа у нее не желтая.

«Мазоквинсентавангоастановитсяещеболеенервнымипрерывистымчтооднаконеследуетобъяснитьначинающимсипсихическимзаболеваниемкотороевсежевытсачавосемьсотвосемьдесятвосьмом...»

Я почувствовал, как проваливаюсь в сон. Какой-то длиннолицый человек шел вдоль темной улицы и нес в руке большое красивое ухо из розового марципана. Потом он взлетел.

9

Опять вечер. И опять я сижу на пустом ящике из-под гвоздей рядом с компостной кучей, и все вокруг — как обычно. У железнодорожной насыпи, конечно, распевают песни, и каждые семь минут визжит на повороте трамвай.

А ведь Агнес написала мне, что теперь все по-другому. Она написала мне, что я стал отцом.

«Ты стал отцом...» Это звучит довольно высокопарно. Я бы сказал просто: у меня родился сын; а это разные вещи — мне уже невозможно кем-то стать, мне дано стать только тем, чем я становлюсь тут день от дня.

У меня родился сын, да не просто сын, а сын в сорочке. Я спросил у главного врача, что это такое — сорочка. Оказывается, это плодная оболочка или что-то вроде этого; обычно она исторгается через некоторое время вслед за ребенком. А если этот комплект выхо-

дит на белый свет целиком и полностью, то про ребенка говорят — родился в сорочке. Однажды я видел, как жеребится лошадь, так что я какое-то представление об этом родильном деле имею.

Агнес написала, что эту сорочку высушат и отдадут ей насовсем — одна пожилая акушерка обещала устроить. Оболочка эта, когда высохнет, становится тонкой и плотной, как пергамент, и, считается, приносит новорожденному счастье. Агнес намекнула: мол, что может быть большим счастьем для малыша, чем здоровый отец и тому подобное. Это прозвучало почти так, что я должен быть парню благодарен.

Мне грустно, что я не умею радоваться. Я терзаю себя тем, что в такой момент почти ничего не чувствую. Все это немного пугает меня, но не более. Вот оттого, что «не более», от этого мне и грустно. И еще потому, что я вспомнил, как жеребится лошадь.

Все отцы, как правило, немного под хмельком, когда идут встречать ребенка; с собой у них цветы и блестящие одеяла, голубые или розовые. Перед больницей ждет машина, и иногда таксист привязывает к антенне белую шелковую ленточку.

Я сижу на ящике из-под гвоздей; вот-вот взвизгнет на повороте трамвай.

Опять я пробираюсь среди крапивы, и опять она кажется мне прохладной. В больнице зажжены огни. Я знаю, что в одной из комнат скоро умрет парень — тот самый, который красит ногти и кого я считал муже-любом. Сегодня рано утром к нему в комнату вносили кислородные баллоны. Дворник притащил их со склада; у нашего дворника великолепные казацкие усы; я слышал, как он спросил у Маргит, сколько, она думает, понадобится кислороду. Маргит что-то ответила, и дворник проворчал, что это только добро переводить, и в таком случае придется завтра подвезти новый запас: ведь никогда не знаешь, кому может понадобиться... А у меня родился сын, да не какой-нибудь обыкновенный сын, а сын в сорочке. Как Агнес его назовет?

Перед дверью того парня, который красит ногти, с баллонов стирали пыль — ведь в больнице должен царить порядок. Наверняка царит порядок и в той больнице, где мой сын. Наверно, и там ревностно следят за чистотой, наверно, и там есть кислородные баллоны, потому что с этими грудными младенцами всякое слу-

чается. Я что-то слышал о воспалении пупка и родовых травмах. Но будем надеяться, что с моим малышом все в порядке — ведь он родился в упаковке.

В темной аллее — ни души, видимо, это создает у меня особое настроение, и я вполголоса и даже с нежностью произношу: «Будем надеяться, что с моим малышом все в порядке». Я думаю об Агнес, на миг представляю ее очень ясно лежащей под одеялом; интересно, торчит ли из-под одеяла ее немного искривленный палец левой ноги?.. И вновь волна растроганности пробегает по мне, как легкое прикосновение.

Я сажусь на скамейку. Итак, у меня сын. Но все это как-то далеко от меня. Правда, я вижу все ясно, но словно в перевернутый бинокль.

И вдруг я ловлю себя на том, что ни разу не позволил в больницу. Ни разу.

У скамейки холодные подлокотники. Холодные и враждебные. Но ведь это железо, думаю я, а железо должно быть холодным. Холод обитает в самой сердцевине железа. Я повторяю и эту фразу вполголоса, затем поднимаюсь и иду к дому. Итак, с этого дня я — отец...

В коридоре я замечаю, что за дверью того парня, у которого рак легкого, уже стоит пустой кислородный баллон.

Войдя в свою комнату, я — как уж у меня заведено по вечерам — распахиваю окно, но тут же закрываю. Холодно. Опершись руками о подоконник, долго вглядываюсь в сумерки.

Вот оно что!.. Вдруг я понял, почему крапива казалась мне прохладной. Как-то в детстве я ходил с батраком ловить раков. Это было ночью. Горел костер. От реки шел пар. Батрак возился в воде, выковыривая из нор раков. Перед тем, как идти спать, мы засунули раков в мешок, и я должен был нарвать в него крапивы. В крапиве раки еще долгое время живые: им там хорошо — в сырости и прохладе. Мешок с раками мы оставили за воротами сарая, и когда я утром слезал с сеновала, он тихо потрескивал. Густой туман стоял над землей; я широкой дугой пустил струю и, прислушиваясь к похрустыванию мешка, подумал, как хорошо и прохладно этим ракам в мешке, среди темно-зеленых листьев крапивы. На следующий день их с укропом отварили, но это ничего — зато перед этим в мешке им было так хорошо и прохладно.

Я все еще стою у окна. Я тоже мешок, набитый раками... Может, и я тихонько похрустываю, когда они там, внутри меня, в темноте, расправляют свои клешни. Но завтра меня еще не сварят!

На дворе начинает моросить. Стекло затуманивается от мелких дождевых капель, и вскоре я уже ничего не могу разглядеть. Вдруг впервые за много-много лет я плачу. Я и сам не знаю, печальные это слезы или счастливые. Ведь на свет появился мальчик, мальчик в сорочке.

Потом я молюсь, я стараюсь думать о боге. Бог далеко, я и его вижу словно в перевернутый бинокль, но, наверно, все-таки вижу.

Изморось укрупняется, теперь уже и окно тихонько плачет в темноте вместе со мною.

10

Проблемную лабораторию металлоорганических соединений, создание которой потребовало от меня двух лет упорной борьбы, решено ликвидировать. Останется только небольшой сектор, да и тот в подчинении сланцевиков. Об этом сообщил мне сегодня Геннадий — мой бывший главный инженер. Он был совершенно вне себя. Мне даже стало жалко его. Я хотел сказать ему, что это дело меня больше не интересует, но все же удержался.

Мы сидели в парке, и меня все время мучила мысль, что мой суп остынет. На обед у нас был молочный суп; когда он остывает, то затягивается противной пленкой. Я, конечно, знаю, что это от содержащегося в молоке парафина, чистого и безвредного вещества, но тем не менее от молочного супа с пенкой меня тошнит. Разумеется, и об этом я не мог сказать Геннадию; а он все говорил на своем смешанном русско-эстонском языке, пока на лбу у него не выступила испарина. Геннадий почти лысый, поэтому капельки пота выступили у него даже на темени. Он вытер их большим синим платком, но вскоре они выступили снова; это явление напоминало мне известный из физики эффект точки росы: холодные трубы в теплом помещении покрываются точно такими же капельками влаги.

Я попытался успокоить Геннадия, но он сказал, что ни одного дня не собирается оставаться под одной кры-

шей с этими шальными смоловарами: на следующей же неделе он уедет в район, в наш производственный цех — ну и пускай зарплата меньше, — и станет там простым рабочим. Я подбодрил его: если он всерьез надумал ехать, то совсем не обязательно становиться простым рабочим — ведь у нас там строится новая производственная база, или это строительство тоже заморозят? Нет, этого вроде не должно случиться, новый комплекс по производству гербицидов все же будет достроен — выделены даже дополнительные суммы. Я утешил его: мол, в таком случае, он и там станет главным инженером, но Геннадий упрямо твердил, что нет, он станет именно простым рабочим, вот пусть тогда все увидят и так далее.

Если бы не моя болезнь, наверно, и я поехал бы в район и стал добиваться, чтобы туда перевели также лабораторию. Этот поступок был бы немного в духе Индрека из Варгамяз*, так как наше новое здание строят в том самом поселке, где я родился. Ничего не поделаешь — теперь туда вместо меня отправится лысеющий Геннадий с женой Зоей и тремя детьми. Мысль, что он поселится в краях моего детства, почему-то волновала меня гораздо больше, чем все остальное, даже больше, чем конец самостоятельности лаборатории. Мой поселок, моя школа, моя речка... Этот Геннадий все же мог бы наконец привести в порядок свои жуткие зубы!

Я сказал ему, что устал и что, если нужно, могу написать в министерство — конечно, если это еще принесет какую-то пользу. Он посмотрел на меня долгим, странным взглядом и вдруг как-то обмяк. Он извинился, что отнял у меня столько времени, и протянул целлофановый мешочек с помидорами: «Зоя сама выращивала». Помидоры были не ахти какие: некоторые совсем еще желтые, а один, покрупнее, видимо, в портфеле лопнул и вымазал остальные.

Я и на самом деле почувствовал усталость и простился с Геннадием. В воротах он оглянулся, остановился, словно забыл мне что-то сказать, но тут же сделал вид, будто поправляет шнурок на ботинке, помахал и пошел быстрым шагом. Почему-то уход выглядел как бегство.

Под вечер я снова вышел во двор и сел под осиной.

* Герой романа А. Таммсааре «Правда и справедливость».

Я немного раскисался, что обидел Геннадия своим безразличием. Конечно, мне следовало бы проявить больше участия, но порой человека просто не хватает на все. Вначале они даже посылали мне сюда, в больницу, свои отчеты, но со временем эти отчеты зарывались все глубже под груды моих книг. Ничего не поделаешь: «внешняя политика» меня больше не волнует (мысленно я называю все, что не имеет отношения ко мне и моей болезни, «внешней политикой»). Меня без остатка поглотила «внутренняя политика». Так оно, наверно, и должно быть в моем положении.

Странно, конечно, но это преобразование нашей лаборатории в сектор меня даже как-то обрадовало, что ли. Я не сразу уяснил причину. Возможно, это было нечто вроде желания императора, который хочет, чтобы после его смерти всех его приближенных казнили и закопали вместе с ним в могилу? Вряд ли. Наверняка это не было и пошлым зазнайством: мол, видали, без меня все идет у вас насмарку! Да, но что же это все-таки было? В конце концов я склонился к выводу, что в самом начале новость меня не обрадовала, это пришло позже — видимо, когда возникла уверенность, что даже крушение дела твоей жизни тебя больше не огорчает. Следовательно, ты уже весьма близок к тому состоянию свободы, к которому должен стремиться всякий умирающий, потому что тогда проще умирать. Но поди узнай, так ли все это? И, в конце концов, от этого ничего не изменится.

Осина своим кисловатым запахом привлекла мелких мух. Как видно, киснувшая осина интересует их пока больше, чем я. Кисну под сенью осенней осины — шикарная аллитерация!

Геннадий, хороший мой, мы уже не разделяем твоих забот. Мы просто закисаем: вон у осины уже и кора отстает.

Под куском отделившейся коры и вокруг него кипела жизнь. Я мало знаю о жизни насекомых — хотелось бы знать больше. Для свекольных щитоносок я, в какой-то мере, злой демон; да и тля не помянет меня добрым словом в мой последний день, хотя наше средство уничтожения тли полностью и не оправдало себя. Несмотря на все это, сам я плохо знаю жизнь насекомых — этими вопросами занимались в нашей лаборатории два биолога. Теперь мне приходится только пожалеть об этом:

у меня здесь столько свободного времени, что я мог бы изучать этих козявок на базе нашего больничного сада. Безусловно, и у этого вот крошечного хлопотуна, напоминающего комара, — он так стремительно вращает своими малюсенькими крылышками, что они сливаются в некое радужное трепетанье, — есть свое аристократичное латинское название, о котором он, бедняжка, и не подозревает. Несомненно, что он принадлежит к определенному отряду, семейству, виду и его родословная берет начало где-то в вечнозеленом плеске теплых кембрийских морей. На протяжении миллионов лет он вот точно так же суется, поглощенный повседневными поисками хлеба насущного, и пожирал других, более мелких мошек; для них он такой же злой демон, как я — для щитоносок. Весьма нервный комарик, типичный сангвиник. Даже на стволе дерева он не решается передохнуть, а судорожно машет крылышками в ритм своим суетливым движениям, словно миниатюрный страус. И у этой деловитой букашки есть сердце и мозг, и кто знает, может быть, даже надпочечники. И не исключена теоретическая возможность, что эти самые надпочечники могут ей подложить свинью.

Обаятельная букашка. Мое теперешнее больничное «я» очень гордилось бы собой, если бы написало солидную монографию в коричневом переплете о подобной мошке. Особую прелесть я нашел в том, что эту монографию прочитали бы на всем белом свете не больше двух-трех человек, это мне очень понравилось; почему-то мне все больше нравятся именно такие вещи, которые не имеют никакой практической ценности. В дальнейшем я хотел бы в своем дневнике отвести побольше места подобным размышлениям.

11

Маргит принесла мне Пушкина — это был личный томик Пзэтера, и его последним желанием было, чтобы эту книгу подарили его другу, то бишь мне. Я надеюсь, что у меня не возникнет последних желаний подобного рода. Хорошо, если бы последних желаний, как таковых, у меня вообще не возникало.

Кажется, я уже писал, что когда увидел этот томик раскрытым на «Узнике», мне вспомнился темный бал-

кон, вкус слез и приторный запах нечистых гимнастических матов. Теперь в самый раз предаваться воспоминаниям — времени хоть отбавляй; тем более, что я недавно решил копить именно те воспоминания, которые начисто являются моими и только моими. Я собираюсь писать «внутриполитические» мемуары.

На последней странице тетради набралось уже несколько строчек заглавных слов — они станут вехами моих воспоминаний. Я читаю:

Кладовка — паук — скисшее молоко — первое чтение Фрейда;

Линда — звезды в чердачном окошке — я становлюсь мужчиной — противозачаточные средства — мысли о массовом убийстве;

Рыбная гавань — алыч с русским акцентом — рыбий рот — я подметаю комнату — Фердинанд — яд — дырка в чулочной пятке.

Я читаю эти слова, смысл которых доступен только мне, и чувствую себя скрягой, испытывая при этом все радости, которые дарует священная частная собственность; если я не открою смысла этих слов, они так и останутся навеки зашифрованными, — я унесу их с собой в могилу, и ни одна душа ничего не сможет поделить. Я почти уверен, что подобная участь ожидает не одну цепочку слов, и это, как ни странно, радует меня.

Никто, кроме нас самих, не знает о нас почти ничего. Да и сами мы мало что знаем. Мы не бережливы и склонны многое забывать. Сегодня, гуляя в больничном парке, я видел Яанику; она сидела на камне и ела вареное яйцо. Скорлупу она потом втоптала в землю. В этом действии не было ничего особенного, но мое внимание странным образом задержалось на нем — во мне шевельнулось какое-то смутное воспоминание; почему-то мне показалось, что яичная скорлупа каким-то образом связана с чем-то весьма важным, и было бы хорошо, если бы мне удалось вспомнить эту взаимосвязь. Пустяк — а до сих пор мешает мне. Я нанизываю новую строчку: «Яаника — яичная скорлупа — земля». Может, позже вспомню, в чем дело.

Но сегодня я начну с другого воспоминания. Записываю: «Гольфы — «Узник» — Я НЕНАВИЖУ ВАС! — «Донна Клара» — Мир да пребудет с вами!» — и пошла писать губерния.

Мне десять лет. У нас школьный вечер. Мама расчесала мне волосы на косой пробор и приказала надеть гольфы с белыми помпонами. Ее, должно быть, удивило, что на этот раз я не протестовал против этих дурацких футляров для ног. Но удивляться было нечему: ясно, что эти гольфы с белыми помпончиками — непременный атрибут униформы «маменькиных сынков» — в будний день я ни за что не напялил бы, но в воскресенье, тем более такое, как сегодня, — дело другое. Пускай сегодня считают меня образцово-показательным ребенком, пускай — ведь никто не видит, что у меня на душе! «Какой чистенький мальчик, какой пайнышка», — скажут обо мне с умильной и придурковатой улыбкой. Я стисну зубы и, здороваясь, низко поклонюсь; разумеется, я пай-мальчик, на редкость благовоспитанный мальчик в белоснежных гольфах, и я никогда не пачкаю своих носков. Мне-то известно, что парень в гольфах с помпонами — жалкое существо, он и не парень вовсе, а карикатура на парня, но сегодня я соглашаюсь перебороть себя в угоду тупоумной прихоти взрослых. Более того — я знаю, что это доставит мне даже тайную радость. Вот подождите, как я однажды стану кем-нибудь (я и сам точно не знаю, кем, но это непременно должно быть нечто такое, что потрясет их), вот пусть они тогда изумятся: «Боже, неужели тот самый пай-мальчик в гольфах стал...» Ну а кем стал, это пока останется открытым, во всяком случае, им придется произнести это с почитанием и любовью — примерно так же, как произносят «Его Высочество», «Его Превосходительство»... Но я не причиню им зла, я буду великодушен и отнесусь к ним лучше, чем они заслуживают. Не бойтесь! Я буду милостив к вам!

Я отчетливо помню это мое чувство. Взрослые не знают, какие августейшие страсти бушуют в мальчишках, когда они сбивают палкой колючки репейника, и чем белее гольфы они должны носить, тем злее их удары. И не всегда эти колючки — головы взрослых, — порой летит на тропинку голова школьного товарища из менее обеспеченной семьи, который не должен носить гольфов (равно как и штанов-гольфов или блузки с кружевной грудью), так как их у него просто нет.

Сегодня я должен выступить с пушкинским стихотворением «Узник». Вначале я отнесся к этой своей обязанности декламатора так же, как и к своим тысячу

раз проклятым гольфам — просто еще один метод унижения, — и собирался торопливо, без выражения отбарабанить стихи, затаив в себе радость мученика и планы мести. Но как только я вышел на сцену, все изменилось.

«Александр Сергеевич Пушкин, «Узник», — начал я своим звонким мальчишеским голосом. Зал притих. Я видел дружеские, заинтересованные взгляды взрослых — ведь для учеников начальной ступени старшеклассники уже взрослые. Ко мне повернулось одуряюще много серьезных, доброжелательных лиц — причем не очень глупых, — чтобы, не шелохнувшись, слушать меня. Что-то во мне дрогнуло: а вдруг и они хоть что-то вынесут для себя из этого стихотворения — ведь я так упиваюсь им, когда его дома, наедине, громко декламирую. Еще как упиваюсь: ведь орел молодой, который беспокойно клюет перед темницей кровавую пищу и рвется в вольные края... ведь в этом орле есть что-то от меня. Вдруг я горячо пожелал, чтобы смысл стихотворения дошел и до них, чтобы он заставил их задуматься над жизнью и изменил их к лучшему. И смирно-ка, они слушали меня, затаив дыхание, уставившись мне прямо в рот. Горячая волна обдала меня. Я обращаю их в новую веру! Они осознают приземленность своих серых будней!

Да, да, этот орел, что клевал мясо, проявляя при этом некоторое беспокойство, видимо, проник им в душу. Я чувствовал это всем своим существом, голос мой ширился; мне казалось, я могу весь зал поднять с собой в заоблачные выси, и я возвестил дрожащим от восторга сопрано:

Туда, где синют морские края,
Туда, где гуляем лишь...

Да, я, действительно, был готов всех этих растроганных слушателей умчать с собой в синие края: всех этих сидящих в первых рядах абитуриентов — красивых девушек и парней; и этого дедушку, который вытащил из кармана шелковый платок, вероятно, для того, чтобы незаметно смахнуть слезу; я взял бы с собой даже нашу учительницу эстонского языка, у которой на губе росла бородавка и голос которой обладал визгливым требовательным тембром гобоя. Меня рас-

пирало чувство великодушия и всепрощения; мои жуткие гольфы и напояженный пробор уже не смущали меня: шут превратил свои колокольчики в пророческие; я парил бы впереди этой толпы, конечно, соблюдая умеренную дистанцию, я ободрял бы робких, я вел бы их всех туда, где синеют морские края, туда, где гуляем лишь...

Но тут случилось нечто жуткое, нечто убийственное и кошмарное. В тот самый миг, когда мой голос замер в потрясающем, гениальном *fermato*, которое должно было явиться прологом к последним словам стихотворения «ветер... да я», открылась дверь, и в зал, качаясь, вошел долговязый парень из выпускного класса. Он неуверенным зигзагом пересек пустую часть зала и двинулся к проходу между скамейками, намереваясь сесть на свободный конец скамейки, но не рассчитал и шлепнулся на пол. Моя пророческая пауза была загублена, мало того — небесный миг безмолвия, задуманный для обращения неверных, тот самый миг, который должен был олицетворять парение орла — вот он, не шевеля крылами, словно удерживаемый неведомой силой, висит над бездной, — этот миг теперь мог показаться торжественным вступлением к тому моменту, когда этот пентюх, да, да, именно пентюх, этот пьяный пентюх и подонок шлепнется на спину. Но это было лишь полбеды: я с осуждением, тихо и оскорбленно произнес эти растоптанные «ветер... да я» и стушевался; но меня уже никто не замечал, ликующий грохот аплодисментов и смех предназначались — я это ясно почувствовал — не мне, а этому, гнусному, омерзительному, задошлепу. Только у дедушки да учительницы эстонского языка хватило глаз для меня; первые ряды абитуриентов повернулись ко мне затылками и ржали с нескрываемым наслаждением.

Балаган! Скандал! Предательство!

Это я, юный Мессия в белых носках, стою перед ними, а они смеются над каким-то пентюхом; какой-то налижавшийся сопляк для них важнее, чем поднебесные выси, чем застывший миг, в котором повис парящий орел, важнее, чем Пушкин и — я!

Я бегу со сцены, прочь с глаз этих плебеев, этого стада недоумков, жаждавших цирковых зрелищ. За сценой ждут своей очереди другие выступающие, они слы-

шат аплодисменты и думают, что это я имею такой успех...

Я прислоняюсь к коричневому, лакированному косяку двери. Внутри у меня одновременно горячо и холодно. Я все еще жду чего-то. Чего? Я даю им время на размышление, неужели они не осознают, что они натворили! Вот сейчас в зале должна бы установиться гробовая тишина, затем раздадутся робкие хлопки, громче, громче, вот уже они переросли в возгласы БИС! БИС! БИС! Меня просят обратно на сцену. Я отказываюсь. Они хотят на руках внести меня в зал. Я вырываюсь: грязные прикосновения их рук омерзительны мне... Я все еще жду, прижавшись лбом к прохладному косяку, даю им время... Лишь когда рояль посылает вступительные аккорды к мексиканскому танцу, я тихонько выхожу в заднюю дверь.

В туалете накурено — эта абитуриентская шпана уже вовсю курит и пьет. От таких и ждать нечего.

Я уединяюсь в одной из кабин, запираю дверь на задвижку. Когда я выхожу — оглядываюсь: не видел ли кто меня, — но здесь никого нет, — на стене я нацарапал химическим карандашом лиловую надпись. Она сообщает читателю: Я НЕНАВИЖУ ВАС!

Я прогуливаюсь по гулким коридорам. Скоро художественная часть должна кончиться. Вообще-то по закону мне полагается идти домой: на танцы разрешено оставаться лишь начиная с пятого класса. После этого «Я НЕНАВИЖУ ВАС!» натуральнее всего было бы гордо удалиться, но что-то удерживает меня здесь. Быть может, я надеюсь, что весь зал или хотя бы несколько представителей разыщут меня и извинятся? Нет, это исключено. Вряд ли эта серая толпа сознает, что она натворила? Но тут настроение мое поднимается: я и не хочу, чтобы они осознали свою ошибку. Даже лучше, пусть не сознают: вот в этом как раз и состоит наше различие. И вдруг я чувствую себя в белых гольфах преотлично: они отделяют меня от этой тупой массы. Вы смеялись надо мной? Смейтесь! Смейтесь! Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!

Художественная часть закончилась. Я все еще прохаживаюсь по коридору и разглядываю собравшихся — неодобрительно и надменно. Я приглаживаю пробор, поправляю помпоны на гольфах — ваше невежество не

оставило на них следов грязи, такой чести вам не было дано! Я торжествую от мысли, что никто, никто на свете не знает, что творится у меня в душе.

С каждым кругом самочувствие мое улучшается.

Парни из старших классов сбились в кучу и выкрикивают девчонкам вещи, которые взрослые называют двусмысленными, но которые на самом деле имеют один, определенный смысл. А какой смысл — это мне тоже известно: дома у нас есть «Руководство по гигиене» и «Природные способы врачевания». Не думайте, нам все известно об этих мерзостях. Девчонки на выкрики парней только похихикивают и поправляют чулочные швы. Вся эта сутолока мне противна: у всех такой вид, будто они готовятся к тем самым, известным мне из названных книг, свинствам. Но куда смотрят учителя? А учителя следят за порядком на лестнице и в коридорах и почему-то притворяются, что и понятия не имеют, чем тут все озабочены и что тут замышляется. Все эти люди, — и учителя тоже, — банда гнусных заговорщиков. Скоро начнутся танцы; парни ринутся к девчонкам и, поклонившись, облапят их, причем ухватятся за спину как раз в том месте, где сквозь блузку прощупываются все эти лямки да тесемки, те самые тесемки, которые ни одна девушка в иных обстоятельствах трогать не разрешает. Заговорщики! А я им читал стихи...

Уже девять часов, мне давно пора домой. И вдруг я вспоминаю — ведь у меня есть ключ от класса, что выходит на балкон. Балкон этот, служащий кладовкой ненужного хлама, находится как раз над залом. Оттуда я все увижу!

Я бегу в раздевалку, делаю вид, будто собираюсь уходить домой, вынимаю из кармана пальто ключ и, прощмыгнув за спиной дежурной учительницы, мчусь обратно наверх.

Толстый прыщавый парень — выпускник, еще я знаю, что он чемпион школы по боксу — хватает меня на лестнице за рукав и издевается: «Мальчик что конфетка — шелковый платочек в кармашке! А вон из носу макарон торчит...» От этой свиньи разит вином!

«Так говорить некрасиво», — негодуя выпаливаю я снизу вверх.

«Ну-ну... — отвечает тот, — только не бей...» Разыграв испуг, он съеживается и отпускает мой пиджак.

А на следующей лестничной площадке какая-то с невыразительным лицом абитуриентка рассеянно проводит рукой по моей голове. Эта ласка мне противна: она гладит меня, как кошку, и продолжает болтать со своей подружкой. Я стряхиваю с себя это прикосновение.

Слышу, что в зале начинаются танцы. Я бесшумно отворяю дверь класса, ведущего на балкон, ныряю в темноту и запираюсь изнутри.

На балконе темно; меня здесь никто не видит, а я все вижу и могу следить за происходящим в зале. Я сажусь на старый гимнастический мат и из своего убежища поглядываю вниз. Парни сгрудились у дверей зала и берут разгон перед танцами, девчонки расселись на лавках вдоль стен с таким отсутствующим видом, будто все это не имеет к ним ни малейшего отношения.

На балконе сладко пахнет древесной трухой и пылью; от этого запаха мне снова делается грустно. Здесь я выше других, и это, конечно, символично. Но вдруг я тем самым лишаюсь чего-то? Моя жизнь над головами всех вас... Может быть, те простые радости никогда не доберутся до меня? Прямо напротив меня, на стене зала, висит большой портрет — мы с Иосифом Виссарионовичем на одном уровне. Он тоже сверху взирает на эту суету: в руке у него трубка, сапоги его блестят, за его спиной светится алый силуэт кремлевской стены.

На миг я задумываюсь над одиночеством орла.

Вдруг я нащупываю что-то в кармане. Ну, конечно! Мама дала мне с собой шоколадный шарик в золотой бумажке. Я сдираю обертку и откусываю кусочек. Но тут я спохватываюсь: созвучны ли мои недавние мысли и радость от шоколадки? Сразу же я нахожу себе оправдание: ведь мне только десять.

«О донна Клара», — поет солист оркестра. У него баритон, и он в черных очках. Неужели может случиться, что я буду лишен чего-то в жизни? Нет, нет, нет! Ведь я ни в ком не нуждаюсь, кроме самого себя.

В памяти у меня всплывает другое пушкинское стихотворение, красивое стихотворение с непонятным названием «Арион». Я освобождаюсь от шоколадки — кладу ее на мат — и принимаюсь шепотом декламировать:

Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,

Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

Как чудесно произносить «лишь я, таинственный певец...» Кроме того, в этом стихотворении есть намек на высшую справедливость, которой я сегодня, правда, не заметил, но которая, безусловно, существует на свете; еще намекается о том, что стихия и судьба мудро разборчивы в своем отношении к определенным личностям: вот ведь все другие утонули, а его вынесла на берег волна! Да, когда люди сами не умеют разглядеть достойных, то некая сила свыше все равно вознесет их над остальными и любовно опустит к подножию скалы. Я уже не чувствую себя несчастным! Пускай они пляшут там внизу, пускай каждый забавляется, как умеет... И вдруг мне начинает казаться, что эти, которые находятся ниже меня, тоже для чего-то необходимы, в какой-то мере мы даже сливаемся воедино — одна половинка без другой ничего собой не представляет. Мы образуем единое целое. Вот именно, единое целое. Да, да, они должны быть мне благодарны: всей их доннакларщине грош цена, если бы наверху, над их головами, не сидел мальчишка в белых гольфах и не твердил в темноте вполголоса стихи.

И тут меня осеняет: это я, я являюсь оправданием их существования!

Я не могу усидеть на месте, мой дух воплощается в белковое тело весом в тридцать пять килограммов и длиной метр тридцать сантиметров; мое прошлое, настоящее, будущее и моя всевышним предопределенная судьба распрямляются в полный рост, дух этот не боится, что его могут заметить, он никого и ничего не боится, он простирает вперед руки. Я благословляю этих людей, я плачу, захлебываясь от собственных слез; соленые слезы текут мне в рот, я глотаю их, волосяной покров на моем теле, словно по приказу, встает дыбом. Я вам все прощаю! Нельзя требовать от глухого, чтобы он слышал, а от слепого — чтобы видел. Я вам все-все прощаю! Мир да пребудет с вами!

Тут я уже не выдерживаю и валюсь ничком на мат. Я долго плачу от сладкого счастья. Брезент намокает от слез и начинает пахнуть. Запах этот какой-то уютный, такой солоноватый с горчинкой, мне кажется, так должна пахнуть огромная солнцепышущая скала по-

среди песка, водорослей и морского безмолвия, на которой певец-избранник в полуденном зное сушит свою одежду.

12

Сегодня мой язык покрылся белыми пятнами и стал чесаться.

«Язык — это находящийся во рту мышечный орган, покрытый слизистой оболочкой. Вдоль нижней поверхности языка до дна ротовой полости тянется его уздечка. Спинка языка сплошь покрыта сосочками, которые подразделяются на нитевидные, грибовидные и желобоватые. Два последних вида содержат вкусовые луковички», — читаю я в одной книге.

«Железы языка особенно развиты у земноводных; также они имеются у птиц; у млекопитающих наряду со слизистыми железами имеются серозные железы. Серозные, или белковые, железы открываются своими выводными протоками в ровики желобоватых сосочков; попадающие сюда частицы пищи, разжиженные секретом железок, раздражают вкусовые окончания сосочков», — гласит другая книга.

«Изменения верхней поверхности языка могут наблюдаться и у здоровых людей. Вызванные чрезмерным ороговением белые пятна чередуются с красными, где ороговевшие сосочки отторглись, поэтому поверхность языка напоминает географическую карту, отсюда и название географический язык. Вследствие чрезмерного ороговения нитевидные сосочки языка могут утолщаться и значительно удлиниться, что создает впечатление, будто средняя часть поверхности языка покрыта волосами. Такой измененный язык называется волосатым, или черным. Никаких болезненных ощущений эти изменения не вызывают. Лечение не требуется», — зарегистрировано в третьей книге.

Я рассматриваю в зеркале свой язык, теперь я знаю, что у меня географический язык и эти белые пятна не имеют к раку ни малейшего отношения. Вот я опять чуточку поумнел. Я придирчиво исследую свой географический язык; сильно высовываю его изо рта и задерживаю дыхание, чтобы не запотело маленькое зеркальце.

Я помню одну Иванову ночь. Мы с Агнес отошли подальше и побрели сквозь влажный папоротник. Мы были с ней знакомы недавно, и там, среди папоротника, правда, не цветущего, свершился наш первый серьезный поцелуй. Агнес закрыла глаза; у нее красивые длинные ресницы. Край неба был малинового цвета; со стороны костра доносились пение и возгласы. Мы долго целовались, и я ощутил вдруг возбуждающе-пресный вкус ее языка. Вероятно, это и был пресный вкус тех самых вкусовых луковиц.

Я все рассматриваю свой длинный пятнистый язык, и мне становится не по себе: всю жизнь я должен держать во рту этот мясистый обрубок с сосочками! Если бы только всю жизнь — даже после смерти!

13

Сегодня опять хороший день. Я не так беспокоен, как обычно. Всю первую половину дня я просидел в шезлонге и щурился на солнце. С кухни шел аромат кофе и доносился мерный стук посуды. Небо было высокое и светлое, а белые барашки-облака были безмятежны, как сама вечность, и я подумал, что нет ничего естественней на свете, чем смерть, уход из жизни, когда твой круг завершен. А жизнь останется — родятся новые мальчишки, будут читать стихи, стесняться своих гольфов с помпонами, штудировать науки, затем женятся на Агнесах и станут отцами, чтобы когда-то умереть, оставив место новым поколениям. Всему когда-то приходит конец — уж так устроено в природе, хотя никто не знает, окончательный ли это конец. Почему-то веришь в вечное повторение вещей, беспрестанный переход из одного состояния в другое. На дедушкином надгробии высечено: «Мой отчий дом имеет не одну обитель». Может быть, это правда — кто знает.

Да, моя лодка приближается к порогам, я уже слышу жадный рев водопада, течение все стремительней, я знаю, где-то очень близко разверзнется пасть водной бездны... но она вовсе не ужасна, в ней есть что-то притягательное, спасительное; а как привольна и безбурна перед этим река: мирные берега залиты солнцем, окружающее видится ярко, отчетливо, вы бросаете прощальный взгляд, пытаетесь все это удержать в памяти.

Как державно это спокойствие перед падением, но вот река чуть заметно убыстряет течение, вы нацеливаете лодку точно на стрежень, оставив далеко позади себя жалкие суденышки, которые барахтаются в волнах среди прибрежного бурелома; вы слышите рокочущий, зовущий, величественный гул, он манит, уговаривает, завораживает. С полузакрытыми глазами вы входите в водоворот, ваше лицо обдают прохладные брызги; может быть, в этот последний миг, когда нос лодки опустится вниз и вас высоко вознесет над водопадом, перед вашим взором распахнутся новые дали, бескрайние равнины, нежащиеся в ленивом покое. О, этот миг перед бездной — быть может, над вами в ликующих водяных брызгах, подобно королевским вратам, будет сиять радуга. Мой отчий дом имеет не одну обитель...

Я услышал шаги и открыл глаза. По дорожке шла сестра Маргит с букетом астр. Она улыбнулась мне. Я улыбнулся в ответ. У Маргит теплые карие глаза, они излучают спокойную доброту и понимание. Это очень соответствовало моему настроению. Маргит протянула мне багряный цветок и пошла дальше. Я смотрел на ее неторопливую сдержанную походку, — в душе я робею перед этой девушкой, и только потому, что это она обычно стоит у ложа умирающих и провожает их в последнее путешествие.

У Маргит пепельные волосы, она удивительно тихая девушка. Говорит мало — только самые необходимые слова. И никогда она не заговаривает первой.

Другое дело — с умирающими; почему-то я думаю, что с ними она разговаривает. Я могу представить, как им нужен ее тихий, успокаивающий голос; может, я ошибаюсь, но мне кажется, что тогда в ее мягком грудном голосе появляются нежные воркующие нотки — этакие увещательные, а то и кокетливые. Голос Маргит — это голос с лестницы, ведущей в подвал, он как протянутая к тебе из темноты заботливая рука, чтобы ты не боялся спускаться. Почти все умирающие хотят, чтобы у их кровати стояла Маргит, и все больные, когда им плохо, зовут на помощь только Маргит.

Само ее лицо приносит успокоение. Маргит красива, но красота ее приглушенная. А ее взгляд — это взгляд посвященной. Ее невозможно стыдиться. Часто мне кажется, что лицо Маргит я знаю давно-давно, есть в нем черты, уже виденные мною где-то, — может быть, на

картине, неброской, но запоминающейся, что мерцает в полутемном углу выставочного зала.

Я уверен, что не я один так думаю и чувствую. Во всяком случае, с Маргит мужчины никогда не заигрывают. Разве что какой-нибудь Й. Андрескоок по скудоумию своему будет строить ей глазки, как заурядной сестричке-вертихвостке. Как-то вечером, лежа в постели, я думал о Маргит и не мог вспомнить ничего, кроме ее лица и голоса. Она женственна, даже очень, но, несмотря на это, как-то беспола; я даже не смог бы ответить, пышногрудая она или вовсе плоская. На следующее утро я пригляделся внимательнее: телосложением она напоминает Агнес — у Агнес груди торчат чуточку в стороны; поймав себя на подобных мыслях и сравнении, я опустил глаза, как если бы застал нечаянно в ванной за умыванием маму или сестру.

Вот такая и есть наша Маргит, молодая женщина, которая так часто должна видеть смерть и руки которой столько раз соприкасались с этим строительным материалом, что с разрушением человеческой конструкции вновь разжигается. Я хочу, чтобы она стояла и у моего изголовья, когда мою лодку будет нести в бездну, — в тот самый миг, который считается гордым и торжественным, но когда все мы нуждаемся в поддержке. Я надеюсь, что ее спокойствие вместит в себя протестующие метания вопящей плоти, когда меня, как улитку, будут вытягивать из собственной раковины; я надеюсь, что она сумеет как бы поглотить мои последние муки и что нежные обволакивающие волны ее воркующего голоса вынесут меня на своем гребне из всех мучений.

Быть может, все это звучит надуманно и высокопарно, но именно такие чувства владели мною, когда я, держа в руках багряную астру, смотрел в мягкую синеву неба.

Конечно, это не ревность (какую ревность можно ждать от человека, который даже к рождению кровного дитя не относится с должной серьезностью, а на свою любимую жену умеет смотреть взглядом постороннего?), нет, о ревности не может быть и речи, но все

же мне не дает покоя, что Яника уже полтора часа прямо под моим окном болтает с этим андрескооком (как хорошо писать его фамилию с маленькой буквы). О чем вообще могут беседовать два столь несхожих человека?

Правда, говорит только он, но, судя по всему, Яника его внимательно слушает. Она сидит на камне — большая, с детским лицом, и я боюсь, что она и не успеет заподозрить неладное, как уже попадетсЯ в паутину его бредовых речей.

Андрескоок носит пенсне, и у него ухоженные седые усики; у меня нет оснований сомневаться в физической чистоте его тела, но почему-то на меня он производит неопрятное впечатление. Я не могу обосновать эту свою антипатию к нему, но она очень сильна. Я склонен заподозрить Андрескоока в самых невероятных грешках; когда он утром прогуливается по дорожке парка, насвистывая арии из оперетт и поигрывая тросточкой, мне кажется, что все это чистейший обман, претендующий на алиби парад и только. Есть в нем что-то от церковного старосты, причем такого, который приходские деньги тратит на свои закулисные гнусности, но умеет спрятать концы в воду. Когда наведываются контролеры, он, в пенсне, с расчесанными усами, степенной походкой идет им навстречу и улыбкой приветствует их — этакий добродетельнейший пожилой господин со свекольно-красными щечками...

Видно, Яника уже попалась к нему на удочку — почти каждый день они находят, о чем беседовать по часу, а то и по два. Как-то я спросил у этого Йота, чем Яника занимается. Он ответил, таинственно подмигнув: «Филолог, французский филолог, переводчица патентной службы, — и лукаво добавил: — Франция, о да...»

«Ну и что тут такого, почему вы усмехаетесь?» — спросил я.

«Конечно, ничего такого, в смысле — ничего плохого, вы об этом?» — И он с видом святоши прошествовал дальше.

Ох, Яника! Большая белая Яника, женщина-ребенок, немного сонливая и апатичная, ты и не умеешь бояться. Я и сам точно не знаю, какие именно опасности тебя подстерегают, но будь осторожна, будь очень осторожна!

У Яники на левой щеке крупная коричневая родинка, покрытая редким светлым пушком. У меня какая-то врожденная брезгливость к большим родинкам — у некоторых они бывают страшные и мохнатые, как гусеницы, но Янике этот каприз природы даже идет. У нее настолько нежная, матовая кожа, что она может себе позволить подобное украшение. Мика Валтари в своей «Синухе» пишет, что древние египтянки носили под париками короткий — не выше двух миллиметров — бесподобный ежик. Валтари утверждает, что египтянки иногда снимали парики и разрешали своим избранникам гладить макушки, отчего последние приходили в невероятный экстаз. Вот и Яника, может, позволяет Й. Андрескооку трогать свои родинки... Нелепая, дурацкая мысль, но меня так и тянет свалить им сверху что-нибудь на голову.

Я отворяю окно, подслушиваю, о чем они воркуют, мне кажется, я даже улавливаю отдельные слова. Помоему, Андрескоок как раз распространяется о Шопенгауэре, который, якобы, утверждал, что давать человеку жизнь — величайшее преступление. Яника слушает его, томно позевывая.

Каково? Что мне прикажете думать на этот счет?!

15

Все они словно убегают от меня: в прошлое воскресенье — Геннадий, а сегодня — Агнес с малышом. Они мчались так, что от колес дым валил. Ну и пусть удирают — тем лучше.

Я еще вчера узнал, что они сегодня придут. Ночью мне не спалось — это было что-то вроде горячки перед выступлением; ведь я постоянно озабочен тем, чтобы Агнес была мною довольна, на этот раз передо мной стояла задача посложнее: вероятно, мне придется ребенка взять на руки, а может, и помочь Агнес его пеленать, но главное — улыбка, благодарная улыбка счастливого отца, сияющая и оптимистичная, ни на миг не должна сходить с моего лица.

Малыш оказался красным и сморщенным. Когда я заглянул в конверт и увидел его свекольно-красное лицо, мне тут же вспомнился Й. Андрескоок. И как назло, сей субъект явился собственной персоной.

Он поиграл перед самым носом моего малыша своим согнутым желтым пальцем, смешно приговаривая «тю-тю-тю»; отметил, что парнишка — вылитый папаша, чем заслужил улыбку Агнес. «Ученым будет, ученым... вон уже сейчас лоб в умных морщинах». Затем он спросил у Агнес (и это меня просто возмутило), хватает ли у нее молока. Задавая этот вопрос, он сохранял такую безупречно-постную мину, что Агнес и не заметила моего недовольства. И она доверила ему тайну, сказав, что молока даже чересчур много — часть отдаем младенцу из соседнего дома. Йот сказал, что это хорошо, когда молока хватает, лукаво стрельнул глазами в мою сторону и, еще раз потютюкав над ребенком, с хитрой улыбкой удалился. Итак, теперь он знал, что у моей Агнес молока достаточно.

Мне дали ненадолго подержать малыша; я сидел прямо, как несгибаемая коричневая кукла из воска, вымучивая улыбку и боясь пошевелиться. Агнес смотрела на нас счастливыми глазами. Она сильно расплелась, ее и сейчас еще можно было принять за беременную. Лицо у нее стало круглым, как луна; когда она наклонилась, чтобы поправить мою руку, которой я поддерживал затылок малыша, я ощутил приторно-сладкий запах молока, точно так же пахло у нее изо рта.

— У него еще роднички не заросли, — сказала Агнес.

— Что, что?

Агнес любовно обнажила ребенку макушку; я не совсем понял, что там у него должно зарости, заметил только, что на его тонких волосиках блестели точно такие же бусинки пота, как и у Геннадия, когда они мне напомнили эффект точки росы; но потом я разглядел, что на темени этого маленького человечка, крикливого и сморщенного, вроде что-то пульсирует.

— У новорожденных между костями черепа расположены роднички, которые в течение первых месяцев жизни зарастают. Различают большой и малый роднички. — Она говорила еще что-то. Это были железные книжные фразы, но я заметил, что интонация у Агнес переменялась. Она говорила самоуверенно, поучительно, даже чуточку с назиданием. Ни следа не осталось от этого «мазоквинсентастановитсяещеболеенервным...» И тут в голове у меня промелькнула на редкость дурацкая мысль, скорее упрек: Агнес, оказывается, ты уже далеко не девица...

Ребенок заплакал, и я мог отдать его Агнес. Я даже обрадовался: эти роднички меня как-то напугали. У парня был требовательно-пронзительный голос. Агнес принялась его качать и убаюкивать, не проявляя при этом никакой встревоженности, — да, она очень изменилась. Но убаюкивания не помогли, рот малыша раскрылся в плаче во всю ширь — ну и большущий рот для такого комочка!

— У маленького Яна в животике газы? да? — ласково завохотала Агнес.

Я а н а? Значит, его уже назвали моим именем: выходит, Агнес полностью смирилась с мыслью, что я... Ну да, чего тут удивляться? Хорошо, но почему она до сих пор притворялась?

Агнес согнула маленькому Яну ножки и прижала их к его животу. По сравнению с ртом его свекольно-красные ножки казались невероятно крошечными. Кроме того, они были слегка кривые, наверно, вначале так и должно быть — шутка ли, три четверти года просидеть на корточках в утробе Агнес. Как вообще такое маленькое существо в состоянии вынести подобное положение?

Смысл этих упражнений я уяснил позже, когда малыш издал звук, очень похожий на писк плюшевого медвежонка, если на него нажать.

— Ведь ты еще не умеешь тужиться, как мы с папой. Эта фраза мне ужасно не понравилась.

Пискнув таким манером еще раза два, парень успокоился, и Агнес уложила его «баю-бай» в большую ярко-синюю коляску. Она спросила у меня, нравится ли мне коляска, — сейчас такие как раз в моде. Я ответил, что нравится. После этого нам удалось более или менее нормально поговорить. Агнес снова похвалила, что я хорошо выгляжу. Она каждый раз говорит это, но сегодня я понял, что она боялась худшего. Я и сам удивляюсь, что в последние недели чувствую себя лучше; я продолжаю спускаться с горы, но не так круто, как раньше. Может быть, это последний, наиболее пологий, отрезок трамплина? Агнес спросила, какое имя мне бы хотелось дать мальчику. Видимо, она и не заметила, что уже назвала его при мне Яном. Я сказал, что мне все равно, и тут же понял, что не следовало так говорить. К счастью, Агнес в тот момент слушала меня без особого внимания. Ей лично нравится Ян, но

Яном, наверно, называть не годится, то есть сейчас не годится, пока я еще окончательно не поправился, иначе это будет, как... Она подыскивала подходящее слово, и я понял, что правильнее всего это назвать «прежвременным списыванием». Она добавила, что именно поэтому и не дает пока мальчику определенного имени. Я нашел повод, чтобы повозиться над своей туфлей.

Еще я узнал, что она смазывает малышу пупок зеленкой, чтобы не было прелости, и что пупок у него отпал поздновато — лишь на десятый день.

Агнес стала какой-то чужой. Теперь у нее есть другой Ян, подумал я и заставил себя поверить в то, что это чудесно, потому что это на самом деле чудесно...

Вскоре парень опять заплакал, и Агнес сказала, что он на редкость спокойный ребенок. Она взглянула на часы; я заметил, что ей пришлось в ремешке проткнуть новую дырочку — даже запястья у Агнес стали толще.

— Ну конечно, его пора кормить, — озабоченно сказала Агнес, беспомощно озираясь. Первой мыслью было у меня зайти за больницу, но тут я вспомнил ревнивое отношение Леопольда к покойницкой и вообще, подходящее ли это место для кормления грудного ребенка.

— Отвезем-ка его подальше, на огороды.

Агнес остановила коляску там, где начиналась крапива, и расстегнула платье. Я отошел и сел на свой ящик из-под гвоздей. Вначале я немного понаблюдал вблизи, как парень жадно глотает молоко, — он требовательно, если не грубо, теребил грудь, но, как ни странно, меня это растрогало. Еще я порадовался, что из множества грудей на свете я выбрал для своего наследника именно эту. Давай тяни, тяни, не жалеи! Уж она-то вытерпит! Отсюда, с ящика, я не видел жадного выражения его лица и поэтому чувствовал, что мы с ним в какой-то мере союзники.

Справа от меня находилась тыква, которую я и раньше сравнивал с мадонной, слева сидела Агнес, деловито и гордо кормя ребенка. Я был между ними.

— Чего ты там усмехаешься?

— Да так... Ничего.

Парень наконец насытился, и теперь повез его я. Мне было немного стыдно катить коляску, тем более в моем больничном одеянии, поэтому я шел как можно быстрее. Конечно, это была не такая уж большая скорость, но когда я передал коляску Агнес, малыш раскри-

чался — видно, ему понравилось, как сотрясалась коляска.

— Папа у нас сильный. Мама так быстро не может.

Это был дурацкий комплимент. Они уже собрались уходить, и чтобы убажить крикуна, Агнес пришлось повезти его на большой скорости. Это выглядело как бегство, но они пообещали в скором времени прийти снова. Я посоветовал Агнес в следующий раз оставить ребенка с тещей дома: хотя рак и не заразное заболевание, все же — подальше от греха.

Это так напугало Агнес, что она даже забыла начать меня разубеждать, что у меня нет рака. Сказала только, что подумает над этим, и прибавила темп.

16

Почти каждый день я записываю новые слова на обороте тетради; теперь я уже абсолютно уверен, что все их расшифровать мне не удастся. А жаль, потому что пушкинский «Узник» и эти мальчишеские балконные переживания скрасили мне целых два вечера; я даже слегка привирал там (или приукрашивал — это уж точно), раньше я и не догадывался, что врать себе — такое приятное занятие. Думаю, что когда-нибудь мне все же придется доработать эту главу — во имя истины, — но сокращать ее я не собираюсь; мне нравится, что в моем раковом дневнике есть такое пространное повествование о чем-то абсолютно нераковом. Это, если хотите, своего рода протест.

Сегодня у меня другая тематика. Сегодня я имею честь провозгласить себе, что нашел смысл жизни.

Конечно, глупо, когда провозглашают подобные вещи, но ведь все люди ищут его, этот самый смысл, будто он непременно существует, но только куда-то затерялся. Вначале я хихикал над своей идеей, но чем больше я над ней посмеиваюсь, тем серьезнее начинаю ее воспринимать. Кроме того, мой смысл жизни привлекателен еще и тем, что его осуществление не требует от меня никаких усилий: я могу хоть сейчас объявить труд своей жизни успешно завершенным. Выходит, всю свою жизнь я был неутомимым тружеником, выходит, я работал и во время сна и даже здесь, в больнице... Все это меня так веселит, что я не знаю, с какого конца

взяться за свои записи: я маленькими глотками пью воду, чиню карандаши, поднимаюсь из-за стола, шагаю по комнате из конца в конец, сажусь, снова пью воду.

Все произошло под той самой осиной.

Сегодня не было этих маленьких комаров — сангвиников, — я уже как-то размышлял над их судьбой и их надпочечниками, — сегодня опустил на осину индивид покрупней и пострашней. Брюшко у него было узкое и удлиненное, с красными поперечными полосками — они придавали ему зловещий вид. Впечатление это усиливала тончайшая, словно металлическая, игла; вначале я принял ее за жало, но потом увидел, что ее обладатель орудует ею гораздо хитрее. Он расхаживал вверх и вниз по коре дерева и время от времени постукивал по ней своей стальной иглой. Казалось, будто он прислушивался к чему-то. Говорят, есть люди, которые умеют с помощью волшебного прутика находить место для колодца, даже открывают месторождение полезных ископаемых. Вот, наверно, так же вел себя этот воздухоплаватель: походит, походит, постучит — прислушается. Видно, он уже напал на след: горделиво взмахнул своей иглой и приступил к серьезным буровым работам. Удивительно, как его тоненькая антенна — толщиной с волосок — протыкает кору дерева? Что он надеется там найти?

Но, гляди-ка — из-под коры вылезает упитанная восково-желтая личинка. Вот дуреха — сама мчится навстречу своей гибели! Это зрелище противно мне, но я не отворачиваюсь — смотрю, что будет дальше.

И вот уже эту здоровенную личинку оседлал всадник. Дородная, жирная личинка пытается вырваться. Мясистая кожа ее волнообразно сокращается, она поднимается на дыбы — никогда бы не подумал, что такое апатичное существо способно на столь энергичные действия. Я вижу ее коричневые глаза-бусинки, такие несуразно и беспомощно крошечные для этой туши. По личинке пробегают сильные волны — точь-в-точь, как море в шторм. Но такой парусник не опрокинешь. Похожий на осу, сверкающий супермен непоколебим. Именно супермен, пришелец из космоса, одушевленная ракета. Жемчужные крылья, красное брюшко — сплошь сталь, стекло и пластмасса. Буровые работы продолжаются.

Личинка валится в траву, но эта хитрость ей не удастся: жестокий всадник, не раскрывая крыльев,

падает вместе с ней. Ничего не изменилось — только трагедия теперь разворачивается на фоне зеленых декораций. Почему этот садист так ее мучает, — судя по всему, у него нет в планах съесть ее. Он вонзает свою иглу ей в жировые подушечки, некоторое время держит ее там, и так несколько раз подряд. В этих действиях есть что-то постыдное... У меня возникает запоздалое желание спасти личинку — эту жирную гармошку из мяса, — как-то помочь ей, потому что у меня вдруг встает перед глазами рисунок из анатомического атласа: надпочечник по форме напоминает личинку, поэтому эти уколы кажутся мне особенно непристойными. Я беру соломинку, чтобы отпугнуть мучителя, но — поздно: он не испытывает уже ни малейшего интереса к своей жертве, расправляет крылья и сверкающей ракетой взмывает ввысь. Он даже не попытался позавтракать личинкой. Какой-то извращенный донжуан.

Что же теперь станет с нею? А она, как ни странно, жива-здорова. После короткого меланхолического размышления она взбирается обратно на свою осину и залезает под кору. Что же это было?

Тут я вспоминаю, что когда-то читал в «Детских радостях» о каких-то наездниках, которые откладывают яйца в живых личинках. Личинки в личинках — помню, это потрясло меня тогда. Выходит, этот стальной господин — вовсе не он, а она, и все это проделывалось из материнских чувств или что-нибудь в этом духе. Хоть сейчас личинка и в безопасности, под корой, но она уже начинена яйцами, от которых погибнет. Как ни в чем не бывало грызет она коричневую, мягкую сердцевину дерева, а мозг ее — где-то за коричневыми глупыми глазами — и не подозревает, какая беда стряслась с нею. Вначале она нечто вроде кладовой, но скоро ее собственная оболочка станет ей гробом; маленькие личинки изгрызут ее вдоль и поперек. С той самой минуты, как наездник воткнул в нее свою иглу, время работает против нее. В ней зреют яйца... Стоп!..

Так вот что напомнила мне Яаника, когда ела яйцо: ведь скорлупу она втоптала в землю...

Теперь я вспомнил! Ведь и я закопал когда-то в землю пять яиц!

Мне вспоминается сладковатый запах одной старинной книжки на немецком языке: блюда китайской кухни. В этой книге были китайские гравюры и рецепты

самых диких блюд: блюда из медузы, блюда из улиток. На гравюрах было изображено, как одни китайцы жарили и парили всевозможные гадости, а другие — одетые побогаче, видимо, вельможи, уплетали это при помощи палочек, зажмурившись от удовольствия. Когда я читал эту книгу, почему-то мне казалось, что я делаю что-то недозволенное. Были там и яичные блюда; в одной длинной балладе говорилось о таком яичном блюде, которое и я без труда сумел бы приготовить.

Обхватив голову руками, я сидел в лучах заходящего солнца, почему-то по-турецки скрестив ноги, как и вельможи на гравюрах, и, зажмурившись так же, как они, припоминал строки из пожелтевшей книги:

Fünf Eier

Fünf Jahre war ich alt —
fünf weisse Eier grub ich ein
in die Erde unter dem Baum.

Zehn Jahre war ich alt —
gern hätt' ich nach ihnen geschaut,
den Eiern unter dem Baum.

Als ich dann fünfzehn war,
da hatt' ich sie vergessen in der Fremde,
die Eier unter dem Baum.

Zwanzig war ich, zurück in der Heimat,
und als ich Hochzeit hielt, gedacht' ich
die Eier unter dem Baum.

— — — — —
Ich zählte fünfundzwanzig,
mein ältester Sohn fünf,
sein Bruder um zwei weniger,
alt die Schwester geboren ward...

Da nob ich sie aus der Erde,
die fünf Eier unter dem Baum —
sie hatten sich verwandelt
zu köstlichem Gericht.

Und ich sann nach
über des Eies Verwandlung
und den Wandel des Lebens...*

* Пять яиц

Когда мне было пять лет,
я закопал пять белых яиц
в землю под деревом.

Если я не ошибаюсь, это было воскресное утро. Я встал раньше всех — было часов шесть, не больше. Я взял яйца из гнезда, о котором бабушка и понятия не имела, — черная несушка уже с неделю назад облюбовала старые сани в сарае с инвентарем. С лопатой через плечо я направился полевой тропинкой к речке. Встречным я бы объяснил, что иду копать червей. За пазухой, на голом теле, я нес пять яиц, одно было совсем еще теплое. Шел я осторожно — мне нельзя было споткнуться.

Солнце только всходило, было удивительно тихое утро. Отблеск зари чисто и празднично сиял на железной кровле деревенской церквушки. На небе не было и намека на облачко. Все предвещало жаркий день. Но небо еще не набралось разморенной синевы, над речкой висела легкая дымка, утро было бархатно-мягким, полным чуткого ожидания. Сейчас меня удивляет, как я мог позабыть про эти яйца: мягкое безветренное небо, красный отблеск зари на церковной башне и мальчишка с лопатой — ведь эта картина навсегда запечатлелась в моей памяти. Каждый раз, когда я слышу «Утро» Грига, она встает у меня перед глазами. Теперь я понял и то, почему начало пасторали кажется мне таким хрупким и словно бы крадущимся на цыпочках: ведь я несу за пазухой яйца и мне нельзя споткнуться.

Когда мне было десять лет,
мне так хотелось посмотреть на них,
на яйца под деревом.

Когда мне стало пятнадцать лет,
я забыл о них на чужбине,
о яйцах под деревом.

В двадцать лет я снова был на родине,
и когда я справлял свадьбу, я вспомнил
о яйцах под деревом.

— — — — —
Мне было двадцать пять лет,
моему старшему сыну пять,
его брату на два года меньше,
когда родилась сестра...

Тогда я выкопал их из земли,
пять яиц, что были под деревом, —
они превратились
в лакомое блюдо.

И я задумался
о превращении яйца
и о переменах жизни...

Мой выбор пал на плакучую березу, ее невозможно спутать с другими — она росла единственная в нашей округе. Плакучая береза подходила мне еще и по другой причине: ведь двадцать лет — почти вечность, за это время у меня даже могут появиться дети. Береза слабо шелестела, ее длинные свисающие ветви почти касались земли, и когда я вдавил лопату в землю, на миг мне стало жутковато.

Я благоговейно опустил яйца — одно все еще было теплее остальных — в черную квадратную ямку и быстро заровнял могилу. Затем перочинным ножиком сделал зарубку на стволе березы — когда-нибудь по этой отметине я найду правильное место. Тайник отстоял от дерева ровно на двенадцать ступней, и мне самому было двенадцать лет. Я не сомневался, что это мне запомнится.

Закончив работу, я пристально осмотрелся вокруг — нет, меня никто не видел. В поселке еще спали, лишь временами то тут, то там подавали голос петухи. Они пели как-то многозначительно, и я постоянно возвращался к мысли, что одно яйцо было совсем еще теплым. Из него никогда не вылупится ни петух, ни курица. Я почувствовал, что совершил небольшой грех, но тут мне вспомнились хитро улыбающиеся узкоглазые люди с гравюр, и вдруг все это мне страшно понравилось. У меня есть тайна, о которой не знает ни одна душа. Да-да, я тайный грешник-чревоугодник!

Я обхожу спрятанное сокровище в медленном крадущемся танце, слегка согнув колени и таинственно покачиваясь из стороны в сторону. Этот диковинный танец родился на месте, — мои руки и ноги сами его выдумали, — Танец Тайных Грешников — Чревоугодников.

Я даже не заметил, что пора включать свет. Мне приходится низко склоняться над столом, чтобы разобрать написанное. Я думаю о своем сыне; может быть, как раз сейчас Агнес прижимает ему ножки к животу («Ведь ты еще не умеешь тужиться, как мы с папой...»). Я думаю о Геннадии, о своей лаборатории — наверно, эти смологонщики уже втащили туда свои автоклавы. Перед глазами у меня стремительно проносятся вся моя жизнь: школа, институт, женитьба, наши с Агнес вечера и ночи, тот день, когда мне пришлось лечь в эту больницу и многое другое.

Мне становится даже неловко: я думаю и пишу вовсе не об этом, а о каких-то пяти зарытых в землю куриных яйцах... Но тут же что-то во мне заставляет подавить даже малейшее чувство вины. Потому что эта история с яйцами не только игра, нет, она разрастается в нечто более значительное, она превращается в узел, гордиев узел, который я должен разрубить. Я встаю, хватаюсь ладонями за край стола — меня трясет пьянящая ярость. Благодарю покорно! К черту ложный стыд! Здесь он ни к чему! Слепое, тупое, случайное дало мне мою жену, мою работу и, наконец, сына; теперь оно с тем же равнодушием отбирает все это у меня! Оно всадило в меня рак и швырнуло в эту больницу. Долой сантименты! Зачем мне хилая, слюнтяйская душонка среди этого океана бездушия? Здесь, в больнице, я приучался быть суровым и равнодушным, я старался изо всех сил относиться с безразличием к жене, к ребенку, к целому миру. Я и впредь хочу быть таким, как этого требует игра, и я не намерен интересоваться не чем иным, как только этими яйцами — этим блюдом «fünf Eier unter dem Baum». Я хочу съесть эти яйца и, нажравшись, рыгать. Если мне это удастся — все в порядке. Игра окончилась вничью. Более того, я оставил в дураках само Время: даже когда оно торжествовало свои победы надо мной, ему приходилось выполнять весьма прозаическую работу — Время служило у меня кухаркой! Усердно готовило яйца. Время работает против нас; все мы похожи на ту личинку, что сейчас переваривает мякоть осины и не знает, что делает это уже для других. Время и Рак сейчас вдвоем грызут мои почки, но все равно в то же время поспевают мое яичное блюдо! Это меня веселит, страшно веселит! Даже совершая свои самые бестолковые поступки, я являлся, сам не зная того, Погонщиком Времени; по крайней мере в одном оно обслуживало меня все эти годы, все эти двадцать лет, которые превратили двенадцатилетнего мальчишку в тридцатидвухлетнего мужчину. И эти яйца я съем — даже если для этого мне придется прыгать через забор!

Погонщик Времени! Это здорово!

Мудрые люди были эти китайцы, которые, зажмурившись, вкушали свое лакомство: ведь в каком-то смысле они ели само Время.

Мне хочется согнуть колени и загадочно покачаться

из стороны в сторону. Я хочу хотя бы мысленно протанцевать еще раз этот Победный Танец Тайных Грешников — Чревоугодников! Что из того, что я теперь всего лишь большой мешок, набитый похрустывающими раками.

Игра продолжается.

17

Дряхлый король возлежит на смертном одре под расшитым золотом балдахином. Дымящиеся курильницы источают сладкий запах ладана. Бледный придворный лекарь шепчет первому министру, что утрачена последняя надежда: не помогают ни мази из спинного мозга тигра, ни порошок, смолотый из черепа разбойника, повешенного на развилке дорог, бессильны перед смертью всемогущие целебные травы и магические волшебные припарки. Не остается ничего иного, как поить короля чаем из смолевки и уповать на чудо. Надо бы предупредить священнослужителя, чтобы он был готов.

Старый король подслушивает за балдахином все эти разговоры, — у него под подушкой спрятана слуховая трубка, — преодолевая немощь, он приподнимается на груди подушек и требует к себе хранителя королевской печати. И вот уже сей знатный сановник склонился над золотым ложем, и король что-то шепчет ему на ухо. Он удаляется и вскоре возвращается со шкатулкой из красного дерева.

«Открой эту шкатулку и вытащи из нее карту!»

На свет извлекается пожелтевший лист пергамента — на нем множество стрелок и пунктирных линий, а большим красным кружком обозначено точное местонахождение тайника.

«Теперь загляни под мою кровать — только смотри не опрокинь горшок! Ты увидишь там позолоченную лопатку. Выбери двух своих самых верных подданных, возьми эту лопатку и ступай! Ты знаешь, что тебе следует делать!»

Отвесив низкий поклон, почтенный вельможа отправляется в путь.

«Если ты по дороге вздумаешь набивать свою утробу — пеняй на себя! Всю жизнь я был на ред-

кость душевным человеком и никогда не опускался до «излишнего злоупотребления» властью, но если ты, старая шляпа, не сумеешь обуздать себя, я применю к тебе за правонарушение какую-нибудь забытую статью нашего уголовного кодекса. Не забывай о своем геморрое, *mon ami!** Помни о нем и о телесном наказании! Ты должен вернуться к третьим петухам, не то...

Как раз перед третьими петухами придворный возвращается. Он протягивает королю нечто вроде округлых плодов, бугристых, с прилипшей землей, и громко сглатывает.

«Музыки, господа!» — требует король.

Придворная капелла начинает играть.

«Веселей, веселей! Гобой д'амур, что ты визжишь, как представитель отряда парнокопытных, застрявший в заборе! Виола да гамба, это относится и к тебе! *Più mosso! Meno mosso! Allegro molto e giocoso***, господа!»

И вот уже музыка гремит вовсю, легко взлетают смычки, гобой д'амур затягивает популярный уан-степ об охотниках на медведя, что шкуру поделили, а денежки пропили.

Король обтирает яйца краем одеяла. Придворный лекарь падает в обморок. Его выносят.

«Все мои начинания, дорогие скорбящие, увенчивались успехом. Это относится и к яйцам. Особенно к яйцам!»

Король съедает зараз все пять яиц, еле слышно бормочет: «*Fünf Eier unter dem Baum*», — и, громко рыгнув, радостно испускает последний вздох.

Комнату освещает настольная лампа. Я заткнул замочную скважину, чтобы свет не выходил наружу — в полутемном коридоре сестры могут его заметить. Два часа ночи, никто и не подозревает, что я еще сижу за столом и пишу.

Передо мной две сувенирные стограммовки коньяка. Я тоже насвистываю этот знакомый уан-степ об охот-

* Мой друг (франц.).

** Более оживленно! Менее оживленно! Очень быстро и весело (итал.).

никах. Мою шкуру ждет та же участь. Но прежде я съем эти яйца. Я дам наказ Агнес, и она принесет мне их. Я с точностью могу описать то место, она обязательно найдет их и принесет мне.

Напишем-ка еще одну вариацию.

Он отпетый проходимец. Всю свою жизнь он был благовоспитанным деликатным проходимцем. У него мягкие руки, которые никогда не прикасались ни к какой работе. Взгляд его васильковых глаз по-детски мечтателен и чист. Для мечтаний у него, действительно, находилось много времени.

В один прекрасный день он чувствует, что его последний час настал. Он созывает своих близких друзей — все они благовоспитанные, деликатные проходимцы, у всех у них такие же мечтательные глаза. Никто из них никогда не трудился, все они прожили свою жизнь по-христиански беспорочно. Уже в юности они уяснили, что не имеют права растрачивать свою драгоценную жизнь на никчемное вкалывание, как-то: рытье канав, строительство домов, обработку полей, уж не говоря о таком неприличии, как приготовление смертельных растворов для симпатичных, лакомых до свеклы, щитоносок. Жили они, как дети, выпрашивая милостыню у близких и приворовывая на стороне, но только у тех, кто чересчур богат и жаден. Бывало, под лодкой они попивали денатурат и размышляли о загадочности вселенной.

«Я хочу показать вам труд своей жизни, дорогие друзья», — произносит наш бедный друг, готовящийся к загробной жизни.

«О, мы прекрасно знаем труд твоей жизни. Мы помним твои волнующие проповеди и высказывания о небе и земле, о жизни и смерти. Ты учил нас любоваться цветком и бабочкой. Как ты покажешь все это еще раз, о кумир души нашей? Ведь это невозможно и не нужно», — отвечают все четыре друга хором.

«Дорогие мои, я благодарен вам за эти прекрасные слова, которые несут печать величия вашего духа и которые говорят о том, что наши созерцания и размышления на темы Абсолюта не прошли даром, — отвечает наш друг. — Но тем не менее последние двадцать лет я работал за вас, эта работа требовала упорства и твер-

дости характера, так как нередко мне приходилось от голода потуже затягивать ремень, хотя последнего у меня уже давно не имеется. Я приготовил вам вечерю, мои братья по духу, великолепную вечерю, которая и не снилась этим нелепым существам, бестолково снующим по улицам нашего прекрасного города. Так отправимся же все вместе за город, на нашу любимую поляну, там состоится трапеза, которую с полным правом можно назвать Тайной Вечерей. Да, да, именно так можно ее назвать, причем это событие облагорожено тем, что среди вас нет Иуды. Вот пять бутылок той лиловой жидкости, которую обычно люди используют как горючее для спиртовок, мы же — заправляемся ею сами. Так идем же! *Carpe diem!**

За городом на поляне он усаживает своих друзей под большим деревом, а сам принимается копать землю у камня.

«Что ты там делаешь, наш брат и учитель?» — спрашивают четыре жреца.

Мой повар — ВРЕМЯ — славно постарался!
Друзья, я выкопаю из земли
Бессмертьем фаршированные яйца —
Такого не едали короли!
Так откупорьте же напиток быстротечный,
Вновь обретенным радуясь годам!**

И вот они вкушают восхитительнейшее яичное блюдо. Каждому достается по одному яйцу, приготовленному самим ВРЕМЕНЕМ. Они сидят под голубым небом и в порыве благодарности обращают ввысь свои честные глаза.

«Все мои начинания увенчивались успехом», — тихо произносит хозяин пира, складывает на груди руки, затем, тихо и мелодично рыгнув, отправляется... на тот свет.

* «Срывай день», то есть пользуйся каждым днем, не надеясь на будущее (лат.).

** Перевод Р. Винонена.

Когда мне принесли градусник, я еще спал тяжелым сном. Я взглянул на дежурную сестру сквозь полуопущенные веки, и мне почудилось, что ее лицо из гипса. Оно показалось мне таким леденяще-белым, что я тут же закрыл глаза. Но холодный овал уже крепко впечатался в сетчатку моего глаза и продолжал существовать под закрытыми веками. Единым взмахом ресниц мои глаза вобрали тонкую алую черточку, пробегающую поперек гипсовой маски, — словно наклеенная на нее полоска блестящей бумаги, — рот сестры.

Холодное стекло жалило меня. Градусник, словно яйцеклад наездника, отложил в темной куще моей подмышки сияющую капельку ртути. Зерно это прорастет в тепле моего тела и даст хрупкий, тонкий, как ниточка, росток. Он поползет вверх по капилляру; мое воображение уже нарисовало, как на верхушке его созревает бутон, набухает, и ртутный цветок раскрывается подобно вспышке холодного синего света, ослепительно озарив потускневшую гипсовую маску и алую полоску рта. Я открыл глаза и вытряхнул обратно в реальный мир это назойливое, тягостное видение.

В комнате было прохладно. Я встал и подошел к окну. Передвигался я без труда, только ноги казались ватными: я должен ступать аккуратно и по прямой линии — иначе они прогнутся.

Окружающий мир казался ярким и холодным. По расцветке он напоминал переводные картинки, которые дети переводят на свои тетрадные обложки. За ночь поднялся ветер; железная кровля скрипела, ветер гнал по дорожке мелкий белый песок. Сегодня, наверно, и не стоит выходить — этот песок забирается в рот и скрипит на зубах.

У покойницкой стоял грузовик, капот у него был казарменно-синего цвета. Вокруг машины суетились люди, одетые в черное. Ветер трепал полы их пальто.

Я снова прилег и, когда сестра забрала градусник, сказав, что у меня пониженная температура, закрыл глаза. За глазным яблоком есть такое место, где тепло, влажно и темно, — подумал я. Я провалился в сон — колодец сна тоже был теплый и влажный.

Меня разбудил стук в дверь. Я не ответил, постучали снова, дверная ручка тихонько опустилась, и в дверь заглянуло широкое лицо Леопольда.

— Вы спите... Нет, не вставайте! Я на минутку.

Не ожидая ответа, он сел на стул.

Леопольд прихватил с собой папку для рисования. «Хочет показать свои новые картины», — догадался я. Вдруг мне вспомнился старик-ижорец, и я понял, что мне придется встать, — ведь у меня не было для выплевывания косточек вишни.

— Наверно, я долго спал. Который час? Десять?

Я сел в кровати.

— Половина двенадцатого, — почему-то победно сказал Леопольд.

Я заметил, что он листает мою коричневую тетрадь.

— Да, музыка изящной словесности обошла стороной мою колыбель, — сказал Леопольд, резко захлопывая тетрадь. — Как говорится, она не благословила меня своим поцелуем, но я и не горюю.

Я чувствовал слабость в ногах, а под сердцем пульсировала какая-то странная пустота. Нащупывая под кроватью голый ногой сандалию, я взглянул на свою ногу, — большущая и желтая, она казалась мне инородным телом. Движения ее не подчинялись моей воле; нога будто жила своей жизнью; пальцы согнулись и, подцепив сандалию за верхний ремешок, подтянули ее поближе; затем большая и чужая нога неуклюже, но старательно заползла в свою нору, выставив наружу желтую, рыхлую пятку.

Леопольд все еще разглагольствовал насчет поцелуя музыки, но я заметил, что и он с интересом смотрит на мою ногу.

— Ну и желтая, — сказал он даже как-то уважительно. — Я хотел вам тут кое-что показать.

Он вытащил две картины и положил их рядом со мной на одеяло.

— Что скажете? А?

Я разглядывал картины и никак не мог понять, чем они отличаются от предыдущих: покойницкая та же, деревья те же, да и с небом не произошло никаких изменений. На всякий случай я по одной перебрал верхушки деревьев — вдруг там притаилась какая-нибудь новая птица?

— Я так и знал, что вам понравится, — сказал

Леопольд, хотя я еще ни единым словом не выразил своего одобрения.

— Не правда ли, здесь вся соль — в двери. Подтекст! Как это принято называть в мире художников.

Неожиданно он вскочил со стула и почему-то на цыпочках направился к двери.

— Я их вам дарю. Ухожу — не хочу мешать вам рассматривать их...

Дверь закрылась. С дверной ручкой он был опять осторожен — она медленно пришла в исходное положение и тихо щелкнула. Но я не услышал удаляющихся шагов Леопольда. Может, он и не ушел? Может, стоит за дверью, прильнув к замочной скважине, весь превратившись в слух.

Только теперь я понял, в чем дело: конечно, эти две картины отличались от предыдущих. Леопольд нарисовал дверь покойницкой открытой, на обеих картинах она была распахнута настежь, темная, изнутри обшитая жостью, дверь эта напоминала подбитое крыло большой черной птицы.

19

Болит голова. Как все это глупо: покойницкая Леопольда и мои пять яиц, — пять козырей, которыми я прошлой ночью надеялся обыграть судьбу. Клоунада, и только.

Ну и пусть клоунада. У меня еще хватает сил и упрямства. Я подхожу к столу, чтобы продолжить свои записи. Ноги все еще ватные, но это ощущение не такое уж и противное.

Итак, игра продолжается. Должна продолжаться!

Вчера мы здорово захмелели от малой толики коньяка; мы — это я и мой дорогой рак, которого я ношу под сердцем. Мы оба давненько не пьянствовали; одну бутылочку я выпил за свое здоровье, другую — за его; мы пили на брудершафт.

«Господа, очиним перья, — сказал когда-то лицеистам учитель словесности в Царском Селе, — очиним перья и опишем розу в стихах!» Если и мне попытаться описать свой рак? Между прочим, мой рак сегодня неважно себя чувствует, он вообще на своем веку редко сталкивался с алкоголем, чего я не могу сказать про

себя. В дни студенчества я вводил в себя спиртное в немалых дозах. Но моего рака тогда еще не было. Выходит, что он не имеет и высшего образования. Таким образом, у нас весьма ощутимая разница в степени интеллигентности, но я не делаю из этого номера...

Я не уверен, достоверны ли краски в моем старом анатомическом атласе (автор: др. мед. И. Соботта из Вюрцбурга), уж слишком они красивы. Раскрытая брюшная полость подана Соботтой так, словно это набор деликатесов: кремово-желтых, розовых, как лосось, пунцовых, как помидор; цвета эти так хороши, что их можно использовать в качестве кремов на торты.

Я рискнул бы взять желтый цвет, рафаэлевский, тускло-желтый, и нарисовал бы в верхней части полотна два выпуклых элегантных полумесяца, хотя эти надпочечники *glandulae suprarenales* немного отличаются от полумесяца; скорее они напоминают сморщенные, выдохшиеся воздушные шары; тем не менее в своей расплывчатости они обладают определенной формой и объемностью. В настоящее время я, правда, могу похвастать лишь одной *glandula*, но нарисовал бы я их обе — так красивее. Особенно тщательно придется отработать светотень, так как фактура надпочечников в меру, со вкусом, шероховата. Неплохо бы один надпочечник показать в разрезе: для чувствительной, артистичной кисти огромное удовольствие доставил бы корковый слой, особенно *zona reticularis* — сетчатая зона, — она прямо создана для демонстрации виртуозности. Или можно воспроизвести богатейшие переплетения тяжей, параллельных, радиальных: как они то свободно извиваются, то закручиваются в пружину, это очень нежная и тонкая соединительная ткань, которая образует более толстые, соединенные с оболочкой органа трабекулы, а также тончайшие межуточные ткани, отделяющие друг от друга группы железистых клеток. Все это в конечном итоге должно вылиться в нечто геометрическое, изысканное, филигранное, ласкающее взор.

Затем с этих рафинированно-сдержанных тонов можно перейти к темно-красному — весьма алчному и недвусмысленному. Итак, мы дошли до мозгового слоя — *substantia medullaris*. Этому красному цвету, интенсивному и звенящему, я придал бы жизненной силы и обаяния; на мозговой слой я могу полностью

положиться; кроме того, это красное вещество для меня не так уж важно: вырабатываемые в нем продукты тонкой химии я могу купить в любой аптеке в виде адреналина. Этот красный цвет явится самой жизнеутверждающей и оптимистической частью моего пейзажа; если скоро Маргит придется подавать мне руку, чтобы помочь спуститься по воображаемой лестнице во тьму, — я уже как-то писал об этом образно и красиво, — то мозговой слой тут ни при чем.

А теперь пора приступить к самим почкам. Для них подошел бы коричневый цвет, без примесей, такой добросовестно-коричневый, даже чуть простоватый, — если бы только удалось получить такой; он соответствовал бы глуповатой форме почек и их назначению: два эдаких разросшихся в длину помидора сидят на своих почечных артериях и усердно фильтруют кровь, приготавливая мочу, которая, словно вода в водяных часах, по капле (не представляю, сколько капель за всю жизнь) сочится в пузырь. Почки я изобразил бы более упрощенно, размашисто. Прекрати они свою работу — мы живо очутились бы на том свете, но, несмотря на это, почки не обладают той таинственностью, тем флюидом, который придает такую загадочность надпочечникам. Именно загадочность... Посудите сами, — стоит надпочечникам лишь слегка пооригинальничать при выполнении своих функций, как на прекрасном подбородке Моны Лизы вырастет симпатичная, черная, как смоль, козлиная борода.

А теперь как бы мне в эту коричнево-красную и желтую пену поместить самую главную фигуру — хозяина пира, Рака самого? Он вырос из меня, можно сказать, он — это я и есть, но все-таки у меня возникает наивное желание изобразить его в виде злой внешней силы. Но я не знаю, как это сделать, потому что в своем анатомическом атласе И. Соботта распарывает, к сожалению, только тех людей, у которых отсутствует вышеупомянутое архитектурное излишество. Вот и не стоит его рисовать, тем более, что фатальные вещи, как правило, имеют весьма банальную внешность.

В воображении все это рисуется гораздо богаче: в недрах этой по-карнавальному пестрой картины за разноцветными бахромчатыми коврами находится его главная квартира, его алтарь, где он совершает свои языческие ритуалы. Языческие потому, что ни одна

уважающая себя вера не терпит излишеств. Однако этот безумный жрец задумал нечто исполинское — из своего тайного убежища он шлет моим клеткам бредовые, неистовые приказы: чтобы каждая клетка превратилась в гигантскую клетку, чтобы она бросила все свои дела и заботы и чтобы только разрасталась. Рак хочет одарить своего хозяина всем необъятным и безмерным: чтобы печень разрослась в гигантскую печень, селезенка — в гигантскую селезенку, прямая кишка — в гигантскую прямую кишку. Только расти, расти, расти! И тут я снова натываюсь на противоречие, которое мне давно не дает покоя: ведь рак — это я сам, частица меня самого! Здесь не замешаны никакие коварные внешние силы, не атакует меня легкая артиллерия бактерий или вирусов — все происходит во мне самом и, вероятно, по моему же заданию, за моей подписью и за мой счет. Мой мозг и разум абсолютно бессильны помешать бредовым намерениям моего тела. Спрашивается, для чего тогда мне вообще мозг? Неужели лишь для того, чтобы вести эти прозаические наблюдения? Дикость какая-то!

Я резко встаю — хочу набрать в графин воды — и вдруг чувствую, что ноги не держат меня. Долгая минута борьбы — или только мне она кажется невыразимо долгой, — колени сильно трясутся, затем медленно подгибаются. Вначале — одно колено, затем — другое. Я валюсь лицом на кровать. Ощущаю ртом шершавость одеяла, и вдруг мне все становится абсолютно безразлично.

Нет! Нельзя, чтобы мне все было безразлично. Я отдыхаю, собираюсь с силами, и наконец я снова на ногах; качаясь, подхожу к окну, — глоток свежего воздуха!

Мир подрагивает, он словно не в фокусе. Деревья, крыши домов, дорожка — все обрамлено бархатными шнурами, желтыми и лиловыми. Так оторочен мой халат. К горлу медленно подкатывает огромный ком — тоже, наверно, желто-лиловый; я боюсь, что ни за что на свете не смогу его вытошнить: он все набухает, вот он уже больше моей головы.

Я прихожу в сознание, — оказывается, я лежу грудью на подоконнике. Желтые и лиловые гирлянды исчезли. По дорожке парка идет Маргит, она остано-

ливається і, підняв ладонь к очам, дивиться в напрямленні мого вікна. Не може бути, щоб вона бачила мене, і все ж я ручаюсь, що вона дивиться прямо на моє вікно. Я хочу їй помахать, но тут сили знова покидають мене.

20

Весь остаток дня я пролежав в постелі — у мене був шок.

Я пам'ю очі Маргіт — вони склонились надо мною, когда мене относили на кровать; я все ждал, когда же она наконец примется за свои нежно-воркующие увещевания. Но она молчала. Выходит, мне отпущено еще немного времени. Интересно, когда прицепят мне искусственную почку? Я чувствовал то же самое, что когда-то заметил в Пээтере, — непреодолимое желание присосаться к жизни! Присосаться глазами, губами, — хоть тут голова оторвись! Говорят, если медицинских пиявок раньше положенного времени отдирають от кожи, у них отрываются головы вместе со всеми внутренностями.

Видно, косая подкралась почти к самому дому, может быть, и сейчас еще бродит тут. Если выглянуть из окна в темноту, возможно, увижу ее; вот она сидит у компостной кучи на моем ящике из-под гвоздей или под той самой осиною, в коре которой мучается личинка. Рано или поздно она войдет в этот дом, неслышно поднимется по освещенной лестнице — зеленый ковер поглотит ее шаги. Она проскользнет мимо дремлющей дежурной сестры. Ее никто не увидит и не услышит, размеренным шагом она прошествует сквозь свет и запах мастики, она знает, куда идти, — к человеку, у которого рак почки.

Сестра улыбается во сне и ничего не замечает; может, это заметят только стенные часы — ведь они в таких случаях иногда останавливаются. Или где-нибудь в темной комнате вдруг само распахнется окно. Приближения Смерти не чувствует никто, кроме окна, часов и, может быть, Маргіт, она всегда умеет в нужное время подоспеть со своей воркующей прощальной песней. Все это не так уж страшно, напевает ее голос, вернее его интонация. Боль пройдет. Потерпим еще чуть-чуть. А теперь еще самую чуточку.

На смертном ложе все люди становятся немного детьми: может, и я подтяну колени к подбородку и постараюсь спрятаться.

Бывало, я мальчонкой чего-нибудь натворю — мама грозит: вот, погоди, отец придет! Я всегда в таких случаях спасался в кровати — подтяну коленки к подбородку и притворюсь, будто сплю. Отец не будил меня.

Ну и потел же я сегодня! Никогда бы не подумал, что в человеке может быть столько пота. Они хлопотали около меня; я был как губка и боялся, что если они на меня надавят, я их обрызгаю. А сейчас все прошло, нигде не болит. Как это изумительно, когда нигде ничего не болит! Тело просто ликует от счастья; жаль, что я раньше не умел наслаждаться этим чувством. Ведь у меня долгие годы была эта возможность. Прямо-таки это ангельское чувство — тело исходит музыкой, как недавно исходило потом. Они сказали, что у меня крепкое сердце. Посплю немного.

21

Я проснулся в половине первого ночи — выходит, я спал целых шесть часов. Голова ясная. Встаю с кровати — я крепко держусь на ногах, — снова подхожу к окну, оно манит меня.

За окном туманная ночь. Туман словно впитал в себя холодный свет городских неоновых огней — над моим городом подобно терновому венку светится холодный красноватый нимб. Там, под этим заревом, есть места, которые для меня уже не существуют: театры и рестораны, кино и кафе. И не надо! Зато существую я сам, вот сейчас, вот в этот самый миг, неповторимый миг, в который мы все существуем одновременно. Стоя вот так, один, прижавшись лбом к тусклому холодному стеклу, я существую на белом свете и остро чувствую эту общность с другими людьми; это чувство такое странное и счастливое. Я есть, я причастен к бытию! Когда-то на балконе школьного зала, вдыхая сладкий запах трухлявой древесины и слушая старинное танго «Донна Клара», я в каком-то порыве вдруг простер руки и благословил всех. Тогда я стоял в стороне от других, и сейчас я стою в стороне. Но то, что один ночной миг на этой планете именно такой,

какой он есть, — в этом и моя заслуга. Сейчас — какое волшебное слово! Оно в одно мгновение сторает, превращаясь в прошлое, которого на самом деле и не существует. Каждое мгновение, пропылав, сторает дотла. Но тут же рождается новое мгновение.

Где-то там вдали рестораны с уставшими танцующими я знаю как влажный от пота шелк липнет к женским бедрам из дымящегося чрева холодильников извлекают для мимолетного настоящего рябиново-красных крабов летят под потолком пробки от шампанского инструменты наигрывают звуки гаснущие за порогом настоящего а в ресторанном дворике среди холодных каменных стен сидит на мусорном ящике кошка и шевелит длинными усами может быть где-то икает до слез Пиллимээс и где-то раздевается молодая женщина кожа у нее нежная и белая словно кокосовое молоко а старушка мечется от ревматической боли в бедре и кожа у нее желтый сморщенный папирус в комнате этой запах оподельдоковой мази дребезжащие стенные часы усердно отсчитывают мгновения в моей бывшей лаборатории капают из бюреток растворы ртутные реле поддерживают в колбах температуру а электричество идет сейчас по кабелям тяжело стонущие котлы производят его на свет именно сейчас и в темноте под канализационными люками булькают нечистоты устремляясь к морю которое существует всегда хотя это всегда не что иное как множество сейчас за городом тихо мычат во сне коровы может быть какой-нибудь скворец видит сейчас сон и на миг он приоткрывает свой черный глаз и сгибает хрящеватую ножку тяжелая листва деревьев и их сейчас а надо всем этим холодная синева неба и звездное сейчас.

Это «сейчас» — такое огромное, что сама возможность его существования кажется чудом. Но его и не может быть, оно беспрестанно распадается, по нему разбегаются трещины: какая-то птица замертво падает в траву — ее нет больше, и вместе с нею погибло одно сейчас; новое сейчас — это сейчас вместе с птицей на мокрой траве, и это уже совсем другое сейчас. И настанет миг, в котором не будет меня.

Ночник освещает комнату. Я смотрю на себя — это мое сейчас; я существую, я ощущаю запах своего пота, мои почечные цепеллины еще как-то справляются со своей работой. Ну и похудел же я! Кожа у меня на

бедрах такая же желтая, что и у той старушки в комнате с запахом оподельдока, если не желтее; в сумеречном свете ночника я похож на мумию. Но я еще не мумия, нет. Я могу ходить, напрягать свои мускулы. Мой взгляд падает на ту часть тела, посредством которой и я что-то сделал для грядущих сейчас, — ведь родился мальчик в сорочке и налилась молоком грудь одной женщины.

И вдруг мне становится жаль, что я не успел совершить большего. Да, все в этом мире — тлен, и все же огромный смысл, быть может, единственно мудрый, содержится в заповеди: плодитесь и размножайтесь! Смысл? Какой? Смысл будущих «сейчас», и разве этого недостаточно? Я не знаю, как выглядит Перводвигатель, да и зачем мне это знать? Ведь механизм заведен, карусель вертится, шелк льнет к бедрам танцующей женщины, падает в мокрую траву скворец, на компостной куче зреет тыква... чего ж еще? Если за всем этим и кроется нечто потаенное (порой я верю, что где-то за тридевять земель, на самом краю света есть низкая лачуга с тусклым окошком, на окошке этом пыльная герань, и сквозь ее листья смотрят вдаль грустные всепонимающие глаза старой женщины), даже если и существует нечто такое, оно не меняет дела. У нас есть дрожь настоящего, и это — великое счастье.

Я снова изучаю свое высохшее тело: оно как увядшая надломленная ветвь; я разглядываю свои руки, ноги, снова смотрю на этот зябкий красный туман, что висит над городом.

Яника! Яника! Мне нужна спутница в моем гаснущем настоящем! Яника! Вдруг я чувствую, — это невероятно, но это так, — как мое тело перерождается и наливается силой.

Накинув халат, я вылезаю через окно на террасу, выходящую в сад. Балкон скрипит от моих шагов. Мои подошвы ощущают сырой холод половиц.

— Яника!

В окне появляется белый овал. Лицо в лунном свете. Я приникаю к стеклу и вижу ее глаза, расширившиеся и потемневшие от недоумения.

— Яника! Это я...

Она отворяет окно. На миг я запутываюсь в занавеске. Я отвожу ее от лица, — Яника стоит спиной к двери и смотрит на меня, как на привидение.

— Ты сделал мне больно, — говорит Яаника.

Ее распушенные волосы щекочут мне лицо. Простыни валяются на полу перед кроватью.

— Почему ты у меня такой? Боялся одиночества?

Мы говорим с большими паузами. Настоящее беспрерывно умирает и рождается вновь.

— Наверно. Мне не хотелось быть одному.

— Ты хотел прийти ко мне? — допытывается она. В темноте я не вижу ее лица, но знаю, что, спрашивая это, она улыбается.

Я не отвечаю, и Яаника продолжает:

— Мне знаком этот страх. Поверь, я тоже знаю, что это такое.

Она поднимает с пола простыни и укрывает меня ими.

— Ты все еще не можешь отдышаться. Ты такой худой... и все же ты смог мне сделать больно.

Мне нравится, как она ведет себя в темноте. В темноте после этого. Ее тон такой милый, естественный. Скажи она: «Ты сделал больно своей Яанике, гадкий мальчик», — она бы этим все испортила. Это было бы фальшиво, и наше молчание уже не было бы молчанием. Мне кажется, Агнес сказала бы именно так. А вот Яаника сказала, что и она чувствовала этот страх, что она знает...

— Почему ты так гладил мою родинку? — спрашивает Яаника. — Неужели она тебе нравится? Ведь родинки противные.

— Такая же родинка была у одной женщины. Я был тогда еще совсем молоденьким. Эта женщина торговала рыбой. — И я рассказываю Яанике свою историю про рыбный базар, которая записана в виде заглавных слов на обороте моей тетради.

Яаника слушает меня. Сейчас у нее могла бы появиться ревность, но ведь мы не знаем ревности. Тот, кто испытал подобную ночь, уже не умеет ревновать.

— Это был мой последний раз здесь... с тобой. Больше я никогда не смогу, — говорю я немного погодя.

Яаника молчит, но вдруг я чувствую, что это молчание уже не такое, как было раньше. Я не понимаю, что я сказал не так, и вот уже я чувствую на своем голом плече ее слезы.

— Но в этом нет ничего страшного. Один философ

сказал, что нет большего преступления, чем давать человеку жизнь, — добавляю я неуверенно. — Ну что ты плачешь?

Я чувствую, как тело Яники каменеет.

— Я все равно что дупло. Меня облучают, — говорит она хрипло. — Я — руины. Понимаешь? Тебе нельзя было сюда приходить.

— Глупая девчонка! — Наверно, и в моем голосе звучит фальшь.

Яника резко поднимается. Она стоит перед кроватью, большая и белая.

— Уходи!

— Ну что ты, перестань!

— Ступай! Сейчас же!

Я молчу. Я не знаю, что делать. Она больно хватает меня за руки и силой приподнимает в кровати. Я пытаюсь погладить ее, но она вырывается:

— Уходи, уходи! Ты не понял, что ли? Я — развалина, я — падаль!

Яника обезумевает. Ее ногти впиваются мне в плечи, она трясет меня.

— Убирайся!

Я встаю, беру халат. Яника садится на край кровати. Она закрывает глаза руками, и я не вижу ее губ, которые отчетливо, слово за словом, произносят:

— Меня облучают. Мое тело — руины. Ты только подумай: эти, твои последние, бегают во мне и ищут... а я — как дупло... как я противна себе!

Половицы балкона сырые и холодные. Неоновое зарево над Таллином потускнело; на востоке небо слегка зеленеет. Скоро начнет светать.

Я лежу поверх одеяла и смотрю в потолок. Больница наша еще спит. Ночь на исходе, в комнаты просачивается бледный рассвет. Истерзанные, воспаленные тела раковых больных уже предчувствуют неотвратимость наступающего утра. Простыни скатываются вокруг вспотевших ног, кошмарные сны заставляют тяжело ворочаться с боку на бок, из уголков рта стекает на подушки слюна.

Никто не может спастись от утра.

Я разглядываю тетрадь на краю стола — сейчас еще невозможно определить, какого она цвета, но скоро первые лучи солнца отыщут мое окно, и тетрадь моя станет коричневой, как и моя болезнь.

Я кажусь себе смешным, когда беру ее в руки и листаю. Где-то тут есть строки, в которых говорится, что смерть не терпит позерства. Я писал их, имея в виду Пээтера, не зная тогда, что сам буду грешен точно тем же. Роднички новорожденного и порочная окраска лютика, грудное молоко Агнес и почечные кондитерские пейзажи... но, безусловно, комичнее всего мой мощный козырь — «fünf Eier unter dem Baum». Все это — фиגлярство, попахивающее пикантным рокфорским сыром. Но честное слово — я это делал не нарочно. Я видел разных умирающих и хорошо усвоил, что даже самый сильный человек делается несносным шутом, злобным и сентиментальным одновременно. Как все они цепляются за жизнь — зрелище это отвратительное. Мой друг Пээтер вел себя, как покинутая невеста. Он бравировал своим здоровьем, разыгрывал интерес ко всему на свете; примерно так же старые девы пытаются как угодно спрятать свои морщины и без умолку трещат, чтобы доказать, какие они бодренькие. Я так не хотел. Я хотел быть сильным. Окружающий мир отрекается от меня, — что ж, и он мне не нужен! А в конечном счете все равно получилось лишь позерство.

Как же быть? Признать смерть избавлением, освященным итогом и постараться безропотно принять ее? Но и это фарс. Когда-то в детстве я видел катафалк. Черные лошади, в хвостах и гривах черные развевающиеся ленты, серебром украшенные шоры, черная карета на высоких колесах — все сплошь черное с серебром. Прохожие приподнимали шляпы — как это было смешно и фальшиво. Вдруг одна из лошадей приподняла свой богато разукрашенный хвост, — для весьма естественной надобности, — торжественной процессии пришлось остановиться и переждать. Все скорбящие величаво устремили свои взоры вдаль, а я рассмеялся. Матери, конечно, было неловко за меня, и мне потом здорово влетело. Людям свойственно делать хорошую мину при плохой игре, но откуда я это мог тогда знать. В черном ящике везли человека, чтобы

закопать его в землю, человек этот, наверно, был самый заурядный малый: иногда любил выпить, вытворял разные глупости, возможно, собирал этикетки спичечных коробок или, например, ленился мыть ноги. Теперь же вдруг он стал таким значительным, перед ним обнажают головы, при нем даже не осмеливаются открыто почесаться. Конечно, все это просто вежливая условность; на эту тему — избавление и так далее — многие талантливые люди создали не одну красивую песню и прочитали не одно серьезное наставление. Коль не удалось найти смысл жизни, пусть ее осмысливает смерть. Весьма приятная условность, тем более, что все мы боимся смерти, что избавление кажется таким желанным, — а еще и потому, — что мертвые сраму не имут. Я считаю, что смерть — большое свинство, но, вероятно, тем же самым была бы вечная жизнь.

Я отложил тетрадь. Неожиданно я остался доволен ею.

Я слышу, как въезжает на больничный двор первый грузовик, он подруливает к кухонному крылу. Наверно, привез продовольствие. После него приезжают другие, они везут медикаменты, белье, кислородные баллоны — всего у нас должно быть в достатке.

Скоро в палаты и кабинеты заглянет солнечный луч; в стеклянных шкафах засверкает металл всевозможных скальпелей, катетров, цистоскопов, стерилизаторов; темные свернувшиеся в клубок змеи превратятся в красные резиновые зонды, снова можно их запускать в наши желудки. Снова этот богатейший арсенал в боевой готовности: смертобоязненное человечество придумало его для защиты своего изнеженного, бесшерстного тела, для защиты той малости, что зовется жизнью. В покойницкой протирают содовым раствором цинковые столы — чистота и порядок прежде всего.

Может быть, Агнес придет сегодня меня навестить. Я уверен, что не стану ей ничего говорить про эти яйца. Они навеки останутся в земле, там, под плакучей березой.

А если бы у меня хватило сил и смелости удрать отсюда! Это было бы лишь ненужным жестом, тщетной попыткой лягушки сравняться по величине с волком — и только. Способны ли мы вообще на боль-

шее? Под этой березой я воткнул бы лопату в землю и сделал бы то последнее, что я должен сделать. Я вспомнил бы одно давнее утро, мягкую синеву неба и пенье петухов. Я вспомнил бы одного мальчишку, который очень осторожно, потому что он нес за пазухой яйца, шел через луг; этого мальчишку я оставил где-то далеко позади себя. Я думаю, что мне даже удалось бы избежать сентиментальности.

Und ich sann nach
über des Eies Verwandlung
und den Wandel des Lebens...

23

— Врозь! Вместе! Врозь! Вместе!

Это транзистор на столе. Производственная гимнастика. У ведущей сильный, сочный голос.

— Врозь! Вместе! Врозь! Вместе!

Я представляю высокую грудь под плотно облегающим свитером. К этому голосу подошла бы черная головка с мальчишеской стрижкой и темный пушок над верхней губой.

На окне жужжит большая синяя муха.

Из кухни идет запах растопленного сала. Я слышу, как на сковородке шипят яйца. Агнес жарит глазунью.

После ночи с Яаникой, о которой стало известно (Й. Андрескоок), мне заявили, что мною сыты по горло и что я прежде всего нуждаюсь в лечении нервов. Две недели я пробыл в лечебнице на Пальдиском шоссе. В конце концов мне пришлось поверить, что у меня действительно была всего-навсего *fibromyoma renis* — малюсенькая доброкачественная опухоль в волокнистой соединительной ткани почек, — оказывается, такие добродушненькие опухоли в районе почек — большая редкость.

В той, другой больнице мне приписали еще один невинный диагноз: психастения.

Навязчивые мысли на почве медицинской литературы.

Какой запах у этого сала!

Прямо тошнит от него, но это пока не начнешь есть. Стоит лишь ввести в себя первую порцию необходимых

для жизни белков, как все пройдет: наши подбородки залоснятся от жира и желток потечет по губам.

Когда меня выписывали из лечебницы на Пальдиском шоссе, я сидел в ожидании своих бумаг на клеенчатом диване. Кожа моя привыкла к больничной одежде, поэтому в костюмных брюках мои ноги вспотели и стали чесаться. У лечащего врача была заячья губа, которую он пытался замаскировать усами. Я размышлял над его словами: наверно, он прав, что подобные заметки может написать лишь человек, которому до смерти еще очень далеко, человек, у которого легкая психастения, — что не болезнь, а тип нервной системы. Тогда люди ведут себя совсем иначе; кто знает, может быть, и я буду требовать зимой дынь или захочу, чтобы мне покупали новые галстуки, или буду терроризировать жену ложными обвинениями. Тогда не накрывают такого праздничного стола для ожидаемого — сыры с душком и прочие подобные деликатесы. Смерть приходит, когда ее не ждут.

«Я испортил свою смерть», — думал я, сидя на клеенчатом диване.

Муха с зеленым брюшком ползет по раме.

Скоро будем завтракать.

Рот в желтке. Милая жена. Кончается больничный лист. С энтузиазмом за работу.

Я улыбаюсь. Мое отображение в никелированном чайнике улыбается мне в ответ. Маленькая голова по середине вытянута вширь и рассечена кривой ухмылкой. Эта ухмылка мне не нравится.

— А теперь повторим все упражнение с самого начала, — говорит транзистор.

21 апреля 1967 — 21 мая 1969

СНОВА ГОРЕ ОТ УМА

**Драма в трех действиях, четырех картинах,
с эпилогом**

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

АБРАХАМ

БЕРТА

МАРИЯ

РОБЕРТ

ЮНОША

ДЕВУШКА

ФЕРДИНАНД

ГРУЗЧИКИ-ПОСЫЛЬНЫЕ

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Просторное помещение в доме профессора Абрахама. Вначале оно было задумано как салон: доказательство тому огромная дорогая люстра, угловой диван, высокий, черного дерева сервант, два стола — большой и маленький, стулья с выцветшей шелковой и бархатной обивкой. Однако вследствие образа жизни, который ведет хозяин, это помещение утратило свое первоначальное назначение. Тут и там, в самых неожиданных местах, разбросаны микроскоп, калориметр, эксикатор, раскрытый медицинский атлас.

С узкой картины, висящей высоко на фронтальной стене, взирает сквозь пенсне на нас, а возможно, на гороховое растение в руке, Грегор Мендель. Полотно выдержано в темных тонах — на самом отце генетики черная монашеская сутана с высоким воротником. Картина вполне реалистическая и немного жутковатая — примерно таким мог видеть Менделя художник Отто Дикс. Еще в комнате мраморный бюст, возможно, некоторые узнают в нем патриарха эскулапов Гиппократ.

В одном углу зала горшок с высоким пальмообразным растением. Эту разновидность растения мы не найдем ни в одном, даже самом лучшем специальном каталоге. Наверху, в большой позолоченной клетке неподвижно сидит птица, смахивающая на белого петуха самой обычной леггорновской породы. Большую часть времени она напоминает чучело петуха.

В зале еще много разных безделушек (вазы, часы и т. д.), поэтому он немного похож на антикварную лавку. Две двери: правая — в прихожую, левая — во внутренние помещения. Темного дерева, под цвет мебели, лестница ведет на второй этаж.

Когда открывается занавес, на сцене БЕРТА и двое

молодых людей — ДЕВУШКА и ЮНОША из «Общества охраны святости жизни».

Берта — полная женщина лет 60, похожа на простую добродушную крестьянку. Она подшивает в папку какие-то бумаги. Юноша и Девушка, судя по всему, уже истомились в ожидании хозяина. Вероятно, хозяйка неоднократно предлагала им присесть, но они с достоинством мучеников предпочитают стоять. У Юноши в руках большая, перевязанная шелковой лентой булла. Молодые люди продолжают стоять. А время идет...

БЕРТА. Да присядьте же вы, ребята!

ДЕВУШКА (запальчиво). Мы сюда не рассиживаться пришли.

БЕРТА (приветливо). Это-то ясно... А свою бумагу положите-ка лучше на стол. Вы сейчас так взволнованы, еще помните. А мне потом ее подшивать в папку.

ЮНОША. В какую папку?

БЕРТА. Я думаю, вот в эту черную. (Мягко.) В нее я подшиваю все протесты, угрозы, обвинения и... Одним словом, все бумажки, в которых ругают нашего папашу: «садист», «мучитель животных», «омерзительный горлорез», «старый вонючка», «смердящий Абрам». (Пауза. Берта подшивает бумагу в папку.)

ЮНОША. Уже прошло три четверти часа. Мы не собираемся тут ждать целую вечность. Все же можно принять к сведению, что мы представляем крупную всемирную организацию!..

БЕРТА. Вот именно, ребята. Присядьте все же, я бы предложила вам кофе и чего-нибудь перекусить. (Молодые люди продолжают демонстративно стоять.) Вы, конечно, из протестующих... Они всегда ведут себя прилично. А восхваляющие, те того и гляди положат ноги на стол.

ДЕВУШКА. Неужели есть и восхваляющие?

ЮНОША. Хватит тебе расспрашивать!

БЕРТА. А как же! Их даже больше. Всякие профессора и разная так называемая утонченная публика. Папаша так устал от них. (Берет белую папку.) Сюда я подшиваю их похвалы, почетные адреса и прочие панегирики. Любовные же письма идут в красную папку.

ДЕВУШКА (не удержавшись). Любовные письма?! Этот старик, который... (Не находит нужных слов.)

БЕРТА. Да, да. Любовные письма и предложения

руки и сердца идут в красную папку. Молодые дамочки прямо насильно хотят увести от меня папашу...

ДЕВУШКА (*удивленно*). Вы его жена?

БЕРТА. Жена. А также уборщица. Уже двадцать лет. (*Откуда-то сверху доносится странный звук. Это протяжное, меланхолическое завывание, которое завершается захлебывающимся звуком, будто дуют в погруженную в воду трубу.*)

ДЕВУШКА. Господи! Это что такое?

БЕРТА. Это Бонифаций.

ЮНОША. Какой еще Бонифаций?

БЕРТА. Наша водяная собака.

ДЕВУШКА. Водяная?

БЕРТА. Водяная собака. Это папашино детище. (*Задумывается, извиняющимся тоном.*) Знаете, кажется, я не сказала ему, что вы из протестующих. К ним он выходит более охотно. (*Снимает крышку-колпачок с трубки, которая проходит сквозь стену, и что-то говорит в трубку.*) Что? Хорошо... (*Гостям.*) Папаша никогда не снимает телефонной трубки. Ему без конца называют разные министры. Он сказал, что прочитает еще две странички Кафки и придет.

ЮНОША. Кафки?

БЕРТА. Да. Это успокаивает его. Он должен побыстрей побороть тоску. Папаша только что явился с похорон. У него такое нежное сердце. (*Ироничная реакция гостей.*) Хоронили его бывшую сослуживицу. Мирабилию Хангман — может, слышали?

ДЕВУШКА (*с ужасом*). Эту садистку, которая вырастила в банке живую человеческую голову!

БЕРТА. Ну, в банке не очень-то вырастить — в ней только можно некоторое время продержать голову в живом виде. Да, в свое время из-за этого вышел крупный скандал, — люди боязливы, как дети. Мирабилии пришлось целых три года отсидеть в тюрьме.

ЮНОША (*гневно*). Только три года! Ее следовало бы...

ЮНОША и ДЕВУШКА (*хором*). ...Казнить!

БЕРТА (*поверх очков, весело*). Вы никак из «Общества охраны святости жизни»? Они самые отчаянные, всегда требуют казни.

ЮНОША. Это ирония?

БЕРТА. Какая тут ирония... Они требуют вполне серьезно, без всякой иронии. (*Стучат. Входят два ГРУЗ-*

ЧИКА-ПОСЫЛЬНЫХ, устанавливают на пол ящик, из которого доносится странное мычание.)

I ГРУЗЧИК. Подарок Лондонского Королевского Института Хирургии и Генетики. (Грузчики смотрят на ящик с опаской, торопливо уходят.)

БЕРТА. В прихожей на столе красный чемодан. Там у нас деньги. Возьмите сами, сколько знаете... (Заинтересованно приближается к ящику. Тихое мычание. Юноша и Девушка отстраняются, Берта невозмутимо заглядывает в щелку.) Ой, ребята, какая прелесть! Теленок с двумя головами. (Открывает ящик.) Нет, у него и третья голова! Только чуть поменьше и без глаз. (Погладив теленка по третьей голове, закрывает крышку.)

ДЕВУШКА. Фу, какой урод! (Чуть не плача.) Как они только смеют!

БЕРТА. Отошлем его наверх в виварий. (Нажимает на кнопку в стене. Сверху опускается крюк, она ловко поддевает им веревку.) Вира! (Ящик поднимается вверх и исчезает, чуть не задев люстру. Снова слышится вой водяной собаки.) Красиво воет... Когда папаша заводит Шопена, Бонифаций всегда воет и хочет вылезти из аквариума. Биологию-то вы хоть знаете?

ЮНОША (с достоинством). Не забывайте, что мы активисты «Общества охраны святости жизни». Все члены нашего общества знают и любят биологию.

БЕРТА. Ну, тогда вы поймете... Это — собака с жабрами. Самое прекрасное творение папашиних дней молодости. (С легкостью.) Экзоэмбриологический первенец дигиталис-мутагенизации диффузной хромосомотрансплантации. (Смятение молодых людей.) На редкость преданное животное. (На лестнице неслышно появился папаша АБРАХАМ. Это невысокий мужчина лет 60, с приятными манерами. Он носит мягкую домашнюю куртку с кушаком. На рукаве траурная повязка, на шее — шарф, на ногах — экзотические мокасины.)

АБРАХАМ. Я приветствую вас в моем доме, мои юные друзья! Добро пожаловать! (Спускается по лестнице, прикрепляя к рукаву вторую траурную повязку.)

БЕРТА. Еще кто-то?

АБРАХАМ. Феликс скончался... Жизнь так жестока. Сначала Мирабилия, теперь Феликс.

БЕРТА. Да, уж больно он был интеллигентный...

АБРАХАМ. Самоубийство.

БЕРТА (*обращаясь к молодым людям*). Феликс... вначале он был человекообразной обезьяной. Папаша постепенно пересаживал ему человеческие органы. Мы как раз бились над его мозгом — хотели превратить Феликса в человека. Видно, он разгадал наши планы... Потому что в последнее время он впал в меланхолию.

АБРАХАМ. Мы возлагали на Феликса большие надежды. Он уже умел логарифмировать.

БЕРТА. Перед смертью мы бессильны.

АБРАХАМ. А теперь, дорогие друзья, я к вашим услугам. Я весь — внимание.

ЮНОША. Никакие мы не «дорогие друзья».

АБРАХАМ. Ну, все-таки. Эти ваши бумажки вносят в мою жизнь приятное разнообразие. Они так далеки от реальности. Налей-ка нам чайку, мама!

ДЕВУШКА. Мы пришли не чаи распивать!

АБРАХАМ. Вероятно, вы спешите? Жаль! (*Берта наливает ему чай, берет из шкафа бутылку, наполненную красной жидкостью, на которую молодые люди поглядывают с опаской. Берта, перехватив их взгляд, улыбается.*)

БЕРТА. Все почему-то думают, что это кровь... А это сироп из шиповника. Папаша у нас абсолютный вегетарианец.

АБРАХАМ. Надеюсь, как и эти юные защитники жизни. Поедать животное — это вершина варварства. Животное отличается от человека лишь другой комбинацией хромосом. Теперь, когда людям стали пересаживать свиные почки, может, наконец общественность осознает это. (*Пьет чай.*) На этом попроще вас ждет огромная работа.

ЮНОША (*чтобы замять щекотливую тему, быстро развертывает манифест и читает*). Мы, члены молодежной секции «Общества охраны святости жизни», считаем своим долгом выразить очередной протест против увеличившихся в последние годы опытов, которые находятся в вопиющем противоречии с самыми святыми идеями, звучащими в сердцах людей.

АБРАХАМ. Красиво сказано! (*Берта также кивает одобрительно.*)

ЮНОША. Теория и практика генетической хирургии и цитологии, а также внутриматочного оплодотворения и инкубирования плода, трансплантации мозговых тканей, макромолекулярной радиовоо...

АБРАХАМ. Овологии... Точнее — оологии. Овум — яйцо. Если эти слова для вас сложны, можете их смело опустить.

БЕРТА. Папаша выписывает ежемесячный журнал «Общества охраны святости жизни». Он уже читал ваше заявление. Кажется, это было в третьем номере.

АБРАХАМ (*укоризненно*). Что ты мешаешь им, мама. Так приятно слушать, как молодые люди читают вслух, с выражением, с внутренним горением. Может, девушка тоже попробует голос.

ДЕВУШКА. Мы пришли не развлекать вас.

АБРАХАМ. Вы развлекаете нас уже своим присутствием. Мы, старики, скоро будем в земле... А ваши молодые бодрые голоса...

ДЕВУШКА. Он смеется над нами! Оставим это здесь. Пусть он сам читает!

БЕРТА (*спокойно*). Папаша никогда ни над кем не смеется.

АБРАХАМ (*смущенно*). Да, да, объясни им, мама, чтобы они не обижались.

БЕРТА. Папаша ученый. Он признает только факты. Ему чужды более сложные эмоции.

АБРАХАМ. Да, да, это так. Я весьма немзыкален... по этой части. Мне, право, очень жаль.

БЕРТА. Наш папа зачастую и шуток не понимает.

АБРАХАМ (*смущенно*). Право, неловко получилось... Поверьте, я не подумал ничего плохого, когда сказал, что ваше чтение мне нравится. Очень нравится... (*Припоминает.*) А теперь следует самое поэтическое место? «Если люди доброй воли объединят свои усилия против таких варварских, оскорбляющих человеческое достоинство экспериментов, то мы... мы победим и запретим на вечные времена...» Кажется, так?

ЮНОША (*воинственно*). А что вы думаете по этому поводу?

АБРАХАМ (*задумчиво*). Да что тут думать? Если «люди объединят свои усилия», то возможно «запретить на вечные времена это омерзительное варварское живодерство». Вполне возможно. Нет никакого сомнения. (*Молодые люди удивлены. Пауза.*)

ЮНОША. Как вы сказали?

ДЕВУШКА (*тихо*). Он сказал, что нет никакого сомнения.

АБРАХАМ (*услышал*). Именно так я и сказал!

ЮНОША. И это время близко! Оно стучится в дверь!

АБРАХАМ (*задумчиво*). Неужели? По-моему, нет. Наоборот, в последние годы к моей деятельности стали проявлять гораздо больший интерес. Государство выделяет средства. Добровольцы из «Общества защиты животных» приходят ухаживать за головами...

ДЕВУШКА. За головами?

БЕРТА. Пока что собачьими. Эти головы питаются за счет искусственного кровообращения... Две головы даже лают и узнают хозяина. Хотите взглянуть?

ДЕВУШКА. Какой-то кошмар...

АБРАХАМ (*неожиданно встает. Риторически*). Вот именно — кошмар! Потому что это должны делать добровольцы. Государству следовало бы найти побольше средств. Пора наконец широким фронтом заняться опытами над человеком. Эти две-три головы тут... (*Машет рукой.*) В конце концов именно мы избавляем человечество от страха смерти. В более далеком будущем мы займемся насаживанием голов на туловища. «Memento mori»! — эта древняя сентенция скоро устареет. Вы только представьте, как это отразится в искусстве, философии!

БЕРТА (*удивленно*). Папа?!

АБРАХАМ (*спохватился. Смущенно.*). Прошу прощения! Я как раз готовлю свою речь перед правительством. До чего же мерзкое занятие — произносить речи. Нас с Бертой прикладная сторона дела не интересует. Мы с ней считаем, что смерть — один из прекраснейших даров природы, который не следует отбирать у человека... но есть другие мнения. Каждый человек — сам хозяин своей головы, пусть поступает, как хочет.

ЮНОША (*уверенно*). Человечество решительно говорит «нет!» Наша молодежная секция за последние годы увеличилась на несколько человек.

АБРАХАМ. Все это очень мило. И тем не менее лояльность к моим работам возрастает. Лет пятнадцать-двадцать назад было куда хуже. Помнишь, мама, мы были вынуждены остужать трупы двадцать четыре часа, прежде чем...

БЕРТА. Как же не помнить. (*Растроганно.*) Мне приходилось приносить папаше материал буквально под юбкой. Как-то в автобусе упала на пол совсем еще теплая рука, и даже пальцы шевелились. Боже, ну и скандал тогда вышел!

АБРАХАМ. Но мама прекрасно справлялась. Нежная, самоотверженная женщина. Современным девушкам есть чему у нее поучиться...

ДЕВУШКА. Нежная...

БЕРТА (*смущенно*). Полно тебе, Абрахам...

АБРАХАМ. Все же времена изменились. Только крайне религиозные круги еще оказывают сопротивление.

ЮНОША. Это намек?

АБРАХАМ (*дружески*). Не знаю... А вы верующие?

ДЕВУШКА (*с пионерским энтузиазмом*). Мы в существование бога не верим.

АБРАХАМ. Жаль. И я не верю. Верующие очень занятные люди. Верить в недоказуемое — это требует сильного характера. (*Из клетки, что висит над головой Абрахама, доносится совиное «ух-хуу».*)

ДЕВУШКА. А это кто?

ЮНОША (*подходит поближе*). Смахивает на обыкновенного петуха...

АБРАХАМ. Не такой уж он обыкновенный. Мы кроссинговером сделали ему семь голосовых связок. Некоторые он, видно, унаследовал от предков...

БЕРТА. Он у нас — птица полифоничная. (*Петух кукует кукушкой.*)

АБРАХАМ (*грустно*). Бедная одинокая птичка! Никак не можем ему сконструировать курочку. Уже пять лет он ждет свою Еву.

БЕРТА. Мы очень любим его. Бывало, тихий вечер... Сумерки... И тут он кричит голосом своего далекого предка, словно зовет кого-то, но тот все не идет... А сверху ему вторит Бонифаций. Тишина... Отзвуки... Какие-то чеховские вечера...

ДЕВУШКА. И вам не жаль бедной птицы?

АБРАХАМ (*несчастливым тоном*). Конечно, жаль. Но с самками эти кроссинги никак не выходят, гены, которые определяют пол... (*В комнату входит девушка лет 20. Одета по-богемному небрежно. МАРИЯ — так зовут девушку — не обращает на родителей никакого внимания. Она проходит босиком, с развевающимися полами халата через комнату, что-то ищет. В волосах у нее может быть иветок. Она заглядывает в манифест, который Юноша держит в руках, усмехается.*)

МАРИЯ. Такой взрослый мальчик! И протестует! Не протестовать надо, а заниматься любовью...

ЮНОША. Как это?

МАРИЯ. Да как угодно. (*Оглядывает Девушку.*) Вам видней. И чего вы этот пень уламываете? Пустое дело. (*Замечает на ногах у отца свои мокасины. Не долго думая, стаскивает их с ног отца и надевает себе на ноги.*) Опять Абрахам мои напялил!

БЕРТА. Мария! При гостях! (*Мария пожимает плечами, уходит.*) Наш папа очень рассеянный.

ДЕВУШКА (*Юноше, тихо*). У этой, видать, тоже какой-нибудь кроссинг...

БЕРТА. Это наша дочь. Она проповедует возврат к природе и свободную любовь. Еще она любит ломать лабораторное оборудование.

АБРАХАМ (*жалобно*). Причем самое дорогостоящее. Как только мы забудем запереть дверь...

БЕРТА. В каком-то отношении она ваш единомышленник.

АБРАХАМ. Только гораздо более опасный. Так на чем мы остановились?

ЮНОША. На том, что человечество перестанет мучить людей и животных, что оно прекратит эти мерзкие опыты.

АБРАХАМ. По-моему, с этого мы начали... (*Неловкая пауза.*) Но боюсь, что это не удастся запретить. У человека есть одно удивительное и опасное свойство: желание стать умнее. У других представителей животного мира такой страсти нет. Точь-в-точь как у нашей Марии... Их мозг побуждает их к более разумным действиям: еде, размножению, небольшим развлечениям. (*Указывает на манифест.*) Да и то больше для того, чтобы поточить коготки.

БЕРТА. Он не хочет вас оскорбить. (*Абрахаму.*) Я пойду взгляну на этого нового трехглавого. (*Уходит.*)

АБРАХАМ (*машинально*). Да, прошу прощения. Этот старый Уоллес выразил мудрую мысль: знания — это аномалия мозга, нечто вроде раковой опухоли. И это сущая правда — ничего не поделаешь. (*Спокойно.*) Возможно, именно мозг и погубит человечество.

ЮНОША. Вы не видите выхода, а мы видим.

АБРАХАМ. Выход, разумеется, существует.

ЮНОША. Какой же?

АБРАХАМ. Тот самый, чем лечат обыкновенный рак.

ДЕВУШКА. Я не понимаю...

АБРАХАМ. Радиактивное облучение.

ДЕВУШКА (*потрясенно*). Облучение мозга?

АБРАХАМ. Вот именно, вы сообразительная девушка. Кто знает, может, человечество подсознательно это уже давно делает. Если рассматривать политику и увеличение радиоактивности в природе... Нужно давать такую дозу облучения, чтобы каждое последующее поколение рождалось чуть глупее. Тогда нам не грозило бы светопреставление. Вероятно, к этому все и идет.

ЮНОША. Мы против любого облучения!

ДЕВУШКА. «Нет» всяческим облучениям! В опасности разум наших детей — наше самое большое богатство!

АБРАХАМ. У вас уже и детишки? (*Петухообразная птица издает какой-то несуразный звук, отличающийся от предыдущих.*) Кроме облучения, есть, конечно, и другие методы. Нарушение природного равновесия химикалиями. Даже самым обычным загрязнением можно сделать многое. И человечество уже пробует это. Бессознательно, разумеется.

ЮНОША. Выходит, вы за загрязнение природы?

АБРАХАМ (*чрезвычайно спокойно*). Нет. Я ученый. Я просто размышляю о том, что делает человек.

ДЕВУШКА (*словно декламируя*). В наших костях откладывается ртуть и стронций. Мир утопает в отбросах, все больше рождается уродов. Скоро наш чудесный земной шар станет пустынным заплесневелым мячиком в зияющей бездонности космоса. Все вымрет.

АБРАХАМ. Не верю, что все... Даже в эпоху оледенения вымерла лишь большая часть видов.

ЮНОША. Вы ждете новой эпохи оледенения? Хотите снова захлебнуться в ядах и задохнуться в зловонии?

АБРАХАМ (*рассуждая вслух*). Оледенение принесло и пользу. Мы с вами многим обязаны ему — оно-то и помогло нас одолеть. От холода погибли деревья — пришлось слезть на землю и стать человеком...

ЮНОША. Ну и софистика! Так рассуждая, можно прийти черт знает к чему. (*Стучат. На пороге слуга ФЕРДИНАНД.*)

ФЕРДИНАНД. Некий молодой человек с венком требует, чтобы его впустили.

АБРАХАМ. Скажи ему, что сегодня не могу. А венок пусть оставит в прихожей.

ФЕРДИНАНД. Что-то мне его лицо знакомо... Он у нас и раньше бывал. Никак, к хозяйской дочке лип...

АБРАХАМ. Лип?

ФЕРДИНАНД. Ну, ухаживал...

АБРАХАМ. Пусть липнет и дальше... Скажи ему, что я беседую с занятыми юными консерваторами, которые пришли ко мне в первый раз. (*Фердинанд кланяется и уходит.*)

ДЕВУШКА. Консерваторами? Мы же за прогресс, мы из всех сил боремся за прогресс.

ЮНОША. Раньше вы подозревали в нас верующих, теперь обзываете беззастенчиво консерваторами!

АБРАХАМ (*поспешно*). Простите, я человек старого поколения, не знаю всех этих модных словечек. Как зовутся эти средневековые телячьи нежности?

ЮНОША. Средневековые?!

АБРАХАМ. Ну, да. Ведь и тогда не доверяли медицинским экспериментам. Запрещалось даже трупы вскрывать.

ЮНОША. Мы за разумную медицину.

АБРАХАМ. Выходит, вы умеренники.

ДЕВУШКА (*недовольно*). Умеренники те, кто выпивает умеренно.

АБРАХАМ. Прошу прощения!

За окном раздается «Гимн во славу науки» в ритме марша. Его распевают весьма неотесанные голоса, песня должна звучать комично в своей патетике и поэтому немного зловеще, как любое проявление фанатизма.

ГИМН ВО СЛАВУ НАУКИ*

Неуемная сила науки
все изменит на белом свете,
будут счастливы наши дети,
а тем более — наши внуки.

Мы из колбы добудем солнце,
новый строй — из большой реторты.
Изготовят ученых орды
море плазмы, белок и стронций.

Неуемная сила науки
все изменит на белом свете,
будут счастливы наши дети,
а тем более — наши внуки.

* Стихи перевел Б. Штейн.

АБРАХАМ (страдальчески). Опять они! Это так действует моим животным на нервы!

ДЕВУШКА. Кто это?

АБРАХАМ. Какой-то хор ветеранов науки, но там нет ни одного настоящего ученого! Время от времени они собираются под моими окнами, чтобы выразить свое восхищение. Если бы они только знали, как плохо действует эта жуткая песня на пищеварение моих водяных собачек...

ДЕВУШКА (про себя). Противная песня, какая-то зловещая.

АБРАХАМ (доверительно). Вот так я, молодые люди, нахожусь между двух огней. Одни угрожают, другие воспевают. Кто я? Инструмент науки, средство познания материи, если выразиться более изысканно. Лишенное желаний, претензий. Порой я думаю, что меня самого не существует, я всего лишь щупальце, которым материя осязает свое лицо... (С теплотой.) Скажи, доченька, что тебе в моих опытах претит больше всего? Может, ты просто трусишь? Просто боишься вскрытий и этих отрезанных голов?... Голов не стоит бояться — это тонкое виртуозное творение природы, оно достойно только восхищения. (Замечает Берту, которая появилась в дверях.) Берта, у нас найдется свободная голова? Загляни в морозильник... Я хотел бы показать этим молодым людям, что... (Испуг молодых людей.)

БЕРТА (с неожиданной резкостью). Не принесу! Ни за что не принесу! (Молодым людям.) Сто раз ему говорила, чтобы в эту комнату никаких голов не приносил! Таковы эти мужчины — попробуй-ка создать им уютный дом. Сами и пальцем не пошевелинут для этого. Помнишь, как тетя Агнес однажды села на голову? (За окном снова раздается пение.) Пойду прогоню их.

АБРАХАМ. Ступай. (Берта выходит, тут же в дверях появляется РОБЕРТ — молодой человек лет 25. Он в джинсах и сером шерстяном свитере. В руках у Роберта огромный венок. Он держится крайне непринужденно, вначале он может произвести даже впечатление ветрогона.) Это ты, Роберт? Что за фокусы? Что ты там с Фердинандом пререкался? Сказал бы прямо — идешь к Марии.

РОБЕРТ. Сегодня я пришел не к Марии, а к тебе с официальным визитом.

АБРАХАМ. Что это за венок у тебя?

РОБЕРТ. Не узнаешь?.. погоди, дойдем и до венка.

АБРАХАМ. Говоришь, с официальным визитом? (Становится серьезным.) Да, но прежде я должен тебя отчитать. Я-то думал, что вы просто проповедуете с моей дочерью всякие модные молодежные штучки — «назад к природе», «свободная любовь» и тому подобное. Теперь же у меня есть данные, что вы не только занимаетесь сексуальными вопросами, — ты, оказывается, ухаживаешь за нею! Вот этого я уже не могу позволить!

РОБЕРТ (усмехаясь). Хорошо, хорошо, об этом после. Дорогой Абрахам, я пришел сообщить, что подаю на тебя в суд. Это будет красивый процесс, дорогой тесть!

АБРАХАМ (со злостью). Никакой я тебе не тесть, судись себе на здоровье!

РОБЕРТ. Честно говоря, мне немного неприятно возбуждать дело против тебя, как отца Марии.

АБРАХАМ. Немного неприятно? И только?

РОБЕРТ. Да. Честное слово, как-то не по себе, но ничего не поделаешь. Прежде всего потому, что среди современных биологов ты один из наиболее известных.

АБРАХАМ (слегка оскорблен). Один из наиболее известных.

РОБЕРТ (не заметив). Безусловно. Разве нет? И во-вторых, именно против тебя у меня есть мощные материалы. Начнем с того, что вместо моей матери в тюрьме должен был сидеть ты. Вот поэтому я и убрал венки.

АБРАХАМ. Роберт, это никуда не годится. Я, в конце концов...

РОБЕРТ. Не перебивай, дай договорить. От моей матери Мирабилии мы пойдем дальше, а там вырастают все новые и новые обвинения. Я могу обвинить тебя в сорока семи крупных правонарушениях. Сорока семи! (Доверительно-дружески.) Восемь из них равноценны преступлению!

ДЕВУШКА (горячо). Мы присоединяемся к вашим обвинениям!

РОБЕРТ (удивленно). Вы? С какой стати? (Абрахаму.) Кто это?

ЮНОША. Мы активисты молодежной секции «Общества охраны святости жизни». Мы не знаем ваших обвинений, но предполагаем, что в них есть рациональное зерно.

РОБЕРТ (*устало*). А, армия спасения! Чушь...

ЮНОША. Выбирайте слова!

ДЕВУШКА. Да, да, выбирайте слова!

РОБЕРТ. Дорогие ребята! Дела, которыми занимаются в этом доме, слишком серьезны для вас. Вы ругайтесь с мальчишками, которые дергают кошек за хвост или строгают из живого дерева рогатки.

АБРАХАМ. Ты и впрямь выбирай слова. Эти милые молодые люди прекрасно изложили свои обвинения.

ЮНОША. Суды, законы, тюрьмы, мантии, решетки — насчет этих исторических атавизмов и наша секция имеет свое мнение.

РОБЕРТ. Обвинения, мнения — все это пустые слова. Такого стойкого старика этим не возьмешь! Тут нужна серебряная пуля.

ДЕВУШКА. Добрым словом можно многого добиться! Нечего смеяться! Почему вы думаете, что от наших слов в нем ничего не дрогнуло?

АБРАХАМ. Вполне возможно, что дрогнуло... При том несколько раз.

РОБЕРТ (*дружески*). Будьте добры, оставьте нас в покое. Приходите в другой раз, если желаете. У нас сегодня неотложные дела.

ДЕВУШКА. У нас?! Какая самоуверенность!

ЮНОША (*после паузы*). Хорошо. Может, мы и уйдем. У нас тоже неотложные дела. (*Протягивает Роберту свою визитную карточку.*) Вероятно, мы еще встретимся. Нам есть о чем поговорить.

ДЕВУШКА. Конечно, есть. (*С достоинством уходят.*)

АБРАХАМ. Заходите. Всегда заходите, как только найдете время. (*Роберту.*) Присаживайся и рассказывай все по порядку. Значит, хочешь возбудить против меня дело? Сначала по поводу своей матери? Ясно. Ведь ты юрист, и у тебя еще не было настоящего процесса, настоящего крупного процесса.

РОБЕРТ. Крупного не было. (*Снова воодушевляется.*) Но он будет! Такой будет процесс — пальчики оближешь! Вовлеку прессу, радио, телевидение, кино. Ты прославишься, Абрахам. Очень прославишься.

АБРАХАМ. Прости, но что-то твой юмор до меня не доходит. По-моему, главное, чтобы прославился ты.

РОБЕРТ (*делается серьезным*). Это... это не главное. (*Смущенно.*) Иногда я думаю, что меня вообще не существует. Я всего лишь шупальце, которым мир

посредством закона исследует свое лицо, чтобы стать совершеннее.

АБРАХАМ. Интересная мысль... Я уже слышал нечто подобное... Роберт, а ты подумал о том, что процесс может представлять для тебя опасность? Ведь времена изменились. Сейчас к моим работам стали проявлять большой интерес и самые высшие круги.

РОБЕРТ (*самоуверенно*). Они могли бы проявить гораздо больший интерес. Этот процесс, вероятно, привлекает большое внимание к биологии. И это внимание полезно для тебя даже в том случае, если я этот процесс проиграю.

АБРАХАМ (*заинтересованно*). Занятная мысль. Но ведь поражение в этом процессе все же было бы твоим поражением.

РОБЕРТ. Это было бы не столько моим поражением, сколько поражением существующего медицинского кодекса. Это показало бы, что его пора заменить новым. И как можно быстрее! Устаревшие законы не позволяют нам больше четко контролировать вашу работу. Много спорного. (*Со злостью.*) Создалось неслыханное положение, которое порочит науку.

АБРАХАМ. Какую науку?

РОБЕРТ. Юриспруденцию, разумеется.

АБРАХАМ. Ты считаешь и юриспруденцию наукой?

РОБЕРТ (*ничуть не обидевшись*). Причем единственной, которой стоит в наше время заниматься. Ты не обиделся?

АБРАХАМ. А я-то боялся, что ты... Ладно. А теперь скажи, зачем ты притащил этот венок с могилы матери?

РОБЕРТ. Это... действительно дурацкий, сентиментальный поступок, но публика любит сентименты и эмоции. Я попросил корреспондентов отснять эту свою акцию. Красивый старт для процесса — не правда ли? «Жребий брошен!» — воскликнул молодой служитель правосудия осквернителям могилы своей матери... Прости, я все не дойду до самого главного! (*Вынимает из кармана пачку писем, протягивает их Абрахаму.*) Они должны для тебя кое-что прояснить.

АБРАХАМ. Мои письма к Мирабилии? Где ты их взял? Какая приятная неожиданность! Да еще перевязаны розовой ленточкой!

РОБЕРТ (*улыбается с одобрением*). Ты даже не вздрогнул! Хороший тон требует, чтобы ты хотя бы

вздрогнул. Ведь это неоспоримые вещественные доказательства.

АБРАХАМ. И даже больше. Прекрасные воспоминания о далеких временах... Все же (*перебирает письма*) Мирабилия обходилась со своими бумагами крайне небрежно...

РОБЕРТ. Не имеет смысла их рвать. У меня есть заверенные копии.

АБРАХАМ. Может, и копии принесешь мне?

РОБЕРТ. Боже праведный! Твоему спокойствию можно позавидовать. Ведь в конце концов это бумаги, которые доказывают твою вину. Ты был главным виновником этого скандального эксперимента!

АБРАХАМ (*искренне*). Разумеется, я.

РОБЕРТ. Гм... Да... Но чувство стыда у тебя должно быть... хотя бы передо мной. (*Спокойствие Абрахама заставляет его быть немного риторичным.*) Научный путь моей матери прервала тюрьма. Ей пришлось идти учительствовать.

АБРАХАМ. Эта профессия подходила ей больше.

РОБЕРТ (*задет*). Неужели? Конечно, мертвые не могут постоять за себя, но, я думаю, память о них должна быть священна.

АБРАХАМ (*серьезно*). Память о Мирабилии для меня вечно дорога. (*Вой водяной собаки.*) Знаешь, Роберт, вчера мне пришла в голову великолепная идея: мы увековечим имя твоей дорогой матушки навсегда. Этот вой издало животное, которое со вчерашнего дня зовется *Ganis mirabilis hangmani*, водяная собака Хангман. (*Снова вой.*)

РОБЕРТ. Ух! Какой жуткий вой! Будто... свинья тонет в нечистотах...

АБРАХАМ. Что ты себе позволяешь! Водяные собаки умные, элегантные, плодовые животные. И даже глаза у нашего Бонифация чем-то похожи на глаза Мирабилии — большие, карие, влажные и грустные...

РОБЕРТ. Можно попросить у тебя стакан воды?..

АБРАХАМ. Пожалуйста. (*Берет из шкафа бутылку минеральной воды. Откупоривает.*)

РОБЕРТ (*отпивает глоток*). Я мог бы давно начать этот процесс, но я не хотел омрачать последние дни матери новым скандалом. Она и без того достаточно натерпелась.

АБРАХАМ. Что и говорить.

РОБЕРТ. Ты тоже так считаешь?

АБРАХАМ. Конечно! Стезя, которую избрала себе Мирабилия, была стезей мученицы.

РОБЕРТ. Избрала? Кстати, у меня есть еще одна пачка писем. *(Протягивает другую пачку писем Абрахаму.)*

АБРАХАМ *(искренне удивлен)*. Письма Мирабилии мне?! А эти у тебя откуда?

РОБЕРТ. Ты со своими бумагами обращаешься аккуратнее... Мне пришлось ночами рыться в ящиках и шкафах вашего дома. *(Искренне.)* Ну и жуткие у вас шкафы и ящики!

АБРАХАМ *(без недовольства)*. Ты рылся в моих шкафах? Когда?

РОБЕРТ. Ночью. Мария помогала мне.

АБРАХАМ. Мария?

РОБЕРТ. Она знает, что за процесс я задумал и против кого. Она помогала мне и поддерживала во всем.

АБРАХАМ *(одобрительно)*. Прямо-таки заговорщики. А я-то думал, что современная молодежь занимается только разными половыми вопросами. Это приятная неожиданность для меня. *(Берет стремянку, подвигает ее к высокому буфету и залезает на нее.)*

РОБЕРТ *(с гадливостью)*. Я знаю, что там в шкафу.

АБРАХАМ *(озабоченно)*. Что же?

РОБЕРТ. Человеческая голова. Заспиртована в банке. Когда я ее открыл — это было в полночь, — я прямо со стула упал.

АБРАХАМ. Верно, там Альфред. Говоришь, упал со стула?

РОБЕРТ. Да.

АБРАХАМ *(берет из шкафа пачку писем)*. Выходит, ты не врешь. *(С облегчением.)* Хорошо, что вам, юристам, так слабо преподают судебную медицину. *(Кладет письма обратно.)* Целы!

РОБЕРТ. Еще какие-то письма? Мне хватит и этих.

АБРАХАМ. Разумеется... А эти письма — они бы только помешали тебе начать процесс. Я так думаю.

РОБЕРТ. Меня ничто не остановит.

АБРАХАМ *(смотрит на него с уважением)*. Я почти верю тебе. Ты, видно, более стоящий парень, чем кажешься.

РОБЕРТ. А каким я кажусь?

АБРАХАМ. Этаким заурядным длинноволосым.

РОБЕРТ. Это плохо?

АБРАХАМ. Почему плохо? Это явление давно известно этологам. Часто молодые самцы, например обезьян, ведут себя крайне вызывающе. Цель их красования — привлечь к себе внимание. Кто сумеет сделать это быстрее, того старшие самцы почему-то быстрее принимают в свой круг. После этого молодые самцы тут же бросают свои фокусы. Это в мире животных. Но некоторые твои ровесники красуются ради самого красования. Это абсурд. И как ни странно, это сейчас очень распространено. *(В дверях появляется Мария.)* По-моему, это относится и к моей дочери! Кажется, она пока еще женского сословия...

МАРИЯ *(Роберту)*. Ну как — сторговались?

РОБЕРТ. Еще не успели.

МАРИЯ *(весело)*. Такое простое дело — и не можете уладить. *(Абрахаму.)* Роберт пришел тебе сказать, что он хочет взять меня в жены. Что касается меня, то я... согласна. Такое заявление, может, немного старомодно, но... так уж получилось.

АБРАХАМ. На меня хочешь в суд подать, а Марию взять в жены. Не многовато ли для одного раза? *(Лицо его принимает озабоченное выражение — впервые за все это время.)*

МАРИЯ. Это разные вещи, Абрахам.

АБРАХАМ. Даже в такой момент она говорит мне «Абрахам». Но послушай, Мария... Ты еще слишком молода. Семнадцать лет, совсем еще ребенок.

МАРИЯ. Девятнадцать, Абрахам. *(Роберту.)* Видишь, как много он обо мне знает.

АБРАХАМ. Вы еще не узнали друг друга как следует.

МАРИЯ. Он взял меня уже четыре года назад.

АБРАХАМ. Взял? Как это — взял?

МАРИЯ *(весело)*. А так — горячо, со страстью. *(Становится серьезнее.)* Я уже переспала с несколькими, Абрахам.

РОБЕРТ. Не причиняй отцу боль!

АБРАХАМ. Может быть, тебе?

МАРИЯ. Но этого человека я, по-видимому, люблю. Меня больше не интересуют другие, а это значит, что нам придется справить свадьбу.

АБРАХАМ. Боже мой, взял пятнадцатилетней! А я-то

думал, что девушки считают свою честь самым прекрасным украшением!

МАРИЯ. Ты ждешь этого от дочери биолога? Шкафы заставлены банками, а в банках разные... мужские части тела... Я их изучила еще в третьем классе. И к тому же не забывай, Абрахам, — акселерация!

АБРАХАМ. Не слишком ли рано ты покидаешь дом?

МАРИЯ (мягко). Папа, дорогой, самое время уходить. Я больше не вынесу этого абсурда. Я сойду с ума.

АБРАХАМ. Какого абсурда?

МАРИЯ. Это длинный разговор. Стоит ли его начинать. Ты все равно не поймешь.

АБРАХАМ. Что-то я действительно больше ничего не понимаю.

МАРИЯ. В нашем доме все шиворот-навыворот. Все поставлено с ног на голову. Здесь идет такая борьба за жизнь, что всю ночь орут недорезанные животные и к утру вагонетки наполнены тушами.

АБРАХАМ (серьезно). Все это очень грустно, но я ничем не могу помочь.

МАРИЯ. Вижу, что не можешь... У моего папы с мамой счастливое добродетельное супружество, а по существу мама бесплатная уборщица и ночной сторож в лаборатории.

АБРАХАМ. Я никогда ни к чему ее не принуждал.

МАРИЯ. Вот это и страшно... Говорят, наука — слуга человечества, а в нашей семье — наоборот. Мы — рабы науки.

АБРАХАМ (про себя). По-моему, мы с мамой вполне счастливы...

МАРИЯ. Эта ваша наука — хуже наркомании. Она губит все доброе, человеческое. Вот мы с тобой, Абрахам, должны друг друга понимать и любить. А ты даже не знаешь, сколько мне лет. А я не знаю, сколько тебе. И любая инфузория тебе дороже, чем родная дочь.

АБРАХАМ. Какая инфузория?

МАРИЯ. Да хотя бы... *Isosporia belli* — эта капелька соплей — и больше ничего.

АБРАХАМ. *Isosporia belli*? (Припоминает.) А, этот возбудитель кокцидиоза? (Обращаясь больше к Роберту.) Им болеют кролики.

МАРИЯ (с иронией). И гуси. Ты сам это как-то сказал.

АБРАХАМ. Верно, и гуси. (Роберту.) Представь, у

моей дочери была тоже эта болезнь. (Гордо.) Первый случай в Европе.

МАРИЯ. Глядите, как он сразу оживился! (Роберту.) Мне тогда было двенадцать лет — глупый и нежный возраст, когда папы очень много значат для дочерей. У меня ужасно болел живот, и Абрахам нашел в моем ночном горшке эту самую *Isosporia belli*. Впервые в жизни я была для отца настоящим событием, вернее — мой ночной горшок. Он сидел у моей кровати и следил, чтобы я не принимала никаких лекарств — хотя бы в начале. Ребенок мучается от болей, а он, видите ли, хочет получить чистую культуру инфузории!

АБРАХАМ (стыдливо). Это был исключительный случай... Ты немного преувеличиваешь...

МАРИЯ. Ну, конечно, он не совсем позабыл про меня. Позже он взял меня с собой в лабораторию и показал под микроскопом эту мерзкую козявку. Как сияли его глаза! Любая девочка гордится, если ее отец ученый, а я плакала в подушку — уж лучше был бы трубочистом, лишь бы был отцом...

АБРАХАМ (беспомощно). Это был действительно исключительный случай.

МАРИЯ. Самый заурядный. Но я не жалуясь, я просто напоминаю тебе, Абрахам. А как-то после войны, когда мяса днем с огнем нельзя было найти, мать где-то достала отличный кусок — грудинку. Мы собирались на славу попировать. Но вдруг мясо исчезло. Он унес его в лабораторию и растворил в соляной кислоте... Зачем только я все это вспоминаю! Но ты сам этого хотел!

АБРАХАМ. Мария, нельзя всегда думать только о себе.

МАРИЯ. И о своей семье.

АБРАХАМ. Нельзя, да и просто невозможно.

МАРИЯ. Даже если любишь?

АБРАХАМ. Даже тогда.

МАРИЯ. А я считаю, что можно и нужно. Мы не термиты, мы — люди. (Роберту.) Я знаю его доводы. Он хочет уберечь человечество от всех бед и даже от смерти. А зачем? Зачем спасать от смерти тех, кто не умеет и не хочет уметь жить? Любой кролик или гусь знает лучше, что такое жизнь, чем те, кто ее так защищает. Все это абсурд. И этому нет конца! Ученые — как наркоманы — знай себе увеличивают дозы!

Пауза.

АБРАХАМ. Я всех вас по-своему любил.

МАРИЯ. По-своему — вполне возможно. Но это твое «по-своему» меня не устраивает. Я хочу сама любить и чтобы меня любили по-человечески. И поэтому я предала своего так называемого любимого отца с полным убеждением, с удовольствием. Я предала его во имя человеческого счастья, если пользоваться твоей же терминологией. Несколько лет назад я привела сюда Роберта, чтобы он узнал все факты, необходимые для того, чтобы тебя уничтожить. И не столько тебя, Абрахам, сколько твое мировоззрение. Вы не знаете и не хотите знать, за счет чего и во имя чего вас самих же сжигает эта тотальная машина.

АБРАХАМ (серьезно). Бедная девочка...

МАРИЯ. И даже если из этого ничего не выйдет... то по крайней мере я сделала все, что было моим долгом. Боже мой, что это — у меня слезы! Давно я не плакала. Я... пойду... (*Приложив ладони к глазам, уходит.*)

РОБЕРТ (в затруднении). Вам нелегко, Абрахам...

АБРАХАМ. Я не думал, что у меня такая интересная, пылкая дочь! Мне и самому стало не по себе.

РОБЕРТ. Мария так чиста, что я порой боюсь...

АБРАХАМ. Ты чего-нибудь выпьешь, Роберт?

РОБЕРТ. Нет. Я абсолютный трезвенник.

АБРАХАМ. Я тоже. Это хорошо и немного плохо.

РОБЕРТ. Почему?

АБРАХАМ. Это показывает, что мы чрезмерные фанатики. Нам с тобой предстоит тяжелый разговор. Для тебя это будет неожиданностью.

РОБЕРТ. Но процесс состоится все равно.

АБРАХАМ. Может, и так, но свадьбы не будет.

РОБЕРТ. Ты против? Я понимаю. Нелепо выдавать свою дочь за человека, который выступает против тебя... Но это разные вещи. Я знаю, что ты не мещанин. Но процесс надо провести, иначе мы скоро придем к тому, что вы полностью выйдете из-под контроля. Это приведет к ужасной анархии.

АБРАХАМ (грустно). Не будет свадьбы... (*Смущенно.*) А эта... свободная любовь вас никак не устраивает... Та самая, которую так отстаивает Мария?

РОБЕРТ (недовольно). Бросьте шутки, Абрахам! И вообще мы живем не в средневековье. Ваше разрешение или запрет ничего не значат. Мария — совершеннолетняя.

АБРАХАМ. Тут не помогло бы и средневековье...
Вот если бы мы жили в Древнем Египте.

РОБЕРТ.???

АБРАХАМ (*встает, торжественно-печально подходит к Роберту, берет его за руки*). Детки вы мои! Ты, Роберт, мой сын! И я очень рад тебе...

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Декорации те же.

РОБЕРТ, несколько подавленный, сидит в кресле. Зато АБРАХАМ в прекрасном расположении духа шагает из угла в угол.

АБРАХАМ. Что-то я не вижу твоей радости, сынок... (Пауза.) Зато у меня сегодня прекрасный день — наконец я смог облегчить свою душу. И к тому же приятная неожиданность — мой сын живет высокими духовными запросами. Жаль только, что твоя специальность — юриспруденция — немного легковесна.

РОБЕРТ (думая о своем, мрачно). Ты не сможешь этого доказать.

АБРАХАМ. Того, что у тебя высокие духовные запросы?

РОБЕРТ. Того, что ты мой отец!

АБРАХАМ. Отчего же не смогу? Сейчас встану на стул и полезу к Альфреду. Он как добросовестный цербер сторожил мои бумаги... Кстати, не вызвали ли у тебя подозрение те денежные переводы, что я посылал Мирабилии?

РОБЕРТ. Конечно, вызвали. Я сразу понял, что дело нечисто, что ты будто хочешь искупить какую-то вину.

АБРАХАМ. Искупить вину? Глупости... Я должен был немного помочь своему сыну — все же родная кровь, а твой официальный отец был никчемный человек. Такому хирургу я не доверил бы даже своей мозоли.

РОБЕРТ. Не тебе судить о моем отце. Помнишь, на что жаловалась твоя родная дочь? А мой отец собственноручно вырезал мне деревянных лошадок.

АБРАХАМ. Вероятно, резать по дереву он был мастак... Что ему еще оставалось. Самый никудышный

ученик великого Хозенкнопфа. Ну, ладно... *(Поднимается по лесенке.)* А ты знаешь, кто этот Альфред? Вот из-за него-то и посадили твою мать. Вот она — эта голова. *(Разглядывает препарат в большой банке. Растроганно.)* Он был гитаристом в оркестре одного кабачка. Бедняжка, спяну угодил под дорожный каток. Только голова и торчала. Так что и отрезать ничего не пришлось. Потом все журналисты раздули... Это случилось под нашими окнами. У меня как раз один аппарат был свободный — электрическое сердце и искусственное легкое, — помню, мы тогда работали с обезьянами. Мирабилия выскочила на улицу, схватила голову под мышку. Мы подключили к мозгу Альфреда питательный раствор — и вскоре тот открыл глаза.

РОБЕРТ. Жутковато.

АБРАХАМ. А разве не жутко оставить голову на мостовой? По-твоему, из-за того, что отказала низшая форма материи, должна и голова — невредимая музыкальная голова — тоже превратиться в прах? *(Берет из-под банки, в которой голова Альфреда, пачку писем, ставит банку обратно, слезает.)* Будь Альфред немного разумнее, он смог бы сам нас защитить на суде. Он же требовал только одного — опохмелиться... И еще он обвинял нас в том, что мы похитили его туловище — он уже не помнил, что попал под каток... И еще его голова во все горло распевала дурацкие песни.

РОБЕРТ. Она даже пела?

АБРАХАМ. Да, «О пивоваре» и «Мой любимый Августин» и еще одну нелепую песню *(С недовольством.)* О кошке, у которой были котята от собаки. Это же генетический абсурд! До этого мы никогда не дойдем! Бред какой-то!

РОБЕРТ. Что это за письма?

АБРАХАМ. Смотри-ка — и фотография! На ней один годовалый человечек! *(Протягивает фотокарточку Роберту.)* Узнаешь?

РОБЕРТ *(тихо)*. Да это же я...

АБРАХАМ. Верно. А тут этому сеньору три года, размахивает деревянным мечом. Уже видно, что метит в судьбы. Не правда ли, самоуверенный человечек?... Взгляни-ка, у меня сохранились твои школьные тетрадки. А эти письма здесь... Это «дипломатическая корреспонденция», в которой Мирабилия требует, чтобы я дал ей тебя. Родить от меня ребенка было ее навяз-

чивой идеей. Вообще-то она не была типом любящей женщины... Насколько я в этих делах разбираюсь. Она была сухарь, фанатичка от науки. К сожалению, бездарная. (Хлопает Роберта по плечу.)

РОБЕРТ. Не очень-то приятно слушать, как мой отец отзывается о моей матери.

АБРАХАМ. Я надеюсь, ты не сентиментален. Как-никак юрист...

РОБЕРТ. Ну, рассказывай дальше...

АБРАХАМ. Она мечтала совершить в науке что-то великое, даже в глазах ее был голод по научной славе. Она мечтала оставить о себе след. (Вой водяной собаки. Абрахам торжественно.) И оставила — *Ganis mirabilis hangmani!*

РОБЕРТ. Перестань наконец об этой собаке!

АБРАХАМ. А ее идея насчет Альфреда — в истории науки она сыграла немалую роль.

РОБЕРТ. Альфред? Значит, это была все же ее идея? А ты говоришь, что у нее не было фантазии, что бездарь...

АБРАХАМ. Я не об этой идее.

РОБЕРТ. О какой же? Я ничего не понимаю.

АБРАХАМ. Об идее пожертвовать собой, взять всю вину на себя, чтобы меня спасти от тюрьмы. (Торжественно.) Вот этим твоя мама принесла науке громадную пользу! И ей самой эта идея доставила огромное удовлетворение. Я, кажется, уже говорил, что она была сухарь?

РОБЕРТ. Говорил, говорил, говорил!!!

АБРАХАМ. А тут она прямо расцвела, похорошела. Между прочим, у тебя подбородок точь-в-точь как у матери. Я не видел более счастливого человека, чем была Мирабилия, когда она объявила журналистам, что опыт с Альфредом — это ее идея, и что она осуществила его одна.

РОБЕРТ. Значит, она объявила об этом добровольно?

АБРАХАМ. Разумеется. Ее обзывали садисткой, извергом, «синей бородой в юбке». О, это было упоительное время в ее жизни! Она заклинала меня, чтобы я только не вмешивался. Она умоляла меня, как ребенок, который боится, что у него отберут игрушку. Она воображала себя Джордано Бруно. Наверно, даже мечтала о костре. Три года тюрьмы были для нее большим разочарованием!

РОБЕРТ. И ты не вмешался?

АБРАХАМ. Разумеется, нет. Я был даже рад, что дело приняло такой оборот, потому что... вначале у меня самого был план... *(Замялся.)*

РОБЕРТ. Какой план?

АБРАХАМ. Свалить всю эту историю на Мирабилию.

РОБЕРТ *(улыбаясь)*. Я просто... восхищаюсь тобой, отец.

АБРАХАМ. Но это было весьма неприятно. Знаешь, жертвовать собой — не всегда самое трудное. Позволить пожертвовать собой другому человеку вместо себя — это порой требует больше характера.

РОБЕРТ. Вполне возможно.

АБРАХАМ. Но другого выхода не было. Если бы в тюрьму упекли меня, то в те годы это было бы катастрофой для науки. Были такие опыты, которые только я, я один на целом свете мог довести до конца. Мирабия понимала это. Честь и хвала ей!... Вот вы, юристы, и прочие краснобаи сумели бы это очень красиво изложить. *(Весело.)* «Она пожертвовала собой во имя того, что пылающий факел был вознесен на вершину!» и тому подобное... Но свою миссию она выполнила! Не знаю, смог бы я на ее месте поступить так же.

РОБЕРТ. Жуткая история...

АБРАХАМ. Но Мирабия избрала этот путь добровольно.

РОБЕРТ. Я не об этом.

АБРАХАМ. О чем же?

РОБЕРТ. Как ты не понимаешь? То, что ты мой отец, — это непременно всплывет в ходе процесса, и возникнут крупные осложнения...

АБРАХАМ. Этического плана. Я понимаю.

РОБЕРТ. В этическом плане мне это даже на руку — прекрасная реклама. Все куда сложнее. Коли нас с тобой связывают родственные узы, меня могут с этого процесса снять... А кто поручится, что любой другой не загубит этот процесс. Страшная история.

АБРАХАМ. Ты о деле матери?

РОБЕРТ *(более безразлично)*. И о ее деле тоже...

АБРАХАМ *(задумчиво смотрит на него)*. Да ты просто одержим своей профессией!

РОБЕРТ. Так же, как и ты, отец. *(Встает, нервно шагает по комнате. Размышляет.)* Но, послушай, тут что-

то не так! Если женщина беременна, ее освобождают от тюремного заключения?

АБРАХАМ. Все было после.

РОБЕРТ. После тюрьмы? Вы все еще встречались? Я... удивляюсь.

АБРАХАМ (*смущенно*). Я не хотел, но Мирабилия была словно опьянена своей участью мученицы. И эта последняя тайна увенчала ее остальные тайны. Из-за меня — тюрьма, теперь еще ребенок от меня. Женщины в любом деле жаждут совершенства.

РОБЕРТ. И ты согласился?

АБРАХАМ. Разве можно противостоять женщине, если она что-то вбила себе в голову? Ну, и мне пришлось пожертвовать собой... Сейчас я не жалею об этом. Хотя мой сынок и намерен заточить меня в острог.

РОБЕРТ. Не поясничай, отец! Но ведь ты был тогда женат. Берта знает обо всем?

АБРАХАМ. Наверяд ли. И не думаю, чтобы это ее интересовало. Берта умная женщина. И у нее научный взгляд на мир.

РОБЕРТ. Гм... Значит, ты не смог дождаться мамы, когда она выйдет из тюрьмы? Не смог дождаться женщины, которая принесла себя в жертву?

АБРАХАМ. У меня не было времени, сынок. Как только Мирабилию посадили, я тут же женился...

РОБЕРТ. По годам выходит именно так. (*С легким укором.*) Ты женился немедленно!

АБРАХАМ (*искренне*). Мне нужна была в лабораторию помощница. Бесплатная помощница. В те годы я был гол как сокол. А у Берты были деньги. И что самое главное — она умела печатать на машинке. (*Смущенно*). А еще в те годы я занимался эмбриологией, проводил опыты с зародышами. Мне нужна была самоотверженная женщина, которая согласилась бы провести на себе один из подобных экспериментов. Характер этих опытов вел... неизбежно к супружеству. (*Искренне*.) Да, и Берта превзошла Мирабилию по всем статьям.

РОБЕРТ (*не слушает, погружен в свои мысли. Неожиданно*). Отец, могу ли я тебя о чем-то попросить?

АБРАХАМ. Разумеется.

РОБЕРТ. Что, если мы скроем наше родство?

АБРАХАМ.?

РОБЕРТ. Это облегчило бы проведение процесса. Ты ведь не желаешь мне зла?

АБРАХАМ (*весело*.) Как и ты мне. Только хочешь посадить меня. Как ты сказал: восемь правонарушений равноценны преступлению?

РОБЕРТ (*с воодушевлением*). Именно так! Что ты смеешься? Неужели ты не понимаешь, что ты сам вне опасности? Ты — человек, нужный государству, с тобой не случится ничего плохого, на твоей голове и волоска не тронут.

АБРАХАМ. И это зовется правосудием?

РОБЕРТ. В каждом деле есть теория и практика — а это разные вещи.

АБРАХАМ. Где же в таком случае этика?

РОБЕРТ (*понимает иначе*). Вот-вот! Где этика? Именно из-за этики я все это и предпринимаю. Юриспруденция — основа этики, и вдруг одна из наук — биология — ускользает из-под нашего контроля! Хорошенькое дело! Вы приметесь снимать головы и пришивать их по своему усмотрению. Консилиумы ученых будут выносить решения, которые мы, как некомпетентные лица, не в состоянии отклонить! Позор! Если до сих пор смерть констатировали на основе прекращения сердечной деятельности, то теперь — сердце вообще отсутствует, а голова продолжает жить! (*Воодушевляется, впадает в профессиональное красноречие*). Представьте картину: жена встречает на улице голову покойного мужа, насаженную на другое туловище! Это же этический кошмар! Может случиться и такое, что на одного индивида будут претендовать две женщины: одна, что была замужем за его головой, другая — за туловищем!

АБРАХАМ. Так далеко мы, к сожалению, еще не продвинулись. На это уйдут годы.

РОБЕРТ. Однако теоретически это не исключено.

АБРАХАМ (*задумчиво*). Не исключено... Но это далекое будущее.

РОБЕРТ. Это ужасно, не правда ли?

АБРАХАМ. Да, это может привести к сложным ситуациям.

РОБЕРТ. Тело какого-нибудь мужчины, давшее своей жене прелестных деток, лезет под одеяло к другой женщине и расхаживает с лысым черепом какого-нибудь кретина... Обманутое тело! Оно живет своей прежней телесной жизнью и думает, что спит со своей женой. А рядом совсем чужая дородная мадам...

АБРАХАМ. Действительно, нелепо.

РОБЕРТ. Но самое ужасное не это.

АБРАХАМ. Что же? Что тела и головы превратятся в товар? И такое может случиться.

РОБЕРТ. Гораздо страшней другое!

АБРАХАМ. Что же?

РОБЕРТ. Ты подумай, отец, что станет с нашим брачным правом и правом наследства?

АБРАХАМ (*смеется*). Браво!

РОБЕРТ (*в замешательстве*). Если законы не могут навести порядка, то простое человеческое счастье в опасности. (*Горячо.*) Поэтому я просто обязан начать этот процесс! Мария правильно сказала: нельзя допустить, чтобы во имя большого неопределенного общего счастья пострадало хотя бы одно маленькое личное счастье.

АБРАХАМ. Да, она говорила нечто подобное.

РОБЕРТ. Я прошу тебя — давай скроем вначале наше родство!

АБРАХАМ (*в задумчивости шагает по комнате*). Я ничего не имею против, но тут... одна явная логическая ошибка.

РОБЕРТ. Ошибка? Где?

АБРАХАМ. Ты хочешь сказать, что начинаешь процесс во имя маленького человеческого счастья? Я не могу в это поверить. Не могу — и все.

РОБЕРТ. Ты не веришь мне? Мой новоявленный отец не верит мне...

АБРАХАМ. Что за мелодраматический тон!

РОБЕРТ (*задет*). Неужели ты думаешь, что все это я делаю просто ради славы?

АБРАХАМ. Этого я не говорил.

РОБЕРТ. Как мне доказать, чтобы ты поверил? Я вижу, это невозможно.

АБРАХАМ. Почему же невозможно? Нет ничего проще. Ты не очень-то сообразителен.

РОБЕРТ. Благодарю.

АБРАХАМ. Я решил дать тебе своего рода пробный камень.

РОБЕРТ. Что-то я не понимаю.

АБРАХАМ (*задумчиво*). Ты действительно одержим своей юриспруденцией... Видишь ли, если наше родство выявится, одной будущей семье придется отказаться от маленького простого человеческого счастья.

Разве не так? Ведь не можешь же ты жениться на своей единокровной сестре... А если ты не начнешь процесса, об этом никто не узнает, и я даю вам свое благословение. Просто — не правда ли?

РОБЕРТ (*после паузы, неуверенно*). Это тяжело... Но как я могу жениться на своей сестре? Не скажется ли это на наших детях?

АБРАХАМ. Ну, это не проблема — мы можем сделать генетические тесты. В девяноста пяти случаях из ста нет никакой опасности.

РОБЕРТ. Неужели? (*Восторженно*.) Это же просто великолепно!

АБРАХАМ. Ты радуешься?

РОБЕРТ. Конечно! Оказывается, и в брачном праве есть средневековые рудименты. Какая блистательная тема! Сразу же после твоего процесса я займусь новым делом! Разрешить в наши дни браки между родственниками. Конечно, только после того, как сделаны эти... самые...

АБРАХАМ (*подсказывает*). Генетические тесты. Группа крови еще ни о чем не говорит. Необходимы многие другие обследования.

РОБЕРТ. Отец, дорогой, ты просто золото! Это может стать трудом всей моей жизни!

АБРАХАМ. И только?

РОБЕРТ. Ты о чем? (*Догадавшись*.) Ясно. Мария... Видишь ли, я боюсь, что тот факт, что я живу со своей единокровной сестрой... не отравит ли это наше подсознание? Ситуация античной драмы.

АБРАХАМ. Но ведь Мария об этом ничего не знает.

РОБЕРТ. Она-то, конечно, не знает, но этот тысячулетний запрет кровосмешения...

АБРАХАМ. Прости, пожалуйста, я должен задать тебе один... деликатный вопрос...

РОБЕРТ. Пожалуйста.

АБРАХАМ. Видишь ли, общественное мнение таково, и я его разделяю, что если хочешь на ком-то жениться, ты должен этого человека и духовно... как-то духовно...

РОБЕРТ. Ты хочешь сказать: должен любить?

АБРАХАМ (*с облегчением*). Вот именно!

РОБЕРТ (*искренне*). Я люблю Марию больше, чем кого бы то ни было.

АБРАХАМ (без иронии). Если не считать своих параграфов.

РОБЕРТ (после паузы). Да, это так.

АБРАХАМ. Я тут поглядел на тебя и подумал: может, ты вообще не любишь женщин?

РОБЕРТ. Что ты хочешь этим сказать?

АБРАХАМ. В этом нет ничего особенного. Говорят, число таких мужчин сильно возросло.

РОБЕРТ. Отец! Что за кошмарные вещи ты говоришь!

АБРАХАМ (с невинным видом). Кошмарные? Я подумал, что подобные вещи в наше время как раз считаются хорошим тоном.

РОБЕРТ. ???

АБРАХАМ. Разве не так? Извини. Кажется, я немного отстал от жизни, и все же я удивляюсь, как легко ты пережил этот удар с Марией. У меня, например, несколько вечеров было отравлено, когда посадили Мирабилию... А может, между вами такая любовь... ну, как между братом и сестрой?

РОБЕРТ. Ты насмехаешься надо мной!

АБРАХАМ. Вовсе нет. Мне бы очень хотелось надеяться, что это именно любовь брата и сестры. Иначе вся эта история была бы очень неприятна. Даже печальна. Видишь ли, этот комплекс античной драмы в вашем случае тоже отпадает.

РОБЕРТ. Почему?

АБРАХАМ. Да просто потому, что вы не брат и сестра. (Пауза.)

РОБЕРТ. Но ведь ты сам доказал, что я твой сын...

АБРАХАМ. Да, ты мой сын... но Мария не моя дочь.

РОБЕРТ. Не твоя дочь?

АБРАХАМ. Не моя дочь и не твоя сестра. А вот этого... этого я уже никак не сумею доказать.

РОБЕРТ. ???

АБРАХАМ. Когда мы с Бертой решили, что нам не мешало бы иметь ребенка, мы побоялись рисковать. Я много работал с радиоактивными веществами... Понимаешь?

РОБЕРТ. Не совсем.

АБРАХАМ. Мы боялись, что родится ребенок с мутациями — урод. (Серьезно.) Я решил, что такой ребенок мог быть весьма занятен и представлять интерес для науки, а его изучение помогло бы продвинуться во мно-

гих исследованиях, но Берта была категорически против. Несмотря на то, что она разумная женщина. Это был первый и последний раз в жизни, когда она спорила со мной.

РОБЕРТ. Как же с Марией?

АБРАХАМ. Погоди! Насчет отца Марии я ничего не знаю. Ее отцом стало совершенно случайное содержимое пробирки из цитологической лаборатории. Понимаешь? Мы решили отца Марии не выяснять. Итак, Мария произошла из маленькой надтреснутой пробирки. Только мы не можем это никак доказать. Официально она моя дочь и останется ею.

РОБЕРТ. Значит, мы можем пожениться?

АБРАХАМ. Вам ничто не препятствует.

РОБЕРТ. Почему же ты хочешь скрыть наше родство?

АБРАХАМ. Как ты не понимаешь? Из-за Марии.

РОБЕРТ. Мария любит меня.

АБРАХАМ. Бедная девочка... Может, это и так.

РОБЕРТ. Бедная?

АБРАХАМ. Конечно. Насколько я понимаю, не такой муж ей нужен. Марии нравится, чтобы ей дарили цветы, чтобы при луне держали за руку и чтобы ее муж своими руками умел мастерить для детишек этих... лошадок-качалок (*Неожиданно гаснет свет.*) Что это? (*В панике.*) Мои животные! В этом доме электричество не должно ни на минуту... Идем!

Несколько секунд неразберихи, шаги, грохот опрокидываемых стульев, свет вновь зажигается. В комнате одна МАРИЯ. Папка Роберта и пачка писем исчезли. Но мы это замечаем не сразу. Мария сидит на диване, внешне спокойная. Входят остальные.

АБРАХАМ. Мария — ты? Может, и свет ты выключила?..

МАРИЯ. Да, я. Так нужно было. (*Пауза.*) Что это у вас такие испуганные лица? Может, приготовить вам сахарной водички?

АБРАХАМ. Ты... (*Осекается.*)

МАРИЯ (*показывает на трубку в стене, на трубке нет колпачка.*) Я все слышала. Невольно. Мужчины очень небрежны с подобными вещами. (*Пауза.*) Обо мне можете не беспокоиться, я уже давно знала о своем «про-

исхождении». И все равно это было очень интересно! Хотя бы такая деталь, что та пробирка была надтреснута... (*Спокойствие ей дается с трудом.*) Вот бы эта пробирка сохранилась!

АБРАХАМ. Мы... собирались с мамой рассказать тебе все, когда ты будешь... самостоятельным человеком. Выходит, мама все же?..

МАРИЯ. Нет.

АБРАХАМ. А как же ты?..

МАРИЯ. Но ведь ты не держишь под замком протоколы своих экспериментов. Я давно знаю, что в систематизированных каталогах моего исполняющего обязанности отца я, Мария, значусь как эксперимент номер тысяча сорок три. Я ознакомилась с температурой и прочими показателями моей мамы за весь период беременности. Они записаны с такой любовью и тщательностью.

АБРАХАМ. Но я должен был это делать!

МАРИЯ. Еще бы! Новое начинание: искусственное оплодотворение, не правда ли?

АБРАХАМ (*в его голосе уже священное негодование.*) Да.

РОБЕРТ (*мрачно.*) Мне лично все это понятно, Мария.

МАРИЯ. Тебе-то, конечно. Эксперимент триста один — наверно, эта водяная собака. А тысяча шестьсот двадцать два — несчастная птица в клетке. А ты, Роберт, спал с девушкой номер один-ноль-четыре-три.

РОБЕРТ. Нет, с тобой, Мария! И номер тут ни при чем!

МАРИЯ (*порой она не владеет собой*). Мир мне иногда кажется огромной мясной лавкой, набитой различными тушами. Мой отец там — высококвалифицированный мясник. А его сын — работник управления мясными лавками, который хочет ввести новые параграфы в правила мясоторговли.

РОБЕРТ. Хорошо, пусть будет так.

МАРИЯ. Новые параграфы — любой ценой, разве не так?

РОБЕРТ. Да, любой ценой. Разве ты сама этого не хотела?

МАРИЯ. Но не любой ценой. Огромная мясная лавка...

РОБЕРТ (*уже злобно*). Почему же? Для некоторых он прекрасный розовый мир грез, где голые длинноволосые

парни и девушки слоняются одурманенными толпами и беспорядочно совокупаются... Некоторые парочки, правда, откалываются от толпы и роют себе отдельную пещерку...

АБРАХАМ (*словно очнувшись*). Погодите! Этот документ номер тысяча сорок три, который доказал бы, что... ведь он существует! (*Пауза. Грустно.*) Но едва ли теперь это имеет какое-либо значение.

МАРИЯ. Этого документа больше нет. Я уничтожила его.

АБРАХАМ. Когда?

МАРИЯ. Какая разница. Между прочим, это было в то время, когда я искала в тебе отца, а ты интересовался только моим ночным горшком.

АБРАХАМ. Тебе не следовало этого делать.

МАРИЯ. Неужели эта бумажка имела такую большую научную ценность? Сейчас она ничего не значит. Этот человек, что сидит в углу и смотрит на меня таким ледяным взглядом, этот твой сынок — он заразился нашей семейной болезнью. Он превратил бы меня в свою Бертю... Господи, до чего же вы похожи! Как я этого раньше не замечала.

РОБЕРТ. И я горжусь этим, Мария. Это правда, как и то, что я тебя люблю.

МАРИЯ. Ну, еще бы. Только «как бы мы сами ни хотели, но порой мы вынуждены во имя светлого будущего человечества приносить жертвы, действовать вопреки своим чувствам и желаниям». Кто так говорил? Римские полководцы, когда держали речь в сенате. Папа римский, когда наставлял иезуитов. Абрахамы, когда просят у государства помощи для расширения своей живодерни... Другими словами — «цель оправдывает средства»! Как много развелось защитников счастья! Кто бы нас защитил от этих защитников?

РОБЕРТ. Неужели ты, Мария, можешь нашу пещерку считать более важной, чем все, о чем мы вместе мечтали? Девочка, ты становишься мелкой обыкновенной мещанкой, черт возьми! Я не понимаю, как я тебя, не смотря ни на что... все еще...

МАРИЯ. ... Все еще любишь?

РОБЕРТ. Да. Мне просто неловко.

МАРИЯ. Мне тоже. Мы говорили с тобой одни и те же слова, но вкладывали разный смысл. Я вижу, на тебя сильно подействовало мое бумажное приданое, так

сильно, что и ты запел: «как благородно отказаться от счастья во имя счастья»!

РОБЕРТ (*спокойно*). Те, кто это провозглашал, были счастливы. Они говорили это средним хорошим серым людишкам, которые были им нужны для достижения своей цели. Для самоутверждения. Эта фраза действует как наркотик для тех, кто вроде трусливых солдат нуждается перед сражением в стопке. Те, кто это провозглашал, будь они плохие или хорошие, были счастливы, в этом ты можешь не сомневаться! Знаешь, если бы я отказался из-за твоего мерзкого и такого дорогого мне тела от этого процесса, я был бы тряпкой. Ты должна была бы вытряхнуть меня из дома вместе с пылью.

МАРИЯ. Во имя великих дел легко быть великим. Но, как видишь, это тебе не под силу. Как мало в наше время людей, способных на это. Да что тут говорить. (*В высшей степени спокойно.*) Процесса у вас все же не будет!

РОБЕРТ. Будет!

МАРИЯ. Не будет, мой мальчик! Ввиду отсутствия вещественных доказательств.

РОБЕРТ. Что ты этим хочешь сказать? (*Замечает, что нет его папки. Пропала также пачка писем и фотографии.*) Где они? Где они? (*Тихо.*) Где они? Когда погас свет... ты...

АБРАХАМ. Где они, Мария?

МАРИЯ. Твоя дочь, Абрахам, тоже хочет изредка ставить эксперименты. Эксперимент номер один. (*С холодным садизмом.*) Ведь писчая бумага отличается по составу минеральных веществ от фотобумаги?.. (*Пауза.*) А трехголовый теленок — это явление исключительное, не так ли, Абрахам? Не так ли, Роберт? Никто из ученых до сих пор не знал, какой сорт бумаги предпочитают трехголовые телята и какая голова что любит. Я узнала это первая в мире.

РОБЕРТ. Мария! (*Подбегает к Марии, хватая ее за плечи.*)

АБРАХАМ. Как ты могла? (*После паузы, тихо.*) Слава богу, Мария не любит его... Когда любят, так не поступают...

РОБЕРТ (*с облегчением*). Глупая девчонка! Ведь у меня есть копии.

МАРИЯ (*смеется*). У кого эти копии? (*Пауза.*) А эти бумаги, что мы должны были обратно положить в пап-

ки — у кого они? (Роберт трясет ее за плечи.) Ай, больно!

РОБЕРТ. Не могла же ты их все!.. Ты должна мне их отдать.

МАРИЯ. Зачем?

РОБЕРТ (сумбурно). Я готов сделать за них все, что захочешь, все, что потребуешь... Они не твои... Я убью тебя! Хочешь, я встану на колени? Хочешь, я поцелую тебя, змея ты подколотая!.. Милая... Мария, прошу тебя, скажи, что ты их не уничтожила!

МАРИЯ. По-моему, целовать меня тебе никогда не было неприятно. Но почему ты решил, что эти бумаги принадлежат тебе? Может, нашелся бы другой человек, который смог провести этот процесс? Твои материалы как следует рассортированы, сделаны все выводы. Может, этот процесс проведет кто-нибудь другой, кто «вырезает деревянных лошадок»?

РОБЕРТ. Ты предала меня!

МАРИЯ. А ты?

РОБЕРТ. Эти резчики по дереву никогда не предпримут ничего подобного! Такие специализируются на делах по изнасилованию несовершеннолетних и гомосексуалистах. Они продадут эти документы. Скажи, ты уничтожила их, скажи!

В дверях появляется БЕРТА.

АБРАХАМ. Роберт, я помогу тебе. Мы справимся и без Марии. Я готов все признать, сын мой.

БЕРТА. Сын! Все же сын! Я так и думала. Я догадывалась об этом. (Пауза.)

АБРАХАМ. Да, это правда. Но я не вижу в этом ничего плохого... Мирабилия...

БЕРТА. И это после всего... Когда я согласилась на этот жуткий эксперимент с зародышем...

АБРАХАМ. Жуткий? Я бы сказал «этапный»...

БЕРТА. Я пожертвовала тебе всю свою жизнь. Ты мог бы по крайней мере сказать...

АБРАХАМ (смущен, искренне). Я думал, навряд ли тебя обрадует эта история, хотя ты и смотришь научно на мир.

БЕРТА. Боже мой! С кем я жила! Я думала, ты живешь для науки, а ты... с этой противной Мирабилией. (Она немного комична, но не более, чем требует общий тон сцены.) Я... ухожу!

МАРИЯ. Идем, мама! У нас нет с ними ничего общего. Этот мерзкий мир вычислительных машин, мир нелюдей! Идем! В этот дом я больше ногой не ступлю.

АБРАХАМ. Куда вы? Я очень сожалею, если эта история с Мирабилией так дурно на тебя подействовала... Берта, ты не смеешь уходить!

МАРИЯ. Не смеешь — каково?

АБРАХАМ. Берта, подумай о водяных собаках! Как они будут без тебя? *(Берта уходит.)* И я... тоже. *(Роберту.)* Послушай, как ты думаешь, должен... я бежать за ней? *(Беспомощно, плачет.)* Берта, милая Берта!... *(Уходит.)*

РОБЕРТ. Мария, я люблю тебя! Проклятье, убирайся с моих глаз!

МАРИЯ. Я ненавижу тебя! Ты самый заурядный человечешко, обуянный стадным инстинктом! Кстати, посмотри, на чем ты сидишь.

Мария выбегает. Роберт находит бумаги и письма, которые она просто засунула под диванное покрывало.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина третья

В комнате царит беспорядок: на столе груды книг, стопки бумаги, кофейник, чашки. Пальмообразное растение пожелтело, время от времени с него слетает засохший лист. Как известно, изображение мужской небрежности, тем более среди ученых мужей, их беспомощности и рассеянности в ведении домашнего хозяйства всегда кормило посредственных карикатуристов. Хочется надеяться, что художник сумеет в меру обуздать свою фантазию, так как оформление сцены должно наряду с комическим производить элегическое, даже декадентское впечатление. Это позволит создать какой-нибудь препарат. На свободном уголке захламленного стола работает РОБЕРТ. Он сменил свитер на узкий, темно-серый, застегнутый до горла, как френч, пиджак. Теперь от него исходит — особенно в последней картине — аскетизм пополам с фанатизмом, а если выразиться более лирично: «в нем горит какой-то внутренний огонь». В дверях появляется АБРАХАМ. Он запустил свою внешность — не брит, в мятой куртке. Абрахам смотрит на сына, в руках у него листы бумаги, вероятно, творчество Роберта.

АБРАХАМ (недовольно). Какой-то текст рыхлый... Да и красивостей многовато. И не всегда по делу... Я читал настоящие кодексы и прочую юридическую писанину — все точно, педантично, в меру засушено. Одним словом — читать одно удовольствие. У тебя же... Вот ты пишешь, что наука в наши дни несется вперед, как «Летучий голландец», как корабль без руля... Прости меня, но это работа школьника на кон-

курсе сочинений... Боюсь, мой мальчик, как бы ты не провалился со своей речью...

РОБЕРТ. Не волнуйся, папа. Мой кораблик имеет руль. И я на риф не наскочу.

АБРАХАМ. Сомневаюсь, сильно сомневаюсь... А еще ты не затронул § 249, части в, г, д. Там для тебя нашлось бы кое-что. И еще § 1096, часть II, пункт 7, подпункт 4, дополнение 18.

РОБЕРТ (*удивлен*). Ты, я вижу, как следует изучил кодексы.

АБРАХАМ. Что поделаешь. Ничем более серьезным я сейчас не могу заниматься. Месяц супружеского отдыха — такое жестокое наказание за такой пустяк...

РОБЕРТ. ... Как мое появление на свет.

АБРАХАМ. Конечно! Без Берты у меня нет никакого рабочего настроения. Я ничего не могу найти... Что и говорить! (*Меняет неприятную тему.*) А эти параграфы о защите животных — они очень важные. Что ты тянешь? Ты просто лентяй! Мой сын так же ленив, как водяная собака, названная его именем.

РОБЕРТ. Видишь ли, изменились концепции.

АБРАХАМ. Какие же концепции? Я слышал, ты мотаешься по государственным учреждениям, как угорелый. Добиваешься разных аудиенций. Болтаешь со всякими болванами, вместо того чтобы работать.

РОБЕРТ. Мне это нужно, отец.

АБРАХАМ. Я лично принимаю государственных деятелей на дому. Когда я им нужен.

РОБЕРТ. Но я не ты. Пока что.

АБРАХАМ. Если так будешь работать, никогда и не станешь. Хуже всего то, что некоторые мои планы стоят из-за тебя...

РОБЕРТ. Вот как? Всю жизнь юриспруденция тебе не мешала. Я гляжу тут на твои каталоги экспериментов и думаю, что ты, наверно, и не знал, что существует на земле такая вещь, как право.

АБРАХАМ. Оно мне не мешало, но и не помогало. Теперь же я хочу, чтобы право помогло мне.

РОБЕРТ. Вот как?

АБРАХАМ. Возьмем хотя бы эти параграфы о защите животных. В них сказано, что животное с тяжелыми увечьями подлежит уничтожению или ему следует оказать необходимую помощь. У меня тут как раз пара животных с тяжелыми увечьями. Один осел и... я хо-

тел бы помочь им и пересадить им некоторые человеческие органы. (*Хитро.*) Может, они от этого поправятся. Ведь этот твой параграф велит помочь им. До сих пор это считалось табу. Ты должен уточнить этот вопрос и установить четкие границы!

РОБЕРТ. Четкие?

АБРАХАМ. Да. Тогда бы я знал, как эти границы нарушать.

РОБЕРТ (*торжественно*). Отец, скоро я превзойду тебя в одном деле. В чем-то таком, что тебе и не снилось!

АБРАХАМ. Скоро... скоро... (*Опрокидывает горку чашек.*)

РОБЕРТ. Черт побери!

АБРАХАМ. Ну что ты скажешь! Абсолютно никаких условий для работы! Это сумасшедший дом! (*Беспокойно расхаживает по комнате, переставляет вещи с места на место, в результате чего беспорядок только увеличивается.*) Ты только вообрази, где я нашел свои последние расчеты!

РОБЕРТ. Откуда мне знать! У меня у самого пропало два листка.

АБРАХАМ. Ничего удивительного — ты очень небрежен. А я нашел свои расчеты в ванной комнате. Представляешь? Три дня они валялись в ванной комнате.

РОБЕРТ. Я тут ни при чем.

АБРАХАМ. Разумеется. Это я сам делал расчеты в понедельник ночью в ванной... (*С бессильным гневом.*) Но ведь они могли потеряться! Кошмар!

РОБЕРТ (*совершенно серьезно*). Будь поаккуратней со своими бумагами, отец. Они могут мне очень пригодиться. (*Абрахам что-то недовольно буркнул.*) Я говорю совершенно серьезно: ты недооцениваешь эти бумаги.

АБРАХАМ. А Берта носится по белу свету... Околачивается в каких-то сомнительных местах. Я получил открытки из Ниццы, Андорры, Норвегии... и...

РОБЕРТ. Сомнительные места? Ты же сам говорил, что это ваши любимые места.

АБРАХАМ (*ворчливо*). Кажется, в Ницце у нас действительно есть какая-то купальня, а в Андорре — охотничий домик... а в Норвегии лыжная хижина. Или наоборот? Но я их не для этого покупал!

РОБЕРТ. Для чего же?

АБРАХАМ. Не затем, чтобы мотаться по ним. Я сам туда еще ногой не ступал. (*Оправдывается.*) Когда мы неожиданно выбились из нужды, я сдуру купил их. Вот теперь сам и расхлебываю!

РОБЕРТ. Погоди еще денька два — и она вернется. (*Помрачнев.*) А твоя дочь живет где-то в заброшенных карьерах, за городом. Шляется черт знает с кем. Ты вообще не занимался ее воспитанием. Для кого я этот процесс инсценирую? Неужели для себя? Это все для Марии!

АБРАХАМ. Женщины думают только о себе... Старая истина.

РОБЕРТ. Но мы обойдемся и без них! Факт! Я бы никогда не подумал, отец, что ты такой хороший повар.

АБРАХАМ. Я?

РОБЕРТ. Ты. Этот салат на кухне был вполне съедобен.

АБРАХАМ. Салат? Я не делал никакого салата...

РОБЕРТ. Что ты стесняешься? Я же сам видел. В желтой глиняной миске. Очень вкусный салат.

АБРАХАМ. Ты его съел? (*Роберт кивает.*) Тогда для водяной собаки мне придется делать новый.

РОБЕРТ. Для водяной собаки? А что в нем было?

АБРАХАМ. Какие-то моллюски и... (*Увидев выражение лица Роберта.*) Ничего, они были абсолютно свеженькие... Послушай-ка, глотни кофе! (*Наливает ему кофейной гущи.*) Раньше этот корм готовила Берта... Но поделом этой Берте. Я знаю, что она сейчас не может быть счастливой. Одного ей все же не хватает.

РОБЕРТ (*страдальчески*). Послушай-ка, что это за моллюски...

АБРАХАМ. Почему я знаю. Я вегетарианец. А знаешь, почему Берта не может быть счастлива? Ей не с кем ругаться! Вот!

РОБЕРТ. А ей это необходимо?

АБРАХАМ. Она к этому так привыкла, что не может без этого жить. Я-то знаю. (*Немного лирично.*) Я всегда предоставлял ей эту возможность: забуду носок на стуле или банку с препаратом на обеденном столе... Или ванну перелью через край...

РОБЕРТ. Нарочно?

АБРАХАМ. Иногда и нарочно. Когда у меня хорошее настроение. Когда мне хочется ее порадовать. Берта... она все же... (*ищет слова*) очаровательная бабка...

(С пальмы слетает лист.) Я сегодня ночью подумал, что она еще... ну... симпатичная... И эти хижинки мы смогли бы когда-нибудь вместе объехать... Когда будет больше времени. (Недовольно.) Об этом она не думает, что я тут с утра до вечера думаю о ней! (Пауза.) Давай-ка послушаем музыку — мы, два холостяка!

РОБЕРТ. Некогда...

АБРАХАМ. Для прекрасного всегда надо находить время.

РОБЕРТ. Но...

АБРАХАМ. Да, да, мой мальчик. Иначе может случиться, что жизнь пройдет мимо...

РОБЕРТ. Мимо тебя она не прошла?

АБРАХАМ. Мимо меня? (Улыбается.) Нет. Я всю жизнь занимался только прекрасными вещами. (Ставит пластинку с грустной фортепьянной пьесой. Она должна быть немного сентиментальна, например, ноктюрн Шопена. Пауза. Свет меняется. Мечтательно.) Моя мать вечерами читала мне Кафку.

РОБЕРТ. Кафку?

АБРАХАМ. И Камю.

РОБЕРТ. Станный вкус для биолога.

АБРАХАМ. Ничуть нет. Эти экзистенциалисты очень красиво рассуждают о нереальных вещах. Так красиво, что начинаешь верить.

РОБЕРТ. Нереальные вещи... Что ты под этим подразумеваешь?

АБРАХАМ. Одиночество, например. В нашем двадцатом веке... все это звучит как старая милая сказка, она так изящно уводит от повседневной суеты... В наше время, когда мы привязаны друг к другу за руки и за ноги... когда наука, искусство, политика — все в одном клубке... когда индивид перестал существовать... эти удивительные писатели говорят об одиночестве... Генеральные милые лжецы!

РОБЕРТ. И эта ложь про одиночество тебе нравится?

АБРАХАМ. Все недостижимое по-своему притягательно.

РОБЕРТ (серьезно.) Это опасный образ мыслей.

АБРАХАМ. Может быть.

РОБЕРТ. Несомненно. Скоро ты поставишь интересы индивида выше интересов общества. Это мировоззрение характерно для более ранних эпох. Этак, отец, ты станешь анархистом, единомышленником Марии.

АБРАХАМ *(просто)*. Я уже никем не стану. Моя работа завершена. *(Берет банку с препарированной головой и погружается в размышления. Музыка тихо продолжает играть.)*

РОБЕРТ. Оказывается, ты больший лирик, чем я думал.

АБРАХАМ *(про себя)*. И все же большинство считает меня циником! Только потому, что я не боюсь это удивительное и хрупкое творение, а исследую и уважаю его. Это он, человек, создал ноктюрн, науку, искусство! И свободу!

РОБЕРТ. Свободу, в которой он сам ничего не смыслит.

АБРАХАМ *(про себя)*. Может быть, мы действительно доживем до того, что возникнет возможность предоставить какой-нибудь выдающейся личности нанести последние штрихи на труде своей жизни именно в таком виде.

РОБЕРТ *(убежденно, почти страстно)*. Разумеется, отец!

Псевдопетух после большого перерыва снова подает голос.

АБРАХАМ. Ты веришь в это? Мне бы тоже хотелось верить, но навряд ли найдутся благожелатели...

РОБЕРТ. Не всегда их желание решает дело.

АБРАХАМ. И тем не менее... Они не успокоятся. *(Пауза. Роберт хочет что-то возразить, но сдерживается.)* Вряд ли мы захотим длительное время обходиться без этого глупого доброго грешного тела. Привычка — как-никак миллионы лет.

РОБЕРТ. Но которую все же не имеет смысла возвеличивать!

АБРАХАМ. Разумеется! Но видишь ли... с годами мы меняемся, и многое из того, что нас в молодости влечет, в старости кажется несущественным.

РОБЕРТ. Что-то ты сегодня рассуждаешь как старик.

АБРАХАМ. А разве я не старый?

РОБЕРТ. Тот, кто творит, не стареет!

АБРАХАМ. Все это слова... Ты и сам когда-нибудь увидишь... Настает день, когда ты не испытываешь интереса ни к чему и тебе хочется только одного — лечь в землю и склонить свою голову к голове Берты.

РОБЕРТ. Что с тобой сегодня?.. Я понимаю, Берта...

Но нельзя так думать. Это эгоизм. До тех пор пока ты способен что-то дать обществу...

АБРАХАМ (*улыбается*). В один прекрасный день все это уже не интересует.

РОБЕРТ (*озабоченно*). Ты болен?

АБРАХАМ. Нет, просто немного устал. Ты пойди сегодня прогуляйся один. Подумай о своей работе. А я пойду немного отдохну.

РОБЕРТ (*хочет что-то возразить, но удерживается*). Хорошо... хорошо... Отдохни. Каждый имеет на это право. (*Слушают некоторое время музыку, потом Абрахам уходит. Вслед за ним уходит и Роберт. Музыка продолжается до появления Берты.*)

Входит БЕРТА, бозливо озирается. Хаос, царящий в комнате, ужасает ее. С пальмы слетает очередной лист. Поборов нерешительность, Берта осторожно проходит в комнату и начинает наводить порядок. Тут же на пороге появляется МАРИЯ. Ее наряд хиппи порван. Она чем-то подавлена. Некоторое время наблюдает за действиями матери, которая ее не замечает.

МАРИЯ. А наш уговор, мама?

БЕРТА (*вздвинув*). Сама видишь, как они тут живут...

МАРИЯ (*капризно, чуть не плача*). Это не наше дело. До тех пор пока Абрахам не попросит у тебя прощения...

БЕРТА. А он и не узнает... Но ведь он уже попросил... Я велела отсылать ему открытки из-за границы — Ниццы и... Мария, что с тобой? Ты плачешь?

МАРИЯ (*опускается в кресло, плачет*). Я никогда не плачу.

БЕРТА (*без малейшей иронии*). Что-нибудь случилось? Судя по твоему внешнему виду, ты должна быть очень довольна... Ведь именно о такой жизни ты мечтала. Свобода, без этих грязных денег, все делать своими руками...

МАРИЯ (*в бессильной ярости*). Без грязных денег?! Я почти миллионер! За неделю я заработала столько, сколько мой отец получает за год.

БЕРТА. На миллионера ты не больно-то похожа.

МАРИЯ. Педро — свинья.

БЕРТА. Твой лучший друг Педро, с которым ты решила после Роберта...

МАРИЯ. Педро — свинья. *(Впервые она не сдерживается и по-настоящему плачет.)*

БЕРТА *(растроганно)*. Мне так приятно видеть твои слезы. Ты так давно не плакала! Милая бедная девочка! *(Гладит ее по голове.)* Вы жили за городом, в заброшенных карьерах, я знаю... Это так, правда? Я знаю... Вдесятером, коммуной.

МАРИЯ. Как я могла поверить ему? Он гнусно обманул меня! Мы решили отречься от всех благ цивилизации. Обрабатывали землю, сеяли зерно. Педро смастерил водяное колесо, такое... доисторическое...

БЕРТА. Бедняжка! Это при твоей-то изнеженности.

МАРИЯ *(со злостью)*. Это было так здорово! Я прекрасно справлялась. Из лыка я плела ковры и циновки, даже лапти... Ночью поддерживала огонь... Райская жизнь!

БЕРТА. Тогда в чем же дело? Педро был неверен?

МАРИЯ. Оставь! Тут и не требовалась чрезмерная верность.

БЕРТА. Вот как... Может, он был... чрезмерно верен?

МАРИЯ. Не в этом дело!

БЕРТА. В чем же?

МАРИЯ. Тут совсем другое. О нашей пещерной жизни сняли фильм! И я, которая отреклась от денег, заработала почти миллион!

БЕРТА. Как интересно! И кто же снимал? Где этот фильм можно увидеть?

МАРИЯ. Скоро он пойдет во всех кинотеатрах. Педро оказался предателем. Для нас всех он был вожаком, а для них — сценаристом и постановщиком! Понимаешь? Нас снимали телеобъективами и скрытой камерой... днем и ночью... По его указаниям. А я была звездой. Дочь известного профессора — прекрасная реклама, не правда ли?! Я хотела убить Педро!

БЕРТА. Надеюсь, ты этого не сделала?

МАРИЯ. Я пыталась... И это тоже засняли. Это стало кульминацией фильма. У Педро все было заранее продумано. Фильм называется «У нас нет пути назад»... *(Плачет.)* И самое страшное то, что это правда. У нас, у людей, больше нет пути назад. Роберт был во всем прав.

БЕРТА. Роберт? Пожалуйста, не упоминай при мне его имя. Это он, он во всем виноват! *(Продолжает авто-*

матически прибирать в комнате.) Да, трудно в наши дни найти порядочного мужчину с добрым сердцем. Педро обманул тебя. Роберт тоже. Фу, он просто копия этой мерзкой Мирабилии Хангман! Бесчувственный, чахлый сухарь! В нем нет ничего от нашего отца!

МАРИЯ. Чахлый? А разве наш папа атлет?

БЕРТА. Если не атлет, то по крайней мере спортивный мужчина. А как он был хорош в молодости. По утрам он делал зарядку, и мы несколько раз в жизни катались на лыжах...

МАРИЯ. Папа — и на лыжах?

БЕРТА. Да. Тебя тогда еще не было. И плавал он тоже. И не раз. Папа был красивый, сильный спортивный мужчина. Да он и сейчас... для своих лет... Женщины всегда были от него без ума. И эта Мирабия... тоже... Но красота в мужчине не главное... У папы еще и нежное сердце... Вот и тебе нужен мужчина, у которого было бы нежное заботливое сердце, как у нашего папы...

МАРИЯ. Что-то я ничего не понимаю! Разве не ты жаловалась, что он слеп и черств, что он весь в науке?

БЕРТА. Жаловалась. Но даже счастливые женщины, Мария, жалуются... У папы такое нежное сердце! Я помню, как-то после войны было трудно с продуктами, я достала на рынке прекрасный кусок мяса — грудинку. Ты не представляешь, как папа страдал, когда должен был унести этот кусок в лабораторию... А как он тебя любит, ты не знаешь этого! У тебя было какое-то кишечное заболевание — какая-то *Isosporia belli*, если не ошибаюсь. Он так плакал, что не может дать тебе лекарств. Ты, Мария, никогда не понимала его. Бедная девочка! И бедный папа...

МАРИЯ. Бедный папа?

БЕРТА. Конечно. Никто его сейчас не ругает. Ты не представляешь, как он нуждается в этом! *(Хлопает входная дверь.)* Это, наверно. Роберт. Идем! *(Быстро уходят через другую дверь.)*

РОБЕРТ *(входит, внимательно осматривается, перебирает свои бумаги и книги.)* Черт знает что! Кто-то опять перерыл тут все! *(Начинает поспешно «наводить порядок.»)*

Занавес.

Картина четвертая

До открытия занавеса в темном зале звучит музыка — тот же шопеновский ноктюрн, он может исполняться и в оркестровой обработке. Назначение музыки — перенести настроение предыдущей сцены в финальную, весьма отличающуюся от нее.

Занавес открывается. Та же комната. Световая партия должна быть иной: последнюю картину и эпилог следует, вероятно, решить, широко используя световые пучки. Время от времени следовало бы высвечивать длинное темное полотно с Менделеем, бюст Гиппократ, клетку с псевдопетухом. Тональность может быть усталой, желто-зеленой. РОБЕРТ сидит на угловом диване, что-то пишет. Входит АБРАХАМ.

РОБЕРТ. Ты сегодня долго спал.

АБРАХАМ. Да, давненько со мной такого не было. Но я совершенно разбитый... Какой-то противный сон приснился...

РОБЕРТ. Может, обед был слишком сытный...

АБРАХАМ. Возможно... (Ходит по комнате.) Мне приснился огромный контейнер, доверху набитый головами...

РОБЕРТ (понимающе). Ясно.

АБРАХАМ (воодушевляясь). Нет, дело не в головах. Это были отборные головы! Аккуратно препарированные, высококачественные. Высший сорт!

РОБЕРТ. Гм...

АБРАХАМ. Многие головы мне были знакомы по портретам... Это были знаменитые головы... Голова Шопена — с нежной и горькой линией рта, голова Шоу — с улыбкой озорного ребенка... Эйнштейн был... даже сам старик Гиппократ. И, кажется, даже ты там был...

РОБЕРТ (*вздвoгнув*). В таком изысканном обществе?

АБРАХАМ. Этот контейнер был наполнен очень симпатичным содержимым. А потом... потом пришли какие-то чиновники и люди в погонах. Суетились, шумели, приказывали... Наконец все головы — тут не обошлось без моей помощи — были рассортированы. А потом... Что же было потом?... Да, огромный, чистый зал. Белые стены, белый потолок, люди в белых халатах — все кругом белое-белое... Только тропические растения, их было много... такие пышные, вечнозеленые... Равномерное гудение кондиционеров... В этом зале были стенды — такие большие стеклянные кубы, а в них — головы... Настоящий капиторий. Головохранилище. Каждая голова была в отдельном кубе... Все это показалось мне каким-то кошмаром...

РОБЕРТ (*слушает с интересом.*) Даже тебе?

АБРАХАМ. Как ни странно — да. Правда, кошмар был не в самих головах, а в том, как они вели себя...

РОБЕРТ (*пытается шутить*). Они гримасничали или плевали на стекло?

АБРАХАМ. Нет. Наоборот: головы были очень миролюбивы, я бы сказал — счастливы. Они всюду трудились. Перед каждой был установлен микрофон, и они что-то диктовали. Все они были такие воодушевленные, чистенькие, ухоженные... Их воодушевленность внушала... особый ужас.

РОБЕРТ. Эта часть сна мне нравится больше, чем контейнер с головами. Как-никак — гении за работой.

АБРАХАМ. Неистовый Бетховен был тщательно причесан — пробор на боку. Эйнштейну как раз чистили зубы. Ему, видимо, было неловко, но он тем не менее приветливо кивал всем проходящим... Головы выглядели очень мило среди тропических растений и искусственного освещения... Конец сна я хорошенько не запомнил, но он тоже был какой-то кошмарный. Я чувствовал какую-то невесомость. (*Передергивается.*)

РОБЕРТ (*пытаясь шутить*). Невесомость и полеты во сне? Это привилегия подросткового возраста. Поздравляю! То есть желаю счастья по случаю третьей молодости!

АБРАХАМ (*про себя*). Странно... Мне стало жаль эти головы...

РОБЕРТ. Жаль — тебе, отцу будущих головохрани-

лиц, будущих капиториев... Невероятно! Ты просто устал.

АБРАХАМ. Может быть... Что-то сердце у меня сегодня пошаливает... Давно такого не было.

РОБЕРТ (озабоченно). Давний недуг?

АБРАХАМ. Не знаю.

РОБЕРТ. Присядь же. (*Абрахам садится. Музыка звучит громче. Пауза. С пальмы слетает лист.*) Никогда бы не подумал, что тебе нравится Шопен.

АБРАХАМ. В последнее время...

РОБЕРТ. Девятнадцатый век. Это больше во вкусе абитуриентов... Трагические демоны на горных вершинах, кристально-чистая любовь, хорошенькие инженерю, бунт против Бога. Что знаешь ты, человек науки, об этих вещах?!

АБРАХАМ (*грустно*). Очень мало. В моей анкете можно действительно написать: «место жительства — лаборатория». Раньше я об этом не думал... В старости, видно, делаешься глупее. Но этот сон... такой неприятный сон, он не дает мне покоя! (*Встает, выпивает стакан минеральной воды.*)

РОБЕРТ. Давно известно, что ученые ужасные неженки. Как это ни парадоксально... Я уверен, что изобретатель пороха почувствовал сильные угрызения совести, когда увидел первого убитого.

АБРАХАМ. Естественно! Это было для него большим потрясением. А ты как думал?

РОБЕРТ. По-твоему, было бы лучше, если б он сам это сделал, — и делу конец?

АБРАХАМ. Конечно.

РОБЕРТ. Тогда какой толк был бы от этого изобретения?

АБРАХАМ. Человечество стало бы на одну мудрость умнее.

РОБЕРТ. Бесполезная мудрость, если ее не используют.

АБРАХАМ. Науке не нужна война.

РОБЕРТ. Разъясняй тебе, как ребенку! Любое открытие, которое применяется на деле, ведет историю вперед. Когда этих открытий много, возникает новая, более высокая общественная формация. А ведь Эйнштейн тоже мучился после Хиросимы.

АБРАХАМ. А как же иначе?!

РОБЕРТ. Возможно, все это и прекрасно, но бессмыс-

ленно. Он не виноват. Ход науки невозможно затормозить, одно изобретение порождает другое. Но зато после Хиросимы... государства всерьез задумались, что им угрожает. Было положено начало первому в истории человечества движению за мир. Почему? Да потому, что по-другому уже нельзя было. Так что и бомба принесла свою пользу.

АБРАХАМ. Печальную пользу...

РОБЕРТ. Конечно, это было ужасно. Пиррова победа.

АБРАХАМ. Хорошо, что я никогда не интересовался бомбами.

РОБЕРТ. В наши дни гораздо важнее работать над мозгом. Только в этом деле нужно навести порядок.

АБРАХАМ (*задумчиво*). Знаешь, Роберт, я был бы даже рад — особенно после того как увидел этот сон, — если бы закон и государство взяли это дело в свои руки. Иначе черт знает к чему мы можем прийти!

РОБЕРТ. Да, здесь большие перспективы.

АБРАХАМ. Слишком большие. Их надо ограничить. Вот это и станет трудом твоей жизни.

РОБЕРТ. Ограничить? Это н е в о з м о ж н о .

АБРАХАМ. Ты так думаешь? Но ведь ты уже приступил...

РОБЕРТ. Я понял, что все нужно построить и н а ч е . Последние недели я этим занялся всерьез и, по-моему, добился колоссального успеха! (*Роберт взволнован, он не может усидеть на месте. В состоянии вдохновения он расхаживает по комнате взад-вперед, из светового пучка попадает в темноту и неожиданно появляется при полном свете. Представление продолжается в крещендо.*)

АБРАХАМ. По-моему, в последние недели твоя работа ничуть не продвинулась.

РОБЕРТ. Напротив, я сумел вызвать интерес государства. Коли твои опыты с головами запретить невозможно, то их, наоборот, надо поощрять, но под строгим контролем. Я могу тебе по секрету сообщить, что будет создана Национальная комиссия по сохранению человеческих богатств.

АБРАХАМ (*неуверенно*). Звучит неплохо... Только чем... эта комиссия будет заниматься?

РОБЕРТ. Тем, о чем говорит ее название.

АБРАХАМ. Сохранением человеческих богатств? Мы,

медики и биологи, занимаемся этим всю жизнь. На протяжении столетий.

РОБЕРТ. Дело в том, что скоро мы введем новый закон...

АБРАХАМ. Кто — «мы»?

РОБЕРТ. Юридические и правительственные органы, разумеется.

АБРАХАМ. Вот как...

РОБЕРТ. Мы введем закон, на основании которого смерть будут констатировать не по прекращению сердечной деятельности, а по прекращению реагирования мозга на раздражители.

АБРАХАМ (*неуверенно*). Разумно.

РОБЕРТ. Не правда ли, каждый врач, вступая в должность, дает клятву, что он сделает все возможное для сохранения и продления жизни?

АБРАХАМ. Да, клятва Гиппократа.

РОБЕРТ. Теперь слушай внимательно. Если здоровому мозгу — этому эквиваленту жизни — угрожает нездоровое сердце, или почки, или легкие, или какие-либо другие ненадежные органы... мы обязаны их во имя сохранения мозга ампутировать. Догадываешься?

АБРАХАМ. Кажется, да. Ты хочешь сказать, что иногда разумнее ампутировать... (*Не решается договорить.*)

РОБЕРТ. Вот именно! Ампутировать голову! Для твоего головохранилища.

Псевдопетух издает долгий, победный звонкий вопль.

АБРАХАМ. Какой голос!.. Как у стервятника... Раньше он так не пел... Что-то мне нехорошо...

РОБЕРТ (*заботливо*). Посиди спокойно. Дать валокордин?

АБРАХАМ. Не надо. Мне уже лучше. Этот крик напугал меня. (*Пауза. Горячо.*) Но если человек этого не хочет? Каждый человек имеет право умереть...

РОБЕРТ. Так ли это? Дашь ли ты больному, который хочет умереть, яд? А как клятва Гиппократа, отец?..

АБРАХАМ. Яд давать нельзя, но так... так тоже нельзя! Человек имеет священное право на жизнь и на смерть.

РОБЕРТ. Твой взгляд на смерть крайне анархичен, индивидуалистичен и пахнет девятнадцатым веком. Общество, может быть, не хочет, чтобы нужный человек

умирал. Общество, может, хотело бы, чтобы какой-нибудь великий человек — многих можно назвать — еще творил, а он, видите ли, соизволил сыграть в ящик. Добровольно.

АБРАХАМ. У тебя своеобразное чувство юмора.

РОБЕРТ. Прости, отец, но его у меня, наверное, вообще нет. По этой части я... весьма немзыкален.

АБРАХАМ. А вы... хотите опережать их намерения? Головы поснимаете, посадите в банку — мол, теперь твори себе на здоровье? (*Подобие улыбки.*) Из этого у вас ничего не выйдет. Кто может заставить ходить калеку, если...

РОБЕРТ. ... Если он сам не хочет ходить. Но нет безвыходных положений. Хотя бы твой брат Юлиус протянет руку помощи.

АБРАХАМ (*испуганно*). Психофармаконы? Ты это имеешь в виду?

РОБЕРТ. Да, отец. У нас есть мощные средства. Взять хотя бы этот газ, что делает человека смелым и воинственным. (*Восторженно.*) Так мы сможем выудить у какого-нибудь будущего Шопена хотя бы военные марши, которые он, возможно, не написал бы без этого.

АБРАХАМ. Ты хочешь отобрать у человека последнюю свободу?

РОБЕРТ. Что такое свобода? То, что интересы общества выше желаний индивида, — это знает в нашем веке каждый. Развитие должно и впредь идти по этому пути.

АБРАХАМ. Я не позволю, чтобы мои открытия...

РОБЕРТ. В таком случае ты противник развития, отец. Ни одно открытие не принадлежит изобретателю. Я вижу, тебе сегодня просто нездоровится. Твои рассуждения напоминают мне нытье этих молокососов из этого... «Общества охраны святости жизни». (*Расхаживает по комнате. Горячо, пытается убедить.*) Мария ставит превыше всего семью, это — первая фаза; ты — науку, это — вторая фаза; ты на полпути. Но наука — это тоже не самое священное. Священно Общество! Священен Прогресс! Ты только представь, какие перспективы! Как сохраняются человеческие ресурсы! Сколько гениальных людей было лентяями, сколько ценной энергии было брошено на ветер! Томас Дилан и Мусоргский, например, сгубили свою жизнь вином.

Аполлинер, Есенин и многие другие покончили с собой. А самоубийство голов — невозможно.

АБРАХАМ. Ты говоришь, что твои фантазии, твои чудовищно реальные фантазии нашли у кого-то... подержку? (*После небольшой паузы, устало.*) Я уверен, что нашли.

РОБЕРТ. Умные люди меня сразу поняли. Первоначальный список утвержден. Спецслужба следит на первых порах за жизнью двадцати пяти наиболее ценных голов, чтобы подоспеть вовремя. Что с тобой, отец?

АБРАХАМ (*хрипло*). Сердце. Старое глупое сердце!

РОБЕРТ. Может, что-нибудь примешь? Я принесу...

АБРАХАМ. Я сам... (*После длинной паузы. Тихо.*) Боже, что я наделал...

РОБЕРТ. Ты сделал то, что было твоим долгом перед своей совестью и перед государством.

АБРАХАМ (*тихо*). Я изобрел бритву и дал ее в руки детям. Глупым, безответственным, жадным...

РОБЕРТ. Изобретение не принадлежит автору. Ты отдал его в руки истинных владельцев, в руки избранных и посвященных, у которых...

АБРАХАМ (*с горьким сарказмом*). ... Богатый опыт перерезать глотки.

РОБЕРТ. Я бы не выражался так о наших лидерах. Хотя бы потому, что ты их не знаешь! Ты кабинетный человек.

АБРАХАМ. Да, на ваши сборища я не ходил. Мне всегда были противны эти нелепые избирательные кампании с пивом и зажаренными на вертеле быками, с отечественными заунывными песнями. Я и без того знаю, что кандидат в сенаторы затрачивает перед выборами миллионы порто. Мне больше нравятся люди с мозгами, чем с деньгами... (*Пауза.*) Но все же мне следовало бы участвовать во всем этом... Мне не следовало бы стоять в стороне...

РОБЕРТ (*весело*). От твоего участия никому не было бы ни жарко, ни холодно.

АБРАХАМ. Но я сам... я не чувствовал бы себя сейчас преступником.

РОБЕРТ. Что за высокопарный стиль! И он тебе не идет. Нет, ты сегодня явно не в форме, дорогой Абрахам.

АБРАХАМ. Может быть, дорогой Брут. Сердце, глупое сердце... Немного камфоры не повредило бы.

(Встает, подходит к стенному шкафу, наполняет шприц.)

РОБЕРТ (настороженно). Отец, я помогу тебе! (Направляется к Абрахаму.)

АБРАХАМ. Ничего, я сам.

РОБЕРТ. погоди!

АБРАХАМ (почти кричит). Не подходи. Я... я боюсь тебя!

Роберт не слушает, мягко отбирает у него шприц.

РОБЕРТ (разглядывая этикетку бутылки). Это сердечное? (Тактично.) Ты... сейчас совершил бы непоправимую ошибку, отец... (Абрахам весь обмякает, Роберт, поддерживая его, ведет к креслу.)

АБРАХАМ (явно говорит неправду). Неужели я взял это... лекарство... Это ужасно... сын мой...

Абрахам сидит в кресле, тяжело дышит. Глаза его полужакрыты. Музыка Шопена. Длинная пауза.

РОБЕРТ (тихо). Ты хитро придумал — мозговой яд... Дорогой отец, как ты можешь быть таким глупым! Если бы твое сердце однажды действительно... то и тогда ты мог бы еще работать годы, десятки лет! По-моему, извини, тебе больше и не надо. Ведь всю свою жизнь ты добровольно прожил... в стеклянном ящике. (Убежденно). Когда-то и первая деревянная нога внушала омерзение. Но взгляды меняются. Капитурии не будут внушать ужас. Просторные залы, тропические растения, известные головы за дискуссией. Иногда головы будут вывозить на природу, погреться на солнышке в живописные места. Ты когда-нибудь бывал в Ницце, отец?

АБРАХАМ. Теперь я знаю, чем закончился мой сон... Эта невесомость, это чувство легкости... Я тоже был там... головой.

Ему опять плохо.

РОБЕРТ (решительно берет трубку). Я звоню от профессора Абрахама... да, да от него. (Свет постепенно гаснет.) Ему очень плохо. Конечно, операция, потому что (тихо) больше мы не можем ему доверять.

Занавес.

ЭПИЛОГ

Занавес открывается. Темная сцена. Луч света находит что-то отсвечивающее. Постепенно выясняется, что это стеклянный куб. На столике внутри куба мы различаем нечто, напоминающее человеческую голову — мужскую голову, — голову профессора Абрахама. Глаза его закрыты. Тихая музыка. Через некоторое время он открывает глаза, начинает медленно говорить, выдерживая длительные паузы между вздохами и словами. В его голосе усталость, смирение перед чем-то неизбежным и тоска.

АБРАХАМ. Не бойтесь меня —
ведь я т а к безопасен.

Мне здесь хорошо.
Меня по-прежнему зовут Абрахам.

По утрам нас увозят отсюда на работу.
А воскресенье у меня впервые.
Сегодня воскресенье.
Сегодня придет Берта.
Иногда мы читаем с Бертой детские книжки.

А сегодня ночью выпал первый снег, пушистый
снег...
К моему окну прилетели снегири.
Красные пухлые комочки в мягком белом снеге.

У снегирей сильные крылья.
У снегирей крохотный мозг.
Сильные крылья... крохотный мозг...
Я долго смотрел на эти красные комочки,
а снег все шел и шел.

Мне вспомнилась одна давняя классная комната,
где я когда-то разучивал одну песенку...
«Птичка божья не знает
ни заботы, ни труда...»

*Длинная пауза. Закрывает глаза. Очень устало. Занавес
медленно закрывается.*

Да, дорогие мои,
не знает... ни заботы, ни труда...

Занавес закрылся.

Таллин—Райккюла, 1974

«ТРАКТАТ О ГОЛОВАХ» ЭННА ВЕТЕМАА

«Маленькие романы» Энна Ветемаа, выпущенные издательством «Ээсти раамат» в 1972 году на русском языке, принесли писателю известность и всесоюзное признание. Произведения эстонского писателя становились порою предметом весьма острых критических дискуссий, находили подчас довольно-таки разноречивые толкования у критиков. Споры возникали не только по поводу того, считать ли, скажем, галерею ветемааских героев — Свена Вооре, Рубена Иллиме, Арне и Яана — различными модификациями одного и того же психологического типа, но и по проблемам более существенным. Речь шла о концепции человека у Ветемаа, об авторском отношении к своим героям, о сущности гуманизма и его преломлении в «коротких романах» эстонского писателя. Независимо от разночтений в оценках того или иного конкретного произведения общепризнанным является то, что Ветемаа серьезно исследует духовный мир нашего современника в жанре этико-философского романа, что его привлекают глубинные проблемы бытия человека.

Если Ветемаа-романист уже успел приобрести широкую известность, то Ветемаа-драматург практически еще незнаком русскому и всесоюзному читателю (и зрителю). Меж тем, и в этой своей творческой «ипостаси» Энн Ветемаа оказался талантлив и плодотворен. Начав как поэт в начале 1960-х годов (сборники «Переломный возраст», 1962, и «Игра в снежки», 1966), попробовав, далее, свои силы как композитор, Ветемаа вроде бы остановился на жанре «короткого романа», выпустив с 1965 года одно за другим пять произведений этого рода — «Монумент», «Усталость», «Реквием для губной гармоники», «Яйца по-китайски», «Воспоминания Калевипоэга». Приход его в драматургию в начале

70-х годов представляется, однако, и оправданным и посвоему закономерным. И дело не только в артистизме его натуры, побуждающем последовательно переходить от одного рода творчества к другому. Совершив «восхождение» от лирики к эпике, писатель обращается, далее, к драматике, как бы синтезирующей на новом уровне и лирическое и эпическое начала. Впрочем, приглядимся более внимательно к самим романам Энна Ветемаа. Одно из возможных их определений — драматические романы, романы с внутренней драматической доминантой. Конфликт, исследуемый в каждом из них, — это прежде всего глубокий внутренний конфликт, запятанный в душе и сознании героя. Лишь в «Реквиеме» конфликт внешний организует движение сюжета, в других романах роль «магнита», организующего причудливые сплетения сюжетных ходов, выполняет, как правило, конфликт внутренний. Таким образом, в самой структуре ветемааских романов как бы заложено драматургическое начало. С другой стороны, как мы увидим далее, проблемной своей наполненностью пьесы Энна Ветемаа настолько сродни его романам, что писатель даже счел возможным объединить по два произведения из каждого жанра в единую книгу под названием «О головах». Впрочем, как утверждает сам Ветемаа в газетных интервью, активные его выступления в драматургических жанрах (он автор не только четырех пьес, но и ряда киносценариев) отнюдь не означают «измены» жанру «короткого романа». Писатель, в духе лучших традиций родной литературы (обусловленных в прошлом необходимостью, при скромных силах, развивать все роды литературного творчества), трудится успешно в смежных жанрах, выступая в каждом из них талантливо и своеобразно.

Развитие эстонской советской драматургии в конце 60-х и начале 70-х годов было не столь успешным, как прозы и поэзии. Наибольшие художественные достижения в этом жанре, связанные с именами Аугуста Якобсона, Эгона Раннета и Юхана Смуула, относились к предыдущим десятилетиям, в драматургии замечался некоторый спад творческой активности и не было такого прилива молодых сил, как в поэзии и прозе. В общих чертах, критика различает два направления в эстонской драматургии последнего времени — традиционной, социально-бытовой пьесы (А. Лийвес, Р. Кауг-

вер и др.) и условно-аллегорической (М. Уньт, А. Каалеп и др.). К первому направлению может быть отнесена и пьеса Энна Ветемаа «Ужин на пятерых» (поставлена впервые в 1972 г.). Правда, на общем фоне социально-бытовой драматургии она заметно выделяется существенностью поставленных в ней проблем, глубиной психологического анализа характеров, за что в 1975 году была удостоена республиканской литературной премии имени Юхана Смуула. Что же касается другой пьесы Ветемаа — «Снова горе от ума» (1975), то она (так же как и «Гости» Рейна Салури и некоторые другие драматические произведения) дала критике повод говорить об удачной попытке синтезировать обе названные тенденции в современной эстонской драматургии, обозначающей новый уровень в ее развитии. Пьеса была удостоена Смууловской премии в 1976 году. Сохраняя живую плоть характеров, психологизм и жизненность конфликта, Ветемаа в то же время поднимает поставленные в пьесе проблемы на уровень глобальных и, моделируя соответствующую ситуацию, использует умело приемы остранения, аллегии, гротеска и парадокса, присущие современной «условной» драматургии.

Что же дает основания для объединения под одной обложкой двух «коротких романов» и двух пьес Энна Ветемаа, отличающихся друг от друга и проблематикой, и художественным строем? Что дает основания рассматривать их как связанные между собой, хоть и совершенно самостоятельные как художественные структуры, части единого по идейному замыслу «трактата о головах»?

Думается, общий знаменатель коренится в концепции человека Энна Ветемаа — концепции, глубоко диалектической и философской по своей сути. В самом деле, о каких «головах» у Ветемаа идет речь? В самом общем виде — о головах, сильно деформированных в том или ином отношении — в нравственном, психологическом плане. Нельзя не согласиться с критиком Ю. Оклянским: головы эти подвержены самоистачивающей рефлексии. «Эти герои, — пишет он о главных персонажах «маленьких романов» Ветемаа, — люди так или иначе слабые, склонные к компромиссам, не способные отстоять и утвердить лучшие качества своей натуры в прямом поединке с жизнью. И все они, если угодно, духовные калеки, хотя и ставшие ими под влия-

нием различных причин и условий, не во всем от них только зависящих. Они и сами ощущают дефекты своей личности и обостренно их переживают. ... У них не хватает... четкой нравственной идеи человеческого существования...»*

В самом деле, уже своим первым романом «Монумент» (1965) Ветемаа ввел в современную эстонскую литературу новый для нее тип современного антигероя. По сравнению с главными персонажами остальных произведений писателя Свен Вооре внешне даже наиболее благополучный, в житейском отношении — везучий человек. Он делает блистательное восхождение по лестнице карьеры, получает выгодные заказы, судя по всему, очень даже доволен нынешним своим статусом. Да он и внешне хорош собой, молод, энергичен, за словом в карман не полезет. Он не спивается, как Рубен из «Усталости» или Ильмар из «Ужина на пятерых», не подвержен болезням, как Яан, главный герой романа «Яйца по-китайски». Не довлеет над ним ни груз прошлых ошибок, ни всемогущий джин, выпущенный им самим из водочной бутылки или лабораторной колбы. Более того, наделенный остротой ума и чувством юмора, Свен Вооре открыто издевается над людскими недостатками и умело использует их в собственных эгоистических целях.

В то же время душа его уже основательно деформирована в нравственном отношении. Умело пользуясь «громкими» словами, зная великолепно психологический механизм демагогии и ее воздействия на людей, Свен локтями расчищает себе путь в жизни, не особенно стесняясь в выборе средств. Приспособленец, карьерист, демагог — лишь одна сторона его характера. Воинствующий эгоист и циник, возведший беспринципность в принцип жизненного поведения — другая. Выбранная писателем форма — романа-монолога, исповеди от первого лица такого героя создает необходимый художественный эффект сатирического саморазоблачения. Авторская позиция здесь — в выборе именно такого психологического типа в качестве центрального, в выборе именно такой формы его разоблачения, в соотношении того, что говорит и делает Вооре, с нравствен-

* Ю. О к л я н с к и й. Долгий поединок Энна Ветемаа. — В кн.: Э. Ветемаа. Маленькие романы. Таллин, 1972, стр. 325.

ными принципами нашего общества. И хотя на уровне сюжетной развязки зло (в образе Свена Вооре) нахально торжествует, наивно было бы полагать, что авторская концепция реализуется здесь прямолинейно в сюжетном действии. Она выражена в «Монументе» гораздо опосредованнее, как авторское отношение, преломленное через призму «романа антигероя», то есть по логике доказательства от противного. Примечательно (и это прослеживается особенно рельефно при сопоставлении с «Сосной, которая смеялась» литовца Ю. Марцинкявичюса и «Следователем» латыша А. Бэла), что Ветемаа не замыкается здесь в пределах чисто-художнической, творческой проблематики: отталкиваясь, как от исходной, от проблемы нравственной этики советского художника, он выходит к более широкой философской проблематике нравственной сущности и мотивов поведения современного человека.

Нравственная деформация другого рода явилась предметом пристального анализа в пьесе «Ужин на пятерых» — произведении, по своей идейно-художественной фактуре более примыкающем к ранним романам Ветемаа. С годами все более расширялась и усложнялась проблематика его творчества, охватывая нравственные аспекты поведения человека в условиях современной научно-технической революции, сохранения гуманистических ценностей под прессом психологических перегрузок, убыстрившихся ритмов, чрезмерной технизации и рационализации всего образа жизни. «Ужин на пятерых» лишь в первом приближении может показаться пьесой о «зеленом змие» и его разлагающем влиянии на семейные отношения наших современников. Конечно, и этот пласт в пьесе есть, но, как и все остальное в творчестве Ветемаа, так и это произведение — многослойнее и многозначнее.

И в Ильмаре, главном герое «Ужина», можно различить те же черты сквозного для всех произведений Ветемаа психологического типа — внутреннюю неустойчивость, размягченность и податливость, рефлексию, «амортизацию души и сердца». На этот раз перед нами молодой, судя по всему, в прошлом не лишенный таланта инженер, разжалованный ныне в простые шахтеры. Сгубила его страсть к «зеленому змию», он деградировал как личность, деформировался нравственно. Писатель, однако, задается целью исследовать

более широкое явление — и феномен «психологической несовместимости» в семье, и почему, при вроде бы видимом благополучии, отсутствии внешних отрицательных факторов, рушится современная молодая семья, и — шире — отчего возникают «ножницы» между достигнутым нами уровнем материального благосостояния и нравственно-психологическим уровнем наших современников.

Типологически пьеса Ветемаа близка к тем произведениям мировой драматургии XX века, что построены на принципе все более стремительно раскручивающейся «пружины» саморазоблачения, сбрасывания покровов внешней благопристойности с семьи (или компании, общества друзей и знакомых), предстающей перед нами вначале чуть ли не образцом благополучия и высокой нравственности. Можно вспомнить в этой связи ряд пьес Дж. Пристли, Тенниси Уильямса и многих других западных драматургов. И семья Ильмара и Кадри предстает перед нами вначале как благополучная, нормальная — в ожидании праздничного ужина по поводу приезда в гости родителей Ильмара. Да и сам алкоголизм Ильмара и сопутствующая ему деградация личности раскрываются не сразу. Первое настоящее «срывание покровов» происходит при появлении родителей — ограниченных мещан, сатирическое разоблачение которых писателем производится очень точно, прицельно, с учетом психологии именно эстонского мещанства, уходящего своими корнями еще в довоенное буржуазное время. Психологически верно схвачены и глупое бахвальство матери своей «англоманией» и «светскими» манерами и корпорантские замашки отца в сочетании с его откровенной глупостью. Очевидно, что Кадри — на порядок выше этих людей, бесхребетность же и неустойчивость Ильмара, унаследованные им от родителей-мещан, проявляются уже в его беспомощных метаниях между матерью и женой.

Следующее «срывание покровов», еще более откровенное и беспощадное, совершается во втором действии, особенно в связи с появлением Марта. Ветемаа в трактовке темы современного рабочего человека остро ставит вопрос о нравственном его соответствии требованиям общества развитого социализма, об уровне его психологической культуры и т. п. вещах. Впрочем, выясняется, что высокообразованный, получивший

культурное воспитание Ильмар ниже, подлее Марта (что выявляется рельефно в их отношении к Кадри). Проще всего объяснить нравственную деградацию Ильмара его алкоголизмом, на деле же все обстоит сложнее. Думается, вернее будет говорить о еще одном варианте центрального героя Ветемаа, исследуемого им психологического типа, с деформацией в данном случае чего-то очень важного, без чего нет нравственной основы личности. Ведь в отношении к женщине писатели всех времен и народов поверяли самую сердцевину нравственной сути своих героев!

Третье действие срывает с героев пьесы их последние покровы. Беспощадным скальпелем аналитика Ветемаа вскрывает нравственные гнойники в их душах, не оставляя камня на камне от иллюзий на благополучный исход. Звучащее в финале сообщение по радио о трудовой победе коллектива, в котором трудится Ильмар, и особенно — слова директора комбината о высоких моральных качествах бригады, призваны еще более, скажем даже — парадоксальнее оттенить мысль писателя о недопустимости такого разрыва между производственным и нравственным «я» человека, о высокой степени его ответственности за нравственную культуру, за культуру своих чувств.

«Яйца по-китайски», пожалуй, наиболее философский из романов Ветемаа. Точнее — проблемы нравственной сущности нашего современника подняты здесь на уровень философского размышления об экзистенции человека как такового. Для этого писатель использует форму внутреннего монолога — дневника главного героя, не только вершащего нравственный суд над самим собой, но и стремящегося осмыслить самую суть бытия человека. К этому его побуждает весьма критическая, в известной мере даже «пограничная» ситуация — положение больного, находящегося в онкологическом диспансере с диагнозом, как он полагает, неизлечимой болезни. Подобный прием нередко используется в современной мировой литературе — для наиболее рельефного выявления подлинной, обычно даже скрытой от постороннего взгляда, сути человека. В сюжетном отношении «Яйца по-китайски» наиболее схожи в этом смысле с повестью польского писателя Ежи Ставинского «Час пик», причем сходство — и в том неожиданном повороте сюжетного действия, когда обнаруживается,

что смертельная болезнь главного героя оказалась мнимой... Впрочем, между этими, в типологическом плане столь схожими произведениями есть и существенные различия — общая тональность «Часа пик» более иронична, в чем-то даже комедийна, да и сам главный герой произведения Кшиштоф Максимович, преуспевающий директор архитектурно-проектного бюро, в сущности своей — довольно-таки заурядный современный мещанин, олицетворяющий потребительское отношение к жизни. Ян Энна Ветемаа — философствующий интеллеktуал, размышляющий о сущности бытия, решивший напоследок свести счеты с самим Временем. Ведь и само название романа эстонского писателя — «Яйца по-китайски» — воплощает в образной, символической форме тему преодоления бренности человеческого существования. Вычитанное когда-то в детстве — об изысканном, божественном лакомстве — закопанных в землю яйцах по-китайски — трансформируется в сознании героя в символ победы над быстротечным Временем:

«Мой повар — ВРЕМЯ — славно постарался!
Друзья, я выкопаю из земли
Бессмертьем фаршированные яйца —
Такого не едали короли!..»

Перед нами, таким образом, яркий образец современной романной структуры, одним из признаков которой критик Д. Затонский считает «расщепление» жизни неким индивидуальным сознанием. Более того, в романе Ветемаа возникает и проблематика времени — реального и экзистенциального; не только соотношение между собой разных временных пластов, но и организация различного по интенсивности течения временного потока осуществляется в романе такого типа индивидуальным сознанием субъекта.

Для чего, однако, используется весь этот арсенал наиновойшей романной техники? В данном случае Ветемаа, углубляя и развивая основную тему своего творчества, исследует деформацию особого рода — философию эгоизма и потребительства, в соединении с рефлексией и самоиронией, возведенную на уровень философского мироотношения. Вспоминая и размышляя о прожитой жизни теперь, на койке онкологической палаты, Ян, герой романа Ветемаа, находит «последнюю

гавань» в созерцании в самом себе некой общечеловеческой сущности в процессе ее неизбежного угасания. При этом ему нельзя отказать в остроте ума, критичности взгляда на многие привычные, ставшие «штампом» прописные истины. Более того, можно даже говорить о проявляемой им перед лицом смерти силе духа и в то же время — доведенном до крайности эгоцентризме («Окружающий мир отрекается от меня, — что ж, и он мне не нужен!»). В этой связи и возникает в сознании героя символическая тема «яиц по-китайски», олицетворяющих возможность преодоления быстротечности и бренности человеческого существования.

На самом же деле трагедия «не состоялась», диагноз оказывается ложным, Яана выписывают из больницы. И если для Кшиштофа Максимовича, героя «Часа пик», пребывание в «почти» пограничной ситуации привело к переоценке многих ценностей, к твердому решению изменить коренным образом сложившийся стереотип жизни, изменить его в лучшую сторону, то с Яаном этого, увы, не случилось. Потребительство как смысл бытия остается его философским кредо. Изменить его оказалось не в силах даже пребывание на грани жизни и смерти.

Исследование Энном Ветемаа феномена нравственной деформации личности, причем личности подчеркнуто интеллектуальной, находит в пьесе «Снова горе от ума» продолжение и дальнейшее развитие. Это, пожалуй, самое «головное» (наряду с романом «Яйца по-китайски») произведение писателя — не только потому, что жутковатый сценический интерьер пьесы заставляет вспомнить вивисекторский кошмар «Острова доктора Моро» Герберта Уэллса и «Головы профессора Доуэля» Александра Беляева, но — и это главное — в силу своей интеллектуальной, философской проблематики. Если у Яана, героя предыдущего произведения, весь его утонченный эгоцентризм был обращен вовнутрь самого себя, да и сам Яан витал в эмпириях философских абстракций, то здесь, в этой пьесе, дело гораздо серьезнее, ибо гениальные изобретения профессора-генетика Абрахама, в соединении с его нравственной деформированностью, обращены в мир людей и могут иметь роковые последствия для всего человечества. Пьеса «Снова горе от ума» может быть в жанровом отношении причислена к «модельным» пьесам, исследую-

щим глобальные проблемы. Глобальность подчеркивается здесь всеми атрибутами пьесы, в том числе даже «международным» характером имен действующих лиц, реалиями современного быта, отображенными в произведении. Впрочем, внимательному читателю удастся заметить, что, при всей глобальности поставленных в пьесе проблем, ее сюжетное действие разворачивается все же в ученой среде капиталистического мира. И дело здесь не только в реалиях быта, но прежде всего в нравственной атмосфере жизни, нравственных стимулах и принципах поведения действующих лиц. И это представление не в силах поколебать и использование писателем характерного для жанра современной «антиутопии» приема транспонирования сюжетного действия в недалекое будущее человечества.

У профессора Абрахама, главного героя произведения, «амортизация сердца и души» дошла до крайних пределов, превратилась в нравственный релятивизм. Убеждение в нужности и полезности его экспериментов и, соответственно, открытий в области генетики для человеческого прогресса делает его абсолютно глухим в нравственном отношении, считающим гуманность в ее традиционном понимании глупым анахронизмом. Все это сочетается у профессора с крайним эгоцентризмом, самовлюбленностью, убеждением в собственной непогрешимости. Как само собой разумеющееся воспринимает он жертву любящей женщины Мирабилии, фактически отсиживавшей вместо него срок заключения в тюрьме; жену Бертю он уже превратил в служанку в домашнем виварии. Его даже несколько не трогает уход из дому жены и дочери, лишь наука как таковая составляет весь смысл и содержание его существования.

Основной конфликт разворачивается в пьесе между Абрахамом, сыном его от Мирабилии Робертом и дочерью Марией. Все произведение строится как цепь парадоксов. Роберт, затевающий против Абрахама судебный процесс, якобы в защиту доброго имени своей покойной матери, оказывается на деле сыном профессора. Это обстоятельство может серьезно помешать его предстоящему браку с Марией. Выясняется, однако, что и по сути своей Роберт — отнюдь не антипод Абрахама, — процесс ему нужен для собственной карьеры, ему так же интересно экспериментировать над правом, как его отцу — над живыми организмами. Подлинным

антиподом и Абрахаму и Роберту оказывается Мария (как выясняется, не родная дочь Абрахама, а рожденная женой его Бертой «от пробирки»). Ей претит бесчеловечность Роберта. Правда, она способна лишь на анархический бунт в духе «хиппизма», не приводящий, в сущности, ни к чему.

Парадоксальным завершением пьесы является ситуация, в которой сын доводит до логического конца идеи, гнездившиеся в голове его отца. Роберт, вооруженный столь мощным оружием, как право, способен ловечность экспериментов Абрахама, бездушие и расантичеловеческую идею об ампутированных головах, продолжающих после смерти туловища жить и мыслить в лабораторных условиях, претворить в кошмарную действительность. Такова жестокая цена нравственного релятивизма, проповедовавшегося Абрахамом и доведенного до логического завершения его сыном. Жертвой его в самом непосредственном смысле слова оказывается и сам старый генетик.

Пьеса эта многозначительна, исполнена глубокого смысла. Это пьеса-предупреждение о разумном использовании изобретений человеческого разума, о недопустимости разрыва между наукой и нравственностью, о страшных последствиях нравственного релятивизма. Рассматривая же ее в контексте творчества самого Энна Ветемаа, нельзя не увидеть преемственной ее связи с предыдущими произведениями писателя, анализировавшими разные формы нравственной деформации, «амортизации души и сердца» нашего современника. Здесь — в парадоксальной форме — доведена до логического завершения мысль о том, какой бесчеловечностью может обернуться нравственный релятивизм, крайний эгоцентризм, интеллектуальное умствование без твердого нравственного стержня.

В глубоком анализе и беспощадном разоблачении любых форм нравственной деформации личности нашего современника, в тонком прослеживании диалектики его ума и совести видится нам одно из главнейших достоинств умного, глубоко современного и философичного по своей сути творчества эстонского писателя Энна Ветемаа. В этом своем качестве оно представляет значительный интерес и для широкой всесоюзной аудитории.

Н. Бассель.

Переводы маленьких романов «Монумент» и «Яйца по-китайски»
взяты из сборника:

Энн Ветемаа

МАЛЕНЬКИЕ РОМАНЫ

«Ээсти раамат», Таллин, 1972

Пьесы «Ужин на пятерых» («Õhtusöök viiele») и «Снова горе от
ума» («Jälle häda mõistuse pärast»)
переведены из книг:

EESTI NÄIDENDID 1972

Kirjastus «Eesti Raamat», Tallinn 1974

Enn Vetemaa

JÄLLE HÄDA MÕISTUSE PÄRAST

Kirjastus «Perioodika», «Loomingu» Raamatukogu nr. 41,
Tallinn 1975

СОДЕРЖАНИЕ

Монумент. Маленький роман. Перевод Леона Тоома	5
Ужин на пятерых. Пьеса в трех действиях. Авторизованный перевод Татьяны Урбель	85
Яйца по-китайски. Маленький роман. Перевод Татьяны Урбель	127
Снова горе от ума. Драма в трех действиях. Авторизованный перевод Татьяны Урбель	201
Н. Бассель. «Трактат о головах» Энна Ветемаа	260

Энн Ветемаа. О ГОЛОВАХ

Оформление: Эви Валдов.

Редактор В. Постнова.

Художественный редактор М. Ваннас-Орупылд.

Технический редактор К. Тарусте.

Корректор Л. Савицкая.

Сдано в набор 26. VII 1976. Подписано к печати 2. XI 1976.

Бумага № 1, 84×108/32.

Печатных листов 8,5 + 1 вклейка.

Условно-печатных листов 14,33.

Учетно-издательских листов 13,56.

Изд-во «Ээсти раамат», 200090 Таллин, Пярнуское шоссе, 10.

Заказ № 483.

Типография «Пунане тяхт», Таллин, ул. Пикк, 58.

Цена 89 коп.

ый

р-

ый



THE BEST OF THE WAX